

Алексей Глазков

Президент

Часть первая

Худов

Философ Худов проснулся утром раздетым в чужом доме с большого бодуна. Попытка подняться на локтях и оглядеться кончилась фиаско: его затошнило, причем желтые выделения потекли прямо на белоснежную постель, хотя Худов целился на пол. Из вчерашнего дня помнилось немного: он был в ресторане с аспиранткой Родионовой, целовал ее, хватал за ножки, потом она пошла то ли пописать, то ли позвонить, и тут подвалили эти две, кажется Аня и Вера... Да, Аня и Вера. И тут же начали его обхаживать так, что философ разомлел. Вернувшаяся Родионова тотчас обиделась и ушла, сопровождаемая Худовскими возгласами «Ну и хер с ней!», а Вера и Аня весело смеялись. Потом пили... И все... Ничего другого Худов вспомнить не мог.

Болела голова. Хотелось домой и чтобы соседка Кузьминична дала воды. Худов попытался еще раз приподняться на локтях, но снова сблевал. Во рту осталась страшная горечь, и если не справиться с ней, понял Худов, то рвота не прекратится. И все-таки он пересилил себя, открыл глаза и огляделся. Стены, казалось, вот-вот упадут на голову философу, однако он сумел уразуметь, что комната совсем не похожа на городскую, скорее это был загородный дом, более того, судя по верхушкам деревьев, глядящим в окна, можно было сделать вывод, что лежал Худов самое маленькое на втором этаже. Кругом было светло, бело и чисто, если не считать того безобразия, которое он сделал в постель, отчего ему стало стыдно. Прямо возле кровати стоял стул так, как будто бы на нем кто-то сидел и смотрел лежащему в глаза. На спинке стула висело испачканное вафельное полотенце, которым, вероятно, Худову вытирали рот, а если бы он мог посмотреть вниз, то увидел бы небольшой тазик, тоже поставленный специально для гостя. Хотелось блевать еще и еще. Худов было застонал, но решил, что не стоит привлекать к себе внимания. Третий раз принес облегчение, только вот хотелось по-маленькому... Худов решил, что это уже слишком, и начал подниматься. Мутило. Голова кружилась так, что единственный шаг мог бы стать роковым: вошедший нашел бы философа валяющимся на полу. Если бы рядышком была тумбочка, а на тумбочке стояла ваза с цветами, Худов бы туда... Но вазочки не было. Не было даже тумбочки. Он сблевал четвертый раз, прямо себе на колени, тут же застонал и снова лег в постель.

Даже на трезвую голову не скажешь, сколько ты спал, тем более по пьяни, но, проснувшись, философ Худов обнаружил под собой чистенькую пеленочку, а на стуле, дружелюбно улыбаясь, сидела молоденькая мулатка в белом передничке, похожая то ли на медсестру, то ли на горничную.

— Как вы себя чувствуете? — спросила она на чисто русском языке. — Вам, наверно, пить хочется.

Худов смотрел на нее, хотел кивнуть, мол, да, пить очень хочется, но боялся шевельнуть головой, чтобы не опозориться перед незнакомкой.

— Давайте водички, — сказала он и как из небытия достала глиняный кувшинчик. — Давайте, это просто вода. Вам станет лучше. Пора приходить в себя.

Худов кивнул, приложился к кувшину, и тут же «водичка» пошла назад. Мулатка ловко подставила не замеченный ранее Худовым тазик и даже держала его за голову, приговаривая «вот так, вот так». Худов блевал всласть, при этом, однако, мысленно обзывая себя самыми гадкими словами и проклиная на чем свет стоит вчерашний день. Мулатка вытерла ему лицо и, увидев, вероятно, выражение стыда на нем, снова обаятельно улыбнулась:

— Все хорошо, не переживайте. Давайте-ка примем эти капельки, и станет полегче.

Худов послушно хлебнул из какой-то склянки. Содержимое оказалось ни с чем не сравнимой гадостью, вязкой, горькой и теплой, совсем не подходящей, как подумал Худов, для подобной ситуации. Однако, повинувшись своей новой знакомице, он прилег, прикрыл глаза и минут через двадцать почувствовал такое облегчение, будто бы вчера после кафедры пропустил с Афанасьевым бутылочку пивка 0,33, а не нажрался неизвестно с кем в зюзю. Мулатка ушла. Худов встал с кровати, благо теперь это стало легко, и огляделся. Комната была шикарной, метров на сорок без малого, напоминавшая обилием окон террасу, имевшая к тому же изгиб, за которым и стояла кровать. Худов посмотрел в окна: картина показалась ему милой, хотя и однообразной: во все стороны был виден сад, переходящий в лесок. Сад окружал высокий кирпичный забор, который Худову совсем не понравился. Он сразу припомнил чердак, на который однажды не спросясь забросила его судьба после грандиозного банкета по случаю докторской Афанасьева, вспомнил лицо дворника и грубое недоумение милиционера, не желавшего верить в то, что Худов действительно профессор кафедры философии, вспомнил свою грязную перепачканную одежду, непригодную для перемещения по городу, вспомнил и труханул. Здесь, за красным забором, жили большие деньги, это как дважды два. Такие заборы строят не затем, чтобы пускать абы кого, это тоже ясно. Кто-то Худова сюда привез. Возможно, это одна из девочек, Аня или Вера. Даже вероятнее всего. Худов был в стельку пьян, сам передвигаться не мог, значит, была машина. Девочки, Аня и Вера, пили тоже, значит, был еще кто-то, кто мог ее вести, хотя приехать могли на такси. Почему-то поехали не в Москву, а за город. Это Худову казалось самым таинственным и неприятным. Вариантов напрашивалось несколько. Во-первых, те, кто распоряжался им по причине его полной невменяемости, могли не быть москвичами, однако если ты имеешь такой богатый дом, вряд ли у тебя нет квартиры в Москве, до которой и ближе, и дешевле. Во-вторых, там, в Москве может быть офис, а здесь – жилье. Это уже вероятнее. Только остается непонятным, зачем его вообще нужно было тащить сюда, а не подкинуть до дома (назвать адрес Худов мог в любом, даже в абсолютно безнадежном состоянии). В-третьих, наконец, его могла привести сюда женушка или дочурка какого-нибудь богатея, чтобы спрятать от глаз муженька или папеньки и наиграться вволю. К сожалению, такой вариант

представлялся Худову наиболее верным. Он даже сплюнул воздух от досады, вообразив, чем это может для него кончиться, если авантюру раскусит САМ. «В любом случае из этого из этого сарая надо выбираться», — подумал Худов и стал шарить по комнате в надежде найти одежду, от которой на нем оставались одна майка да трусы. Худов стал открывать дверцы шкафов, надеясь, что костюм с рубашкой там, однако нашел посуду, некое подобие бара с пустыми, но красивыми бутылками, книги, в том числе крайне интересные для него самого — словом, все, кроме нужного, кроме штанов, рубашки и пиджака. К тому же Худов все еще не прочь был справить нужду, а выходить в таком виде не представлялось возможным. Из комнаты куда-то вели три двери. Худов подошел к одной из них и потихоньку повернул ручку. Каково же было его удивление и счастье, когда за ней оказался туалет, но какой! Все было ослепительно белым, благоухало, приглашало к себе... Соседняя комната, как и следовало ожидать, была не менее шикарной ванной, в которой аккуратно в полиэтиленовом пакете лежало чистое новое мужское белье, а на крючке болтался красивый байковый халат, вполне подходящий по размеру. «Попался, блин!» — выругался Худов, помыл руки, холодным освежил лицо и, не притронувшись даже к полотенцу, вышел из ванной, но тотчас же забежал обратно: посредине комнаты стояла мулатка! Ничуть не смутившись, она спросила:

— Вы приняли ванну?

— Н-нет, — недовольно процедил Худов.

— Пожалуйста, там всё для вас.

Ванна была шикарной: вода мягко била с разных сторон, доставляя телу истинное плотское наслаждение; на полочке стояла целая батарея различных бальзамов и бальзамчиков, которые придали мытью дополнительные изыски; мыльная пена выплескивалась на пол, и Худова это нисколько не волновало, ибо, решил он, раз кто-то взялся играть с ним в игрушки, как в сказке про аленький цветочек, он покажет, что он не самый примитивный игрок. Мерзко было то, что Худов не знал трех крайне важных для него вещей: сколько сейчас времени (часы в пиджаке), сколько у него денег (осталось после вчерашнего) и где он (как выбираться — электричкой, автобусом?). Вкупе с главной загадкой получался массивный клубок. Порассуждав, он пришел к выводу, что чудовище, если только оно не страдало вуайеризмом, вскоре должно было предстать пред его ясны очи, потому что если уж привезли, то должны каким-то образом использовать. Худов мучительно пытался припомнить кого-нибудь из проклятого вчера, но, кроме этих самых Ани и Веры, кажется, никого не было, они же, по его разумению, не походили на дочек, а тем более, на женушек богатея. «Значит, кто-то третий», — говорил он себе, заставляя голову работать в усиленном режиме. Никак. Худов представлял себе, что вот сейчас он выйдет из ванной, а там, возле перестеленной постели стоит какое-нибудь пятидесятилетнее чудовище в бриллиантах и хочет его, и ведь не придумаешь ничего иного, как идти к ней, потому что это единственный путь на волю.

Худов усмехнулся. До чего жизнь показалась ему переменчивой штукой. Он обязательно позвонит вечером Афанасьеву и расскажет о своем внезапном

приключении. «Ага!— крикнет в трубку Афанасьев. — Твой социальный детерминизм ничего не стоит. Теперь-то ты можешь сказать, что превыше общества стоит индивидуальная судьба человека, ведомого временем сквозь бытие!» Да-да, именно в таких выражениях. Худов станет возражать, мол, в конце концов, это его собственное пьянство стало основанием для того, чтобы в беспамятном состоянии его кто-то («Заметь, Афанасьев, кто-то, а не судьба») забросил в неизвестный ему дом. Афанасьев засмеется. Он всегда смеется, когда чувствует, что аргументация противника хромает, при этом совершенно не важно, насколько аргументированна его собственная точка зрения. Тем более что Худову самому все время хотелось говорить слово *судьба*.

Хотелось курить, он огляделся. Нет, ни сигарет, ни зажигалки не было. «Если бы меня похитили инопланетяне, то уж непременно уловили бы мое желание, и откуда-нибудь на специальной полочке выехала пачка “Союз-Аполлон” со спичками», — подумал Худов и еще отметил про себя, что чувство юмора пока не покидало, хотя это и был юмор висельника. Глупо, конечно, но его подсознательно порадовало отсутствие сигарет. Впрочем, с другой стороны, он не понимал, почему к противной стороне он был столь неблагосклонен: его привезли в шикарные апартаменты, привели в себя (Кузьминична так возиться бы натурально не стала), предложили ванну с чистым бельем... Если бы не давящая грудь неизвестность!

Подчиняться Худову не хотелось, но он все-таки воспользовался бельем, напялил на себя халат, который (опять радость) был несколько маловат, и даже побрызгался одеколоном. Из зеркала на него глянула опухшая физиономия, красная, распаренная, мокрая. «Господи! И кто же мог польститься на такое!» — задал сам себе риторический вопрос Худов, пожал плечами и отвернулся. Выходить из ванной было страшно: там, за дверью, все снова могло перемениться, обратиться какой-нибудь новой стороной. И точно: посреди комнаты стояла мулатка с изысканным столиком на колесах, фруктов, воды, так недостававших после вчерашнего. Увидев Худова, она привычно улыбнулась и собралась было уходить, но тот чуть не бегом подскочил к ней и остановил, взяв за руку.

— Я премного благодарен за все оказанное мне, но, признаться, я перестаю понимать, что со мной происходит. Вы не были бы так любезны объяснить?

Мулатка вся как-то съежилась, испугалась что ли, а по ее виду стало ясно, что она ничего сама не знает, что она только выполняет, а знать в ее обязанности не входит, так что извините, мол, господин философ. Да и то, что перед ней самый настоящий доктор философии она тоже знает вряд ли...

— Дурдом! — произнес в сердцах Худов, отпустил девчонку и, повернувшись к ней спиной, отошел.

— Поешьте, — услышал он ее голосок. — Попейте, а потом к вам придут...

Худов снова посмотрел на мулатку. Теперь, понял он, лицо ее выражало просьбу не ругать ее слишком сильно, потому что она и так сказала слишком много. А может быть, ей вообще не велено говорить?

Худов покачал головой, поблагодарив мулатку, и сел к столу. Девушка ушла. Еды было, по крайней мере, на троих, но прибор стоял один, так что Худов в гости к себе никого не ждал. По совести говоря, одинокая трапеза не вписывалась в его схемы, поэтому, принимаясь за еду, он опять стал рассуждать. Открытая бутылка вина, совсем не вписывающаяся в его планы, располагала к беседе, если бы существовал кто-то, кто хотел бы поговорить. Будь это женушка или дочурка, самое время подвалить и наладить отношения или продолжить, поскольку о вчерашнем дне Худов ничего определенного сказать бы не смог. Откладывать разговор на более позднее время странно, потому что не ночевать же здесь! Кто-то, однако, говорить собирался. Опять же непонятно, почему этот (или эта) кто-то не выбрал такого привычного и продуктивного времени для беседы, как за столом?

Есть особенно не хотелось, поэтому Худов налил себе водички, очистил апельсинчик, снова задумался. Смешно, но так вкусно ему давно не было. Он начал с малого, но, понимая, что всё это для него, подливал еще, причмокивал, прицокивал, нахваливал, как будто полагая, что тот, кто запер его в этой светлой темнице, следит и, подобно сердобольной нянюшке, радуется, как ребенок кушает. Худов налил вина и чокнулся с воздухом, благодаря за угощение и желая невидимому кому-то здоровья. Он откидывался на спинку диванчика, но потом принимался за еду снова. Он ругал себя, мол, не из голодной же он губернии, но ел еще и еще и ничего не мог со своим аппетитом поделать. Долго ли, коротко ли продолжалась трапеза, Худов, однако, не заметил, как задумался о чем-то и задремал, благо диванчик располагал ко сну сидя. А может, коварная мулатка подсыпала чего, подумал он потом; проснулся же он в полном непонимании и в полной темноте, так как наступил не то вечер, не то – того хуже! – ночь. Столика след простыл, а Худов покоился на этом самом диванчике под мягким пледом на маленькой думочке.

Худов вскочил с дивана, чем-то гроыхнул не видя: темнота была глаз коли. Тотчас же снаружи послышался шум, как будто кто-то побежал, потом шагов стало больше, загремел замок, открылась дверь, зажегся свет. Худов оказался в компании высокого тощего человека, с морщинистым лицом, лет на вид эдак пятидесяти пяти, слегка лысоватого и аккуратно выбритого, в коричневом поношенном костюме, который больше походил на домашнюю одежду. Человек улыбнулся, но не так искренне, как это делала мулатка, поздоровался с Худовым, протянув холодную костлявую руку.

— Меня зовут Анатолий Александрович, — представился он, выговорив отчество до единой буквы. — Вы, наверно, обижены, что мы вот так без единого слова распорядились вами? Давайте присядем. Вчера вы были не совсем в форме, так что мы взяли на себя ответственность.

— Я благодарен...

— Бросьте, никаких благодарностей. Это с каждым может случиться, а если случается, то нельзя бросать человека на произвол судьбы. Куда вам было ехать в такой одежде, которая, прошу прощения, испачкана? Вы-то настаивали: домой, немедленно, на метро — и это в два часа ночи! Помните?

— Н-нет...

— И верно. Память человека на то и память, чтоб не помнить разных глупостей, которые мы можем наделать в безответственном состоянии. Вы требовали вызвать вам такси, но можно ли было быть уверенным, что вы доедете? В таком виде... Недаром едва увидели диван, кинулись на него, и немалых сил стоило убедить вас раздеться и перейти в эту комнату. Несolidно — на кожаном диване, в одежде, как фельдкурат Отто Кац. Швейка читали?

— Когда-то давно.

— Неважно. Разделись вы, правда, сами, никого к себе не подпустили, но, когда раздевались, еще подпачкались. Пришлось стирать вашу одежду, что называется, от альфы до омеги, а сохнет долго, еще не готова, так что не обижайтесь, ага?

Худов пожал плечами:

— Мне действительно крайне неловко... В первый раз такое ребячество... Даже не знаю, где нахожусь...

— На даче, на даче у хороших людей, которые с вами познакомились только в ресторане, но прониклись уважением.

— Вы тоже там были?

— Нет, я с вами познакомился тут, помогал вас из машины вытаскивать, определил на содержание, — Анатолий Александрович засмеялся, и Худов заметил, что делает он это препротивнейше. — Хочу надеяться, что вы не разочарованы тем, какой прием нашли у нас.

Худов развел руками, мол, об этом нет и речи, хотя ему было неприятно хвалить человека, который сам на это напрашивается. Впрочем, подумал он, хвастовство еще никто не отменял, и уголовное наказание за него не предусмотрено. Волновало его, однако, другое, и он после выразительной жестикуляции, лестной для Анатолия Александровича, выдал из себя:

— Так что, моя одежда?

— Нет, еще сыра, как ни прискорбно. Давайте так: переночуете, а завтра уж поедете. Курите?

Он вытащил из кармана пачку, Худов потянулся было, но, увидев, какую его собеседник курит дрянь, отдернул руку, почувствовал себя неловко, как будто при хозяйке обругал свежесваренный борщ, и улыбнулся:

— Штучку, если позволите.

— Сколько угодно, — Анатолий Александрович барским жестом выбил из пачки несколько сигарет без фильтра, из которых Худов взял сначала одну, потом же, прикинув, что не выберется до завтра, попытался еще на две.

— А занимаетесь вы? — спросил Анатолий Александрович, когда оба уже затуманились табачным дымом.

— Философ, такая редкая профессия, — ответил Худов, хотя распространяться на эту тему ему совершенно не хотелось.

— У-у-у, — протянул Анатолий Александрович, — отдает средневековьем.

— Средневековьем? Почему?

— Не знаю. Мне философия представляется чем-то средневековым.

— Странно. Философов было больше в античности.

— Действительно. Но это лишь мое представление. Послушайте, а неужели до сих пор есть чем заниматься философу?

— Мир еще не нашел достаточного объяснения.

— Так вы объясняете, а не изменяете?

Худов засмеялся неожиданно возникшему Марксу и увидел, что Анатолий Александрович доволен своей проявившейся эрудированностью.

— Его хотя бы объяснить... Уже много.

— Не соглашусь, — Анатолий Александрович развалился в кресле, точно принимал позу для долгой дискуссии, чем поверг в уныние совсем не желавшего разговаривать Худова. — Не соглашусь. Объяснять, конечно, его надо, но много ли это? Зачем объяснять, если не ставить задачу изменения? Нет, вам, естественно, видней, вы спец, а мне вот с дилетантской колокольни кажется, что надо менять, постоянно надо менять. Я, может быть, из-за того учиться и не пошел, что только объясняют. Проучился два года на учителя истории, потом бросил. Водил двадцать третий трамвай, работал в ВОХРе, чтобы поскорее на пенсию, теперь вот тут, управляю. Скудная судьба, вот и хочется менять, менять, менять.

Худов смотрел на него и думал, что надо бы пожалеть, однако жалость никак не появлялась, скорее, возникало омерзение к этому мелкому человечку, откровенному холую, строящему из себя то ли несчастного, то ли непонятого. Он был совершенно неинтересен Худову, о чем, как казалось, догадывался; более того, и сам Худов, похоже, не вызывал в нем воодушевления. Говорил он занудно, медленно пережевывая во рту словесную кашу, боясь, как бы какой-нибудь звук не потерялся, но вовсе не так, как говорят учителя начальных классов или иностранных языков. Казалось, выговаривание — единственное, что доставляет ему удовольствие, и он трепетно преподносил свое умение слушающему, пытаясь вызвать ответный восторг. Тщетно! Анатолий Александрович не понравился Худову сразу, и чувство это уходить не спешило.

— Если сказать «Мир безобразен», перегнешь палку. Но назвать его прекрасным — тоже слухавить. Так что голое объяснение получается сродни, извините, копанью в нечистотах, когда ты знаешь, где ковыряешься, а выбираться не намерен. Свинство, не так ли?

Худов пожал плечами:

— Зачем же так резко.

— Так, именно так, — заволновался Анатолий Александрович, как волнуются обычно обиженные жизнью люди, если разговор касается больной для них темы. — Едва родившийся ребенок искренен: если ему плохо, когда он

хочет есть или испытывает боль, он не скрывает своих чувств, плачет, заявляя во всеуслышанье: мир плох. Потом заботливая матушка начинает нашептывать, мол, терпи, терпи, терпи. И вот он уже научился глупо радоваться, когда радоваться-то нечему. Ему объяснили: прикрой глазки, если видишь плохое, и радуйся. И только некоторым, слышите, некоторым ясно, что, прикрывая глазки, ты самообманываешься, если так можно выразиться, это мнимая радость. Истинную радость обретишь в борьбе.

Худов скривился, прикидывая, кого начитался его собеседник: Фрейда, Гумилева или кого-нибудь из анархистов, - а он увидел скептическую гримасу на худовском лице и опять стал мерзко улыбаться:

— Наверно, то, что я говорю, кажется глупостью, но, поверьте, я искренен, искренен. Хотя не все понимаю.

— Что вы, все это очень верно, только вы не учитываете, так сказать, разделения труда. Философ должен именно объяснять, он теоретик, без которого практик — ноль.

Худов выговорил эту сентенцию с трудом, потому что совсем не был настроен на дискуссию. Больше всего его пугало, что Анатолий Александрович воспримет его возражение как приглашение к спору. Похоже, что так и произошло: в его глазах промелькнуло что-то похожее на мысль, лицо как-то обзлилось, губы стали еще тоньше:

— Вам никогда не хотелось сделать что-нибудь самому? Поменять?

— Я вам еще раз повторяю, что это не мое дело.

— Так вы всем довольны?

— Нет, я бы сейчас с удовольствием поехал домой.

Анатолий Александрович стушевался:

— Извините, я не в этом смысле. Я же сказал, ваша одежда... Мне казалось, мы теоретизируем.

— Значит, не изменяем, объясняем?

— Вы отказываетесь от разговора?

Худов засмеялся:

— Не обижайтесь, дорогой Анатолий Александрович. Понимаете, я не большой любитель обсуждать профессиональные вопросы в свободное от работы время. Просто я далек от научного фанатизма. Что же касается вашего вопроса, то я бы изменил многое, очень многое, я не из числа довольных, а вот трепать языком по этому поводу действительно не люблю. Извините.

Анатолий Александрович снова закурил, но уже с видом человека, собирающегося уходить.

— Сначала я подумал, что вы более мягкий человек. С вами интересно. Мне было бы интересно продолжить разговор.

— У меня в бумажнике, в пиджаке, визитные карточки. Я с удовольствием оставляю вам ее. При случае позвоните.

— Хорошо, я понял, что вы меня выставяете. Нет, не оправдывайтесь, я же сам навязался на этот визит, думал, вы скучаете. Итак, переночуете, а завтра все решится, высохнет ваш костюм. К сожалению, мне придется запретить дверь:

в доме на ночь выпускаются собаки, они не любят гостей, а дверь запирается только снаружи. Спокойной ночи. Поверьте, я искренне доволен нашей беседой.

Загребели ключи. Дверь заперлась.

Проснулся Худов, как видно, рано, лежал в постели и прислушивался к тому, что происходит в доме, однако сколь ни напрягал он слух, ничего примечательного так и не уловил. То ему вдруг начинало казаться, что снаружи кто-то ходит, чудились шаги, приближающиеся к двери, чтобы распахнуть ее, отдать наконец одежду и выпустить его на волю, но все то ли стихало, то ли оставалось выдумкой, но дверь так и не открывалась. Тогда Худов встал и подошел к окну: и там все было нетронутым, неподвижным, даже не лаяли собаки, как это обычно бывает за городом; Худов стал ходить, громко топая, мурлыкать себе под нос песни, наконец, постучал в дверь — никого. Даже мулатка не приносила завтрак. Худов ругал себя за то, что вчера чересчур мягко разговаривал с Анатолием Александровичем, чем, возможно, даже унизил себя, надо было пожестче, пожестче... В конце концов, он ни в чем не виноват. Хорошо, напился до беспамятства, перестал контролировать свои действия, мог загребеть в вытрезвитель, но это *он*, он, которого никто не имеет права силком затаскивать в какой-то дом и держать бог знает сколько. В конце концов, это его одежда, которая непременно высохла за это время, а если не высохла, то он готов ехать в мокрой, и им нет никакого дела до того, замерзнет он или нет. В конце концов, у него есть свои дела (хотя их и нет до вторника), которыми он намерен заняться, а ему не дают. Кто?.. Худов сел на незастеленную кровать, машинально сунул руки в карманы, но сигарет, выкуренных вчера, после того как остался один, не нашел.

— Я хочу курить, — сказал он себе, а потом громко, чтобы *они* слышали, крикнул: — Я хочу курить!

В ответ не раздалось ни единого шороха.

— Черт возьми, есть здесь хоть кто-нибудь? — опять громко крикнул Худов и, не получив ответа, решил, что он в доме один.

Он подошел к двери. Заперто. Покрутил круглую ручку — дверь не поддавалась. Стал колотить кулаками. Тишина. Подошел к окнам, в ужасе обнаружил отсутствие шпингалетов, ударил в стекло, которое по твердости напомнило ему стену. Сел на кровать, закрыл лицо руками и чуть не заплакал. Его натурально поймали, это становилось ясно, как дважды два. Сухощавый Анатолий Александрович — пешка, такой не способен на что-либо решаться, он ноль без палочки, как и зашуганная мулатка. Непременно должен быть кто-то третий, кому за чем-то понадобился он, Павел Сергеевич Худов. Фантазия снова начала рисовать образ пятидесятилетней дамочки, истосковавшейся по любовным приключениям, у которой на пути вдруг возник этот лысеющий профессор, холостяк, кутила при случае, дамский угодник... Пройдет немного времени — и она объявится. Возможно, Анатолий Александрович поехал за ней, поэтому в доме пусто, а скоро раздастся шум подъезжающего автомобиля, дом

оживет, засуетится, Худова приоденут, а перед этим, наверно, накормят, чтобы отвести в качестве живой игрушки к пышнотелой бабе, истосковавшейся по свежатинке. «Впрочем, — думал Худов, — все может обойтись одним разговором, потому что иначе она выбрала бы молодого. А если ей нужна товарка, то зачем все эти запиранья?» Что-то не выстраивалось.

— Почему именно женщина? — вслух спросил себя Худов. — Я должен проиграть все возможные варианты, чтобы подготовиться...

Худов снова лег на кровать. В отличие от коллег, которые мыслят, бродя из угла в угол, Худов думал лежа. Наоборот, его отвлекали лишние движения, шмыгание тапками, меняющиеся зрительные образы, куда продуктивнее устатится в одну точку или разглядывать трещинки на потолке...

Похищение ради выкупа отмелось сразу: вряд ли человек, намеренный пожить, сделает это наобум, с первым попавшимся. Если бы Худову вывернули карманы, то в бумажнике обнаружили бы добрую половину всего его состояния. Четверть от оставшейся половины лежала в верхнем ящике письменного стола, а еще четверть была дана в долг Афанасьеву, которому не хватало на покупку «ракушки» для его ржавеющего «москвича». Конечно, Худов может бросить клич о своем выкупе, на кафедре скинутся по десятке, как бывает в преддверии чьих-нибудь похорон, Афанасьев, как друг, положит полтинник. И все... Нет, не похищение.

«Возможно, ошибка», — подумал Худов и даже привстал. Вот это совсем никуда не годилось. Что если, как бывает в сериалах или детективах, его перепутали с каким-то богатеем, готовым выложить за себя кругленькую сумму, тот сидит себе и в ус не дует, а Худов страдать? Конечно, ситуация рано или поздно выяснится, но вот что сделают с ним? Перспектива рисовалась неприятная. Надо быть полным кретином, чтобы, перепутав, выпустить «ошибку» на свободу — заложит. Можно уверять, клясться здоровьем мамы, но кто поверит. Отсюда путь один — в лучший мир. Не исключено, что ошибка уже обнаружена, а Анатолий Александрович поехал к боссу выяснять, что делать теперь со случайно пойманным.

Худов закрыл глаза. «Хорошо, еще», — мысленно произнес он. А что если маньяк? Это уже полное безумие. Впрочем, маньяки с виду бывают ущербными, как этот Анатолий Александрович. Он любит ловить людей, держать их у себя, смотреть, как они загибаются, или даже убивать. Это походило на где-то прочитанное, но Худов не стал отмечать этого варианта. «Если здесь был кто-то до меня, — подумал он, — то могли остаться следы. Где? Например, что-то выцарапанное на стене. Или...» Худов вскочил. Книги! Царапина на стене заметна, а вот в книге можно что-нибудь найти.

Книжный шкаф, как и все остальные, был встроен в стену. Книг было целых пять полок, стояли они аккуратно, точно их никто никогда не трогал, впрочем, тягу к аккуратности в этом доме Худов уже заметил, так что удивляться не приходилось. Вкусы читателя были разными, хотя во многом они совпадали со вкусами Худова: две верхние полки занимали «книги для души», среди которых стоял толстенный, истрепанный том «Графа Монте-Кристо»,

детское издание «Робинзона Крузо», украшенный гравюрами, очень старый «Гулливер», книжка с повестями Льва Толстого, южные поэмы Пушкина, «Отверженные» Гюго... Чуть ниже стояли книги по юриспруденции и психологии. Здесь оказалась и Конституция, и Уголовно-процессуальный кодекс, и какая-то популярная книжка из серии «Знаешь ли ты закон?», и «Словарь русского арго». Как профессионала, Худова, однако, привлекла другая полка, на которой он нашел Платона, Гегеля, «Метафизику» Аристотеля, несколько книг Бердяева, Лосского, Лосева... Однако особенно привлекла его узкая высокая книга «Sein und Zeit» Хайдеггера сорок первого года издания. На первой странице красовался фашистский орел со свастикой, а внутри — мудреное содержание. Худов усмехнулся этому парадоксу, открыл книгу и стал читать, медленно пробираясь не столько сквозь подзабытый немецкий, сколько сквозь хайдеггеровскую заумь. Занятие оказалось так увлекательным, что на какие-то минуты он забыл, где находится и зачем, собственно, полез в книжный шкаф. Вспомнив же, стал судорожно пролистывать книгу, надеясь найти в ней какие-нибудь маргиналии, но все до единой странички были чисты, как чистыми нашел он страницы Гегеля, Аристотеля, Платона... Не принесло результатов и просматривание художественных книг. «Значит, — умозаключил Худов, — я здесь первый, или тот, кто был до меня, книг не читал, но что здесь еще можно делать, если сидеть долго? Итак, не маньяк». Худов снова перекочевал на кровать, прихватив с собой томик Хайдеггера, но натошак чтение не шло. Он снова покричал, скорее, чтобы удостовериться в своем одиночестве, и удостоверился: по-прежнему никто не отвечал.

На улице было пасмурно, но безветренно — деревья стояли неподвижно — и, подумал Худов, тепло. «Может ли случиться, что сейчас войдет мулатка или Анатолий Александрович, извиняясь за вынужденную задержку, с моей одеждой в руках, предлагая доехать машиной до ближайшей станции? Я надену белый плащ, поблагодарю за предложение, за теплый прием — и пешочком до электрички, а там домой...» Кругом был лес, и прелый осенний запах пьянил бы, заставлял идти не спеша, раздумывая обо всем приключившемся в эти три дня. Худов даже усмехнулся, будто бы забывая о том, что это только мечты, крайне далекие от того, что происходит на самом деле. Причина заточения не давала ему покоя, и он подумал, что арестант, который знает, почему его загнали в Бутырку или в Матросскую Тишину, находится в более выгодном положении: его будущее так или иначе ясно, чего не скажешь о его, худовском будущем, зависящем теперь от чьей-то воли, запершей его в большой стеклянной комнате. В голову приходили всякие сравнения: с рыбками, томящимися в аквариуме, по стенкам которого постукивают крашеными ногтями глупые барышни; с птичкой, запертой в клетке, летать которой можно лишь с высочайшего позволения своенравного хозяина, справедливо пекущегося о закрытости окон и форточек; с ловцами бабочек (где-то об этом читал), убивающими их ради некрофильского наслаждения мертвой красотой... Человек объясняет себе все эти странные действия одному ему понятной логикой, с которой вряд ли бы, будь у них разум, согласились птички и рыбки. Что же касается его, Худова, то

он сам человек, непонятно почему взятый в плен другими людьми, которые, учитывая их более выгодное положение, могут с ним сделать что угодно. Самым страшным Худову представлялось то, что здесь крутились большие деньги, а деньгам, как известно, можно все. Он положил руки под голову, тяжело вздохнул и стал рассуждать дальше. «Всяк сверчок знай свой шесток», — думал он теперь. Он же прекрасно, может быть, лучше, чем кто-то другой, знает о социальной дифференциации общества, где каждый слой относительно обособлен и имеет сеть доступных только ему институтов, чем, в значительной мере, и отличается от других слоев. Богу богово, а профессору — профессорово. Не стоило идти в ресторан, потому что даже дура Родионова не должна была верить тому, что в ресторане, за бокалом шампанского разговор о ее диссертации может пройти продуктивнее, чем в официальной обстановке на кафедре. Худову захотелось увидеть ее в вечернем платье, а не в голубой кофточке и черных джинсах, от которых его уже воротило. Он ведь взвешивал, прежде чем сказать ей обо всем во время заседания кафедры, что лучше: домой или в ресторан, и выбрал ресторан, потому что дома он опять увидел бы кофточку и джинсы... И тут эти Аня и Вера, которым Родионова проигрывала, как команда пятой лиги московскому «Спартаку». «Стоп! — Худов широко раскрыл глаза от внезапно пришедшей мысли. — Они появились в ресторане совершенно случайно, значит, ни о какой запланированной акции речи быть не может! Никаких выкупов! Никаких богатых жен! Либо ошибка, либо маньяк». Худов в который раз машинально хлопнул себя по карманам халата, как любой профессиональный курильщик делает в поисках спичек или сигарет, и в который раз ничего не нашел. Мысль о маньяке становилась все более навязчивой. Конечно, такое бывает только в кино, но лишь до тех пор, пока не попадешь в лапы одержимого бредовой идеей монстра. В данном же случае ему пришлось, вероятно, столкнуться не с одиночкой, а с целой организацией, потому что Аня и Вера несомненно находятся в сговоре... С кем? С этим Анатолием Александровичем? Внешность у него подозрительная, но хоромы... Ему бы подошел добротный деревенский домик с глубоким подвалом, где остаются следы от человеческой крови да кое-где разбросаны обглоданные кости. «Непременно есть еще кто-то главный, у кого в подчинении и мулатка, и этот недоделок, и Аня, и Вера», — думал Худов, пытаясь хотя бы предположить, кто распоряжается его судьбой. «Маньяки? Нет. Ошибка!»

Нервы начинали сдавать, и Худов заходил по комнате. Пасмурный день то тускнел, словно превращаясь вечер, то снова прояснялся, и начинало казаться, что время движется только там, за пределами, а здесь оно остановилось, и теперь уж никогда не узнать, что же все-таки произошло, почему его поймали и держат... Шел третий день безумия, и хотелось надеяться, что последний. До вторника занятий нет, а значит, никто не хватился, рассуждал Худов. Кузьминична, может быть, забеспокоилась, но ведь летом он уехал на дачу к Щипачевым, не предупредив никого, и она не очень-то переживала. Жизнь продолжается так, как она шла бы, если б Худов сидел сейчас в своей комнате и писал статью... «Бежать!» — молнией мелькнула в сознании мысль,

от которой сделалось страшно: еще вчера, — какой там! — сегодня он и представить себе не мог, что придется разрабатывать план побега. Бежать, думал он, потому что это неправильно, несправедливо. Еще раз к окнам. Нет, ни одного шпингалета. Рамы, казалось, впаяны в стены. Зачем? Кому может быть нужно, чтобы окна не открывались? Еще раз кулаком по стеклу. Сталь! Только отбил себе руку. Дверь на замке.

— Эй! Откройте немедленно! Я требую!

Тишина. Ванная. Туалет. Окон нет. Шкафы. Никаких потайных ходов! Ловушка! Худов сел на кровать и почувствовал, что дело — табак. Его рассуждения, остававшиеся до этого в мозгу, теперь растеклись по всему телу и стали чувством, приводящим в мандраж. «Спокойно, — сказал себе Худов. — Спокойно. Ведь это только домыслы, а я раскисаю». Но руки тряслись. Они перестали слушаться головы, тряслись, а ладони покрылись нервной влагой и начали потихоньку холодеть.

— Я хочу курить! — в который раз заорал Худов.

И тут что-то шевельнулось снаружи. Это был самый настоящий звук. Он плохо дифференцировался, но это был звук, а не химера. Худов подскочил к двери и стал колотить в нее.

— Эй! Я здесь! Вы что очумели там, черт возьми?! А ну открывайте немедленно! Я требую!

Он приложил ухо к двери. Ему показалось, что опять что-то шевельнулось, но уже не так отчетливо, а потом снова настала полная тишина.

— Глючит меня, что ли? — охрипшим голосом спросил себя Худов и отошел в глубь комнаты.

Прежнего порядка уже не было: постель так и оставалась незастланной, на полу валялись вывороченные книги, двери в туалет и в ванную — распахнуты. «Помыться?» — подумал Худов и ужаснулся своей мысли. Она была настолько домашней, привычной, обыденной, что поражало, как подобная идея могла появиться здесь, в заточении.

— Что же меня кидает из огня да в полымя? — сказал он себе вслух. — Это только домыслы. Это только догадки.

Чтобы успокоиться, он пошел собрать книги. Они встали примерно в том же порядке, как стояли раньше, хотя и не столь аккуратно. Закрыв дверь шкафа, Худов стал стелить постель, медленно, размеренно, сосредотачиваясь на *деле*, дабы отогнать прочь нахлынувший ужас. Потом он заставил себя пойти в ванную... Но даже не включив воду, вдруг почти инстинктивным движением распахнул дверь. Пусто. Собрав волю в кулак, он опять закрылся, но страх одолевал. «Если хотят убить, то не обязательно это делать в ванной, — попытался он успокоить себя. — Тоже мне Марат». И все-таки дверь закрывать не хотелось. Можно было выйти и ждать (чего?) в комнате, но Худов боялся совсем скукиситься и решил не изменять принятому решению. Закрывшись, через полминуты он снова выглянул. Никого. «Тогда к чему закрываться? — подумал он и оставил дверь нараспашку. — Так даже лучше, потому что надо быть в курсе, что творится снаружи». Вода не радовала: перед глазами рисовалась

кровавое пятно, уходящее через сливное отверстие вникуда, как в фильме, господи, да не в одном. Чудилось, что трое здоровенных мужиков в черных костюмах и масках уже входят, чтобы направить дула бесшумных пистолетов и... А может быть, они накинута шнурок? «Правильно делаю, что моюсь, — заметил Худов. — Эти просто выкинут тело на помойку, а *туда* надо уходить чистым». И все-таки дело не представлялось ему совершенно аховым, потому что не вспоминалось прошлое, а в самом конце, как следовало из всяких романов, мемуаров, целая жизнь, с деталями и детальками, давным-давно потонувшими в реке времени, должна была мимолетным фильмом проноситься в сознании. Надежда не только продолжала доминировать, но даже не допускала прогнозам оставаться чем-либо кроме фантазий, и Худов почему-то верил в то, что вечером (сегодняшним или каким-то другим) он позвонит Афанасьеву, чтобы рассказать со смехом про эту небывалую историю...

День продолжался. Наверно, он клонился к вечеру. Будь в небе солнце, тень непременно намекнула бы, долго ли еще тянуться дню, но плотная облачность морочила голову. Худов давно вышел из ванной, почитал «Робинзона Крузо», сам прикинул свои плюсы и минусы, посмотрел в окно, психанул, сорвал глотку, успокоился, полежал кверху пузом, попил сырой невкусной подмосковной воды из-под крана, просвистел песенку герцога из «Риголетто», счел себя совершенно пропавшим, отыскал пару новых объяснений неожиданному пленению, убедился в непременно положительном выходе, сел в кресло, уронив лицо в ладони, а дом по-прежнему был тих, как будто единственной живой душой в нем был этот пленник поневоле. И если сознание Худова недоумевало от отсутствия свободы, то желудок — от отсутствия еды. Он выдавал голодные рулады, сопровождающиеся болезненными спазмами, напоминая хозяину, что туда надо что-нибудь положить, не то он откажется отвечать за последствия. Класть, однако, было нечего, и Худов начинал думать, что черт с ним пленом, а вот морить заключенного голодом — это противоречит всем имеющимся конвенциям как военного, так и мирного времени. Потом он стал думать о войне, о той давней войне, вскоре после которой он появился на свет; тогда голодали, умирали от истощения, радовались кусочку черного хлеба, а он, жирный, отъевшийся, вечно сытый мужик, каких-нибудь несколько часов без жратвы, и уже качает права. «Так ведь не война», — подумалось Худову. Или то, что началось, это маленькая, персональная война между ним и кем-то таинственным, неизвестным? Война, в которой первым пострадал его желудок, не желающий понимать, почему это вдруг изменился привычный ход вещей. И в тот момент (потом, мысленно много раз прокручивая этот эпизод, Худов будет язвительно смеяться над собой), когда наконец по-настоящему щелкнул дверной замок и появился первый за весь день живой человек, желудок был главнее: он заставил подумать своего господина, что лучше бы вошла мулатка со столиком на колесах, чем сухощавый Анатолий Александрович с пустыми руками.

Худов встал ему навстречу:

— Ну, знаете, мы так не договаривались...

На лице у вошедшего опять была ухмылка, но выражала она что-то новое, будто бы он собирается что-то сказать, но никак не решится. Худов так пристально посмотрел на Анатолия Александровича, что тот остановился и замер, на мгновение воцарилась немая сцена.

— Ну? — разорвал тишину Худов. — Вы мне что-нибудь скажете?

— Да, — Анатолий Александрович точно пробудился от короткого сна. — Сядем. Надо поговорить.

Худов повиновался, хотя старался, по крайней мере, казаться хозяином ситуации.

— Вы, наверно, заподозрили... — пролепетал Анатолий Александрович. — Что вас не отпустили сразу... Так вот... сразу не отпустили... Это неспроста. На то есть причины...

Анатолий Александрович посмотрел на Худова виновато-холопским взглядом (который, однако, мог быть деланным), выждал паузу, как будто бы просил, чтобы тот перебил его, издал хоть единственный звук, но, не дождавшись, продолжил:

— Так вот... Что на отпустили сразу, причина несколько иная, чем ваша вымокшая одежда... хотя и это правда. Бог с ней, с одеждой. Не в одежде же суть, — Анатолий Александрович глупо улыбнулся и посмотрел на Худова, точно ожидая улыбки в ответ, но Худов оставался серьезен. — Да, так вот... Все складывается совершенно иначе. Вы ... задержаны.

— То есть как?

— Задержаны. Придется подождать...

— Чего? — Худов встал и подошел к Анатолию Александровичу, поигрывая на ходу кулаками.

Тот вскочил:

— Вы же понимаете, что я только исполнитель, исполнитель чужой воли. Я прислан информировать вас. Я очень сожалею...

Худов подошел вплотную к Анатолию Александровичу и взял его за грудки:

— Ты понимаешь, что ты говоришь? Тварь! Что значит задержан? Это я задержан? Да я из тебя калеку в три секунды сделаю. Открыть дверь!

Худов оттолкнул Анатолия Александровича так, что тот еле удержался на ногах. Губы у него дрожали, даже облизывались как-то.

— Это нелепо. Я же говорю вам, что я только исполнитель. Если я открою дверь, то за ней вы увидите другую, ключей от которой у меня нет. Все гораздо серьезнее, вы действительно задержаны, хотя и вопреки всяким законам...

— Если не откроют, я тебя убью.

— Это не поможет. Я еще раз повторяю, раз вы не понимаете: я исполнитель, ничего решить я не могу. Вы можете меня брать в заложники, убивать сколько угодно, на вашей судьбе это не отразится.

Худов заложил руки за спину, отошел от Анатолия Александровича и, уставившись в окно, все таким же твердым тоном потребовал:

— Объяснитесь.

— Ага, конечно. Простите меня, мне действительно неловко выполнять эту роль... Или роль нельзя выполнять? Впрочем, неважно... Вы задержаны, это горькая правда, которую вы должны знать. Наверно, вам приходилось слышать, что людей вот так... задерживают. Конечно, приходилось... Вам придется провести некоторое время здесь... Поверьте, здесь будет неплохо... Вам будет предоставлена еда... Все, что захотите... Смотрите, тут хорошо...

Худов поймал себя на мысли, что не хочет слушать этого слизняка. Сбылось его самое неприятное предчувствие. Два года назад ему сказали, что у него нехорошая болезнь, что нужна срочная операция и что шансы есть, но это только шансы. Он так же стоял у окна и слушал, как слушают рассказ о ком-то, рассказ, не касающийся его самого. Врачи врут. Это шутка. Все будет хорошо. Тогда повезло: перепутали анализы, а он здоров. Возможно, кто-то умер, но он, Худов, был ни при чем. Теперь ему снова пытались ограничить жизнь. «Некоторое время...» А что после некоторого времени?

— Чего вы хотите от меня? — Худов услышал, что голос дрогнул.

Анатолий Александрович, которого внезапно прервали на описании прелестей здешнего пребывания, запнулся, но ответил, видно, обрадовавшись переходу к деловой части:

— Денег. Вам надо заплатить...

— Много?

— Пятьдесят тысяч... зеленых... Это не мне, — пролепетал Анатолий Александрович, когда на него упал тяжелый взгляд недоуменного Худова.

— Вы с ума сошли. Вы знаете, кто я? Вы меня не ... спутали?

Анатолий Александрович помотал головой:

— Нет. Вы Худов, Павел Сергеевич, доктор философии, профессор. Вы родились в Москве, закончили философский факультет Московского университета, были комсоргом курса, работали в стройотряде в Набережных Челнах, по окончании университета уехали в Сыктывкар преподавать философию в тамошнем вузе, откуда через три года получили направление в целевую аспирантуру. Вернулись, с блеском защитили кандидатскую диссертацию о роли масс в современном революционном процессе. Стали членом КПСС, вошли в партбюро факультета, чтобы не возвращаться в Сыктывкар. Очень скоро стали доцентом, женились на Мельчук Тамаре Афанасьевне, имеете сына Евгения, который, по достижении шестнадцатилетнего возраста, по причине вашего развода с гражданкой Мельчук, также взял ее фамилию. Далее...

— Достаточно, — перебил Худов, как экзаменатор перебивает скучный ответ студента, чтобы задать вопрос покруче. — Если вы так тщательно изучили мою биографию, то почему же вы не удосужились изучить состояние моих доходов? Пятидесяти тысяч долларов я не заработал во всю жизнь. Это нелепость. Или вы полагаете, что у меня личный сейф в швейцарском банке?

Анатолий Александрович не отвечал, только глупо улыбался.

— Хорошо. Вы исполнитель, мне надоело это слушать. Передайте вашему ... шефу, что я бедный профессор, левых доходов не имею, бабки-миллионерши не наследовал, кладов не находил, и денег у меня нет. Понятно?

Анатолий Александрович покачал головой.

— Да, я передам, но...

— Что еще?

— Вы должны позвонить... попросить... у друзей...

Худов даже засмеялся.

— Поинтересуйтесь, сколько получает ученый в нашей стране, а потом решим, надо звонить или нет. Всё!

Анатолий Александрович развел руками, улыбнулся, покачал головой, что-то пробормотал и, как потом вспоминалось Худову, вроде бы задом попятился к двери и вышел, щелкнув замком.

В чужом халате, в тапках на босу ногу, без сигарет, на чужом диване философ Худов просидел всю ночь, то ли не сомкнув глаз, то ли впадая в дрему или бред. Осознать случившееся оказалось еще сложнее, чем выслушать приговор. Все вчерашние рассуждения теперь виделись игрой, несерьезной забавой ради заполнения теряющегося времени; с момента ухода Анатолия Александровича игра закончилась, уступив место неожиданной реальности, с которой так или иначе приходилось мириться. В страшном, нет, в самом нелепом сне Худову не могло почудиться, что его похитили, больше того – с целью выкупа. Безусловно, ему повезло по сравнению с теми, кого заталкивают в сырой, черный, холодный подвал, приковывают цепями к мокрой трубе и держат впроголодь, чтобы потом, получив чемодан денег, прикончить где-нибудь на болоте. Впрочем, неизвестно, как изменится его судьба... Не вечно же сидеть в этих хоромах и есть от пуза. Вчера мулатка пришла спустя примерно час после визита Анатолия Александровича. На столике не было пира, зато целая кастрюля дымящейся картошки, соленые хрустящие огурчики, водка, чай, и это было даже вкусней, чем ресторанные изыски первого дня. Вначале Худов решил не есть, но, не веря в успех голодовок и не чувствуя себя хотя бы чем-то обязанным, основательно подкрепился, разве что водку пить не стал, не из страха быть отравленным – не пошла. Поздно вечером, как рассчитал Худов, мулатка пришла еще раз и предложила чаю с пирогом; чай Худов взял, а от пирога почему-то отказался, хоть и не любил гонять воду просто так. Он выпил с полстакана, а оставшуюся половину приберег на ночь, если захочется пить, и верно, чай пригодился. Теперь он не отказался бы от кофейку, чтобы взбодриться после бессонной ночи, но мулатка не шла, к тому же было неизвестно, какое на сегодня меню.

Состояние Худова было странным: следовало бояться, предвидя скорый конец, биться, как только что пойманная птица, устраивать скандалы... Всего этого не было. Он испытывал глубокое омерзение к происходящему вокруг, ему претила грязная игра, в которую его почему-то втянули, ему жутко хотелось на

волю, но вот страх... Как ни парадоксально, он испытывал что-то вроде доверия и к мулатке, и даже к гадкому Анатолию Александровичу. Он ни минуты не сомневался, что это действительно лишь покорный исполнитель чьей-то злобной воли; он готов был поверить, что ему неизвестно даже, какие истинные планы у шефа; он чувствовал, что в крайнем случае сможет положиться именно на него, потому что больше положиться не на кого. Сама история выглядела комичной, особенно в свете полной осведомленности о его жизни. Если это не ошибка, а это, как доказал Анатолий Александрович, не ошибка, то должен быть умысел, неизвестный Худову. Выкуп – либо предлог, либо пыль в глаза, которая должна отвлечь Худова от постижения чего-то более важного, но чего? Если бы он был физик, работавший на оборонку, его могли бы выкрасть за мозги, но кому нужен рядовой профессор философии, далеко не мировая величина? За ночь Худов понял, что вчерашний день лишь частично приоткрыл завесу его нынешнего положения: он пленен. И всё. Остальное по-прежнему в тумане.

К утру Худов заснул. Потом он рассказывал, что видел сон про собаку, которая, потерявшись, нашла себе нового хозяина, он вволю кормил ее, был куда заботливей, чем прежний, выделил просторную комнату, а она все скулила и скулила, просясь домой. Ему не верили, потому что никто не верит в такие сны, но Худов уверял, обижался, клялся, что именно таким был первый сон его заточения.

Разбудил его то ли шум, то ли запах. Это пришла мулатка с завтраком. На столике снова было много всякой всячины, но главное – душистый, дурманящий кофе, перед которым невозможно было устоять.

— Который час? — спросил Худов, не вставая с дивана.

— Половина двенадцатого.

— Поздний же у вас подъем.

— Вы спали, — мило улыбнулась мулатка, — сказали вас не будить.

«Значит, кто-то заходил, а я не слышал», — подумал Худов и обругал себя за слишком крепкий сон.

— Что бы вы хотели на обед? — спросила девушка, протягивая Худову меню, похожее на то, какие висят в общественных столовых, однако содержание было явно иным: каких-то слов Худов не знал вовсе, какие-то попадались в книжках про высший свет, какие-то вызвали самые аппетитные воспоминания.

— Что все это значит? Чудеса в решете какие-то. Я пленник или наследный принц, заехавший погостить? Скажите, это все входит в счет?

Мулатка улыбнулась, но отвечать либо не собиралась, либо не могла, не будучи введенной в курс дела. Худов потер руки, прочитал еще раз меню и наказыывал кучу всего неизвестного, поинтересовавшись лишь, что представляют собой креветки по-мавритански.

— Это острое, но очень вкусное блюдо. Подается к пиву.

— А пиво...

— Пожалуйста. Когда вам подать?

Худов сказал, что через пару часов после завтрака было бы кстати, мулатка поблагодарила за заказ, навела красоту на столике и со словами «приятного аппетита» вышла из комнаты.

Чудеса, однако, только начинались. Вскоре замок опять затрещал, но, вместо мулатки с пивом, Худов увидел Анатолия Александровича, без улыбки, делового, зашедшего, как заходят на службе в кабинет коллеги. Спросив, не намерен ли Худов позвонить, и получив отрицательный ответ, он проинформировал, что минут через пятнадцать придет ставить местный телефон, чтобы Худов, в случае надобности, мог связаться с ним в любое время. Установка белого старомодного аппарата с туго поворачивающимся диском состояла всего-навсего в попадании вилкой в розетку. Короткая процедура почему-то крайне обрадовала Анатолия Александровича, на лице у которого обозначилось глубокое удовлетворение, какое бывает при водворении долго отсутствовавшей вещи на место...

— Телефон местный. Набираете «один», и я к вашим услугам.

— А другие номера?

— А других нет. Это же местный.

Худов не поверил и тотчас же после ухода телефонного мастера принялся «звонить». Ни одна из девяти цифр не отозвалась. Значит, Анатолий Александрович сказал правду. Тогда Худов набрал единицу, на том конце тут же знакомым голосом спросили:

— Надумали?

— Нет. Проверяю.

— Ага.

Там положили трубку, но у Худова не загудело, а воцарилась тишина. Худов пожал плечами, что-то буркнул себе под нос и отметил, что с телефоном стало как-то повеселей, даром что он местный. Походив по комнате, примеряясь к своему жилью, он заметил, что в нем отсутствуют важные предметы, которыми нелишне было бы обзавестись. И вот:

— Звоним?

— Нет. Мне кое-что нужно.

— Ага?

— Во-первых, часы.

— Будильник?

— Можно будильник. Можно любые часы.

— Хорошо. Что еще?

— Радио. Я совершенно вырван из мира.

На том конце замялись.

— Что, не положено? — спросил Худов.

— Не в том дело. Приемник сломан. Давайте завтра.

— Хорошо.

— Что еще?

— Пока все.

Трубка замолкла. Часы прибыли вместе с пивом, креветками и мулаткой. Они были круглые, настенные, еще советского производства, с большой батареей, а потому, прикинул Худов, должны были врать, но если принесут радио, то не страшно. Гвоздиков в стене не было, зато прямо напротив кровати между окнами висел пошлейший пейзаж, изображавший солнечный день и песчаный пляжик на реке с несколькими бесстрашно купающимися (на заднем плане дымил трубами завод) мальчишками. Худов снял живопись и водрузил вместо нее часы, смотревшиеся тоже не бог весть как, но практично. Картинка перекочевала на подоконник. Разделавшись с домашними хлопотами, Худов принялся за пиво с креветками. Кушанье и вправду было лакомо. Большие, откормленные креветки плавали в остром соусе, разламывались с хрустом и требовали холодного пива, запотевший стакан с которым стоял рядом. Для пальцев прилагалась фарфоровая посуда с ароматной жидкостью, которую по незнанию можно было принять за сок диковинного фрукта. Хотя Худов и не просил, но мулатка принесла пачку сигарет, зажигалку и пепельницу, чтобы клиент мог насладиться по полной...

И все-таки на душе было беспокойно. Так людей не крадут. «Они должны отдавать себе отчет в том, что от меня как от козла молока, — думал Худов, выдыхая дым вверх, — а денег уже потратили кучу. И зачем я им нужен?» Он стал размышлять, может ли быть так, что человека, даже если называют своим именем и знают всю его биографию, принимают за кого-то важного, совсем не того, кем он есть на самом деле, обхаживают, выполняют все его капризы, а он пользуется этим, так и не разгадав загадки внезапно проявленного внимания.

— Может, еще и прогонят? — мечтательно произнес Худов. — Заплачу за пансион и ходу.

Впрочем, сумма могла оказаться порядочной, так что Худов стал размышлять, как бы улизнуть и остаться при своих. Но если его не принимают за важную персону, если он представляет интерес таким, каков он есть, то всё куда загадочнее.

Заточение в первый день показалось Худову санкурлечением: поев, он водрузился на диван и стал читать «Робинзона Крузо», за которого уже принимался накануне, однако беспокойная ночь дала о себе знать, и спустя некоторое время книга упала Худову на лицо, а сам он, сладко посапывая, заснул. В три мулатка принесла обед, после которого Худов почувствовал себя откармливаемым хряком и дал слово не есть так много. Потом он принимал ванну, делал гимнастические упражнения, чтобы не раскваситься в отсутствии движения, дочитал «Робинзона Крузо» почти до конца, поужинал, как и вчера, отварной картошкой с огурцом... А вечером стало страшно. Худов пропустил перед своими глазами весь день и ужаснулся: это был шок, говорил он себе, самый натуральный шок. Нормальный человек не может так вести себя в плену, он не может расслабиться и жить в неволе настолько вольготно... Но он не чувствовал себя в неволе! Ему казалось, что он приехал на серьезную конференцию, поселился в гостинице и наслаждается, как это обычно бывало в

командировках. Однажды (он был еще доцентом и женат на Тамаре) его пригласили на месяц почитать лекции в каком-то областном центре. Его номер, люкс, раз в пять меньше здешних хором, с одной скрипучей кроватью и пахнущим ветхостью столом, показался раем. Пару раз его сводили в ресторан, где пышногрудая дама пела «для нашего гостя из Москвы», а он рассыпался в благодарностях непонятно почему вздумавшим льстить хозяевам. Ему понравилась некая барышня, по имени, вроде бы, Лариса, которой он пытался не отдавить ног за вальсом и которую поцеловал в конце безумного танго... Разве сравнится здешний сервис с тем?! Но там была свобода. А здесь... Наверно, в этот вечер после безрассудного дня Худову впервые стало по-настоящему страшно, настолько, что он набрал пресловутую единицу и вызвался позвонить на волю.

Анатолий Александрович прискакал тотчас и почему-то с диктофоном.

— Здесь городского телефона нет, дача ведь, — объяснил он. — Я запишу вас, а потом передадим, наиграем в трубочку. Будьте любезны.

Худов подумал, что насчет телефона он врет, но виду не подал.

— Только без фокусов, ага? Иначе дубль два-с. Вот эту красную кнопку с черной вместе.

— Знаю, — Худов повертел диктофон в руках, глубоко вздохнул, запустил механизм и начал: — Сережа. Сережа, это Павел.

К горлу подступил комок, говорить стало невозможно, он нажал СТОП, откашлялся, чтобы не выдать своего внезапно набежавшего отчаяния.

— Не спешите, — подбодрил Анатолий Александрович. — Не спешите, никто не гонит ведь. А хотите, я за дверью постою, вы меня тогда кликнете.

— Да не надо. А в общем... Ладно, мне одному действительно будет полегче. Еще бы водички.

— Организуем.

В тот же миг он вернулся с поистине гостиничным графином, полным воды, и граненым по-гостиничному стаканом, чтобы тотчас выбежать, оставив Худова одного. Тот выпил воды, сел на кровать. Диктофон оттягивал руку, казался тяжелым, массивным, голова не хотела думать, язык — ворочаться. Но надо, убеждал себя Худов, надо, потому что иначе... А что иначе? Неужели Сергей сможет что-то сделать?

— Сережа, здравствуй, это Павел. Тут у меня такая смешная вещь приключилась, даже не знаю, как тебе сказать. Пойми, я в здравом уме, в твердом рассудке, при полной памяти, не пьян... Только не подумай, что я тебя разыгрываю. К сожалению, это правда. Понимаешь, тут меня похитили. По-настоящему похитили. Всё это странно, со мной обращаются нормально, даже больше. Я живу так, как никогда до этого не жил, как в западных фильмах показывают. Но похитили, поэтому во вторник лекцию читать не буду. Но дело не в этом. Сережа, они требуют выкуп. Это нонсенс, пятьдесят тысяч долларов. Я понимаю, что у нас с тобой этих денег нет и взять их неоткуда. Но, может быть, ты узнаешь, как обделываются такие дела. Ведь как-то люди собирают выкупы, иначе подобной деятельности не существовало бы. Сережа, только без

паники, без нервотрепки. Ты должен зарубить себе на носу, что я тебя ни к чему не обязываю. Я, повторяю, не испытываю никаких неудобств. Всё это так странно. Позвони Кузьминичне, скажи, что я жив и здоров, но о моем пленении не говори, она растреплет. В общем, не поминай лихом. Кафедре привет. Даст Бог свидимся.

Потом Худов часто вспоминал, дословно вспоминал эту речь в пустоту, и судил себя, верно ли он сделал, ведь Афанасьев оказался, как теперь говорят, подставлен, но были ли выходы? К тому же... Худов проснулся среди ночи и даже сел в кровати. К тому же где гарантии, что пленку действительно, по словам Анатолия Александровича, наиграли в трубочку? Почему ему не велели ничего сказать о месте передачи денег? Хорошо, это они могли договорить сами, а его голос нужен лишь в качестве приманки. Но почему его даже не спросили, как имя-отчество Афанасьева и кем он приходится Худову? Ведь он мог вывести их, к примеру, на милицию, если бы такие знакомые у Худова были. И почему не разрешили говорить напрямую? Определителя номера у Афанасьева нет (это устанавливается в два счета). Допустим, Худов начал бы врать, сказал бы, что его пытаются. От этого не изменилось бы ничего, потому что Худов не мог сказать главного: где он. Эмоции, какими бы они ни были, ничего не решали. Больше того, к проигранной пленке у Афанасьева будет больше недоверия, чем к живому общению с Худовым, а игра ведется как раз на соблюдение человеческих прав, норм, чтобы формально придаться было не к чему. Значит, вывод один: вся эта история со звонком – туфта. А значит, и никакого выкупа им не нужно.

За утренним кофе Худов размышлял, любой ли похищенный задается теми же вопросами или это его голова чересчур приучена докапываться до истины. Может быть, только в кино связывают и бросают в чулан, а в жизни все совсем по-другому? Но почему они так долго тянули, так долго держали его в неведении и так вяло предлагали ему позвонить? И вообще, почему они выбрали его, бедного профессора, живущего холостяком, а потому крайне мало заботящегося о своих доходах? Его проще взять? Но с него невозможно получить и пятой доли означенной суммы! К тому же пусть он и Худов, но профессор, не самая незаметная фигура. Он бы списал все на непрофессионализм, не будь в их руках полной информации о его жизни. Нет, это не новички, хватающие кого попало. И этот прием... Худов много курил. Когда мулатка пришла убирать посуду, он попросил еще блок «Союз – Аполлон» и кофеварку, потому что хотелось больше кофе, а кофе он привык варить сам. И кофеварку принесли, импортную, красивую, дорогую. И сигареты. И радио. И телевизор установили на выдвижную полочку, о существовании которой Худов даже не предполагал. Живи не хочу.

Он начал с радио. В FM диапазоне бралось много станций, причем достаточно чисто, из чего следовало, что дом располагался не так далеко от Москвы. С телевидением дело обстояло несколько хуже: большинство программ комнатная антенна брала с помехами, изображение дрыгалось, но кадры не скакали, так что смотреть было можно. Целый день Худов внимательно следил

за новостями, стараясь охватить как можно более широкий спектр радио- и телеканалов. Ни один из них не сообщил о похищении доктора философии Худова. Даже самые скандальные находили какие-то менее яркие, как представлялось ему, события для тем дня; похищение осталось неосвещенным. Объяснений виделось три: либо они еще не успели связаться с Афанасьевым, что вероятно, так как он мог весь день просидеть в Ленинке; либо Афанасьев решил действовать собственными силами, не привлекая общественность (об этом могли предупредить похитители); либо – то самое, что наиболее удачно укладывалось в художеские схемы. Правда, он относился к своим построениям критически, ведь раз уже отмел вариант, оказавшийся, по крайней мере, внешне верным. И все же... Не дождавшись информации в вечерних новостях, Худов стал ждать утренних, поставив себе условие не выходить на связь раньше восьми утра, чтобы выспаться. И хотя проснулся он раньше, характер выдержал и включил радио ровно в восемь. Пусто! Не принесли урожая и девятичасовые новости. И в десять говорили о другом. Значит, никто ничего не знал. Между тем на дворе был вторник, когда пропажу Худова должны были обнаружить на кафедре. Пара начиналась в одиннадцать пятьдесят, так что в начале первого Кузьминична всхлипнет, что вот уже который день его нет, и не сказал, куда поехал. Вспомнят про Родионову, которая расскажет о непристойном поведении Павла Сергеевича в ресторане, заподозрят недоброе, сообщат в милицию... И вот тут можно рассчитывать на скандальную криминальную хронику. Если такое сообщение появляется, то Афанасьеву никто не звонил, а с Худовым ведут очень хитрую игру, понять правила которой он пока не в состоянии. Если же сообщения нет, то все еще хуже: домыслы неверны, они ждут денег, а так как денег нет, то, подержав немного на довольствии, Худову сделают пах-пах. Или что-то в этом роде.

Между тем после радиофикации камеры высокой культуры быта Худова оставили в покое. Мулатка регулярно приносила еду, мыла полы во всех помещениях, при этом почти всегда молчала, сдержанно улыбаясь шуткам, которые пленник отпускал в силу своего ернического характера. Анатолий Александрович же пропал вовсе, не звонил, не навещался, Худов тоже активности не проявлял, уделяя все время получению информации из свободного мира. По привычке он прислушивался, стараясь уловить внешний шум, однако по большей части там, снаружи, было тихо, а если какие-то звуки и появлялись, то не выливались в незапланированный визит. Всё устаканилось, как любил говорить Афанасьев, установилось равновесие, в котором на одной чаше весов сидел оболваненный Худов, а на другой – кто-то, кто играл с ним, как мир играет со всем человечеством в жизнь.

Зарядили дожди. Они без стеснения барабанили по жестяным карнизам, подзывая философа Худова смотреть в окно, туда, где сейчас грустно и слякотно, но свежо и свободно, и он, повинаясь их зову, подолгу простаивал, навалившись всем весом на подоконник, и думал, думал, думал... Трюк с новостями не удавался: их не было. Вернее, их было много, и все они были

новостями, а Худов хотел услышать то, что для него новостью не было, что сам он знал лучше всех журналистов вместе взятых. Это приводило его в уныние, как приводило в уныние и безделье, в которое он оказался погружен. Он уже не слушал все выпуски новостей подряд, выделив для себя несколько основных групп, где, по его представлениям, могла пройти интересующая информация. С другой стороны, он успел за пару раз увлечься одним или двумя дневными сериалами, идущими по каналам с наиболее четкой видимостью, он даже стал ждать, что будет дальше, и в ужасе почувствовал надвигающуюся старость, когда точно так же, вероятно, будет проводить время. Он читал, лежа на диване, он заставлял себя читать, потому что читать не хотелось, и он читал только потому, что надо было как-то разнообразить этот навалившийся плен. Подолгу глядя в окно, он размышлял о той парадоксальности, которая преследует каждого: нехватка времени провоцирует активность, обилие же его – лень. Даже мулатке он стал заказывать еду попроще, чтобы не ощущать себя курортником и дать понять своему организму, что в датском королевстве-то совсем не о-ля-ля.

Отсутствие внимания к его персоне, вероятно, означало некую стабильность, возникшую после того, как Худов согласился играть вслепую по предложенным правилам. Однако было ясно, что стабильность эта иллюзорна: пройдет неделя, полмесяца, месяц – и всё рухнет, кончится хорошо или плохо. Поэтому вынужденное сибаритство соседствовало в душе Худова с непреходящей тревогой, а удовлетворение от покоя – с надеждой на какие-то перемены.

Бесконечные дожди могли довести до пессимизма, но Худов любил шутить, что он пушкинианец, потому что любит осень и женские ножки, и ровное журчание воды за окном настраивало на ту волну размышлений, которая сейчас, в этой ситуации была как нельзя кстати. Основным правилом, выработанным для себя в это время, было для Худова – не навредить. Задача, когда неизвестно, чего от тебя хотят, труднейшая, поэтому требовалась постоянная рефлексия – привычное занятие для философа, но сложнейшее для импульсивного человека. Худов, совмещавший в себе и одно, и другое, благодарил погоду, стимулирующую рассудительность, дабы не заварить такую кашу, из которой впоследствии будет не выбраться.

Однажды из-за двери послышались голоса, женские голоса. Как зверь, Худов среагировал на перемену привычной обстановки и тотчас на цыпочках подбежал к двери, чтобы приложиться к косяку ухом, потому что, он уже знал, замочная скважина английского замка не позволяла видеть насквозь. Голосов было два.

— Возьми еще, — негромко сказал один.

— Хватит, — ответил другой и скомандовал: — Пошли быстрее.

— Подожди, я не успею, — отозвался первый, после чего хлопнула другая дверь, о которой говорил Анатолий Александрович, и все опять стихло.

Говорили молодые девушки, одна из них могла быть мулатка, но Худову казалось, что ее голос другой, так что, скорее всего, там были иные, новые. Естественно, ничего удивительного в этом не было. Для содержания в порядке

такого дворца должна быть многочисленная прислуга, а из разговора становилось ясно, что, вероятно, девушки делали что-то не совсем дозволенное, иначе зачем спешить и говорить вполголоса, поэтому вероятнее всего они не были хозяевами. Впрочем, это не имело никакого значения для Худова, жизнь которого протекала по эту сторону двери. Весь внешний мир представлялся ему запредельным, о котором нельзя знать, а можно лишь догадываться. Худов уже не раз за эти дни задумывался об относительности границы познания, теперь же ему представилась возможность еще раз убедиться в истинности этой мысли. И страшно было оттого, что до самой последней минуты он может так ничего и не узнать...

И все-таки Худов обрадовался. Видя только мулатку да Анатолия Александровича, он соскучился по людям, и живое, пусть и короткое общение этих двух незнакомок прибавило ему сил. Жаль, он только слышал их, проклятая дверь. Кто бы это мог быть? Спустя два дня Худов с силой шлепнет себя по лбу, упрекая в недогадливости как в самом страшном грехе, который можно совершить в этих стенах. Пока же всё продолжалось без изменений.

— Какая сегодня погода? — спросил он мулатку, когда та вошла с ужином.

— Дождь.

— Это я вижу. Холодно?

— Нет, довольно тепло.

— Все равно скоро снег выпадет.

— Что?

— Снег скоро выпадет.

Мулатка качнула головой в знак согласия и, пожелав приятного аппетита, вышла из комнаты, а Худов убедился, что у тех двух голоса были определенно другие.

В ближайшие два дня, до того момента, когда в жизни Худова произошли какие-никакие, а все же перемены, не было ничего заметного, если не считать вдруг раздавшегося телефонного звонка. Худов не успел поднять трубку и сказать дежурное «аллэ», как оттуда донеслось голосом Анатолия Александровича:

— Государство в Африке, четыре буквы, последняя О, знаешь?

— Мбро! — ответил Худов и порадовался, что не полез за словом в карман.

Минут через пять позвонили снова:

— Нет такого государства. Вторая тоже О.

— Не знаю, — раздраженно ответил Худов.

— Не знаешь — так и скажи. Что хамить?

— Что хамить? Догадайся с трех раз, — Худов так возмутился, что чуть не выругался в трубку.

— А я тебе что сделал? Торопи своих дружков, чтоб денежки платили.

— Оказывается, это они меня запихнули сюда, — но конца фразы на том конце не дослушали: трубка замолчала.

Анатолий Александрович изменил себе, перейдя на фамильярное и даже грубое *ты*, что нисколько не удивило, а главное, не унизило Худова, который с каждой минутой все яснее осознавал, что это – плен.

Вот и все. Больше о тех днях вспоминать Худову было нечего: они слились в единую аморфную массу, когда было тоскливо, скучно и очень хотелось на волю. Худов изнывал в безделье, ему не терпелось найти себе хоть какое-нибудь занятие, но всякое занятие, как понял он, сидя взаперти, требовало то бумаги, то молотка и гвоздей, то гитары, а ничего, ничего, кроме собственных рук и головы, которых оказалось мало, у Худова не было.

Все изменилось внезапно утром, когда он еще спал, и даже не сразу понял, что в комнате не один.

— Э-эй, привет. Пора просыпаться, — произнес женский голос прямо над его ухом.

— Да ладно, пусть поспит, — произнес второй чуть со стороны.

Худов продрал глаза и повернулся на другой бок, чтобы рассмотреть говорящих. Ба! Каково же было его удивление: на корточках прямо возле кровати сидела крашеная блондинка с большими глазами, а в ногах – русая, коротко стриженная девица с длинными серьгами в ушах. Он узнал их сразу, и как же он мог промахнуться тогда, когда их (а чьи же еще?) голоса слышались из-за двери.

— С добрым у-утром, — протянула блондинка и засмеялась.

Вторая молчала и почти не улыбалась, видно, нрава была посерьезней.

— Вы нас узнали?

Худов, будь они мужиками, развернулся бы и дал в морду, но женщины...

— Узнал. Предателей надо помнить в лицо, иначе можешь еще раз попасться к ним на крючок.

— Да ну-у, вот вы какой, — вытянула губки блондинка. — А я думала, мы подружмся...

— Хороша дружба, когда тебя напивают до чертиков, а потом увозят, чтобы содрать денег!

— Это мы еще посмотрим, кто из нас кого напоил. Сам шампанского подливал, подливал. Скажи, Ань?

Аня (серьезная) кивнула головой и снова ничего не сказала. Блондинка, которую, естественно, звали Верой, похлопала длинными ресницами и продолжила:

— Вот ушел бы со своей уродиной, сидел бы дома, пил чай, а так – клюнул на хорошеньких девушек, теперь отдувайся.

— Что вам нужно? — Худов совсем не намеревался с ними миндальничать, потому что уже давно им первым вынес обвинительный приговор. — Чего вы хотите?

Вера как будто бы обиделась:

— Да ничего мы не хотим. Вот пришли проведать старого знакомого, а он оказался таким нелюбезным. Неужели вам не надоело сидеть одному и молчать. Посмотрите, какие хорошенькие девушки к вам пришли. Хорошенькие? Ну?

Худов не отвечал.

— Послушайте, да вы партизан на допросе. Мне бабка рассказывала, когда учила меня жить, что они вот так упирались, если их допрашивали. Но ведь это партизаны, а вы? Вы, по-моему, совершенно нормальный человек. Нормальный? Ну?

— Послушайте! — Худов вскочил в кровати. — Вы уже сделали всё, что от вас требовалось. Я здесь, за меня потребовали пятьдесят тысяч долларов. Чего еще вы хотите? Оставьте меня, пожалуйста, в покое. Скажите вашему шефу, что мне не надо этих апартаментов, не надо внимания, не надо вообще никаких человеческих условий. Все равно денег не будет, так что пусть скорее пускает в расход. Поняли?

Вера изменилась в лице, встала с корточек и отошла к окну.

— Когда играешь, — сказала она, — рискуешь. В этом основное правило игры. Вы прилипли к нам в ресторане, мы бы были бессильны, если бы вы сами этого не хотели, потому что никакого насилия с нашей стороны не было. Почему вы не боялись рисковать тогда и так перетрусили здесь? И какое право вы имеете оскорблять нас? Или я вру?

Худов не понимал ничего. Формально эта крашенная Вера была права, он действительно дал маху, но, увы, был уверен, что для защиты достаточно резинки индивидуального пользования, которую неизменно носил в кармане пиджака. Но он нисколько не собирался чувствовать виноватым себя – виноваты были они, они и только они, это ясно как дважды два, так что барышня в очередной раз собирается навешать ему на уши лапши. Не выйдет!

— Когда играешь, есть правила, — ответил Худов. — Игра в отсутствие правил не игра. Да, вы обманули, вы понимали, в какую игру намерен играть я, но втихую сыграли совсем по-другому, если вам угодна такая метафора.

— А может быть, один – ноль? — в первый раз отозвалась Аня своим глуховатым голосом. — Этот тайм проиграли вы. Играем дальше.

Худов засмеялся:

— Во что? Во что мы играем?

— В этом вся прелесть. Давайте играть так, что правил не знает никто, и цели не знает никто. Слабо?

— Это нечестно, потому что вам известны и правила, и цель, а я действительно ничего не знаю, вот и не хочу играть.

Аня пожала плечами. Вера продолжала стоять у окна, глядя наружу. Все молчали.

— Я все поняла, — через какое-то время разрушила тишину Вера, вернувшись на свою прежнюю позицию. — Вы чересчур серьезны. Вы ведь философ. Да? Вот вас и не научили радоваться тому, что есть у вас сейчас. Попробуйте забыть, на время, то, что у вас там. (Она махнула рукой в сторону

окна, где и находилось художеское *там*.) Неужели нельзя отключиться? Посмотрите, у вас царские условия, балдеи не хочу, девушки пришли. Ну!

— А дальше? Дальше-то провал, — ответил Худов с заметной ноткой грусти, из чего можно было заключить, что, в принципе, он бы не против...

— Откуда вы знаете, что будет дальше? — отозвалась несловоохотливая Аня.

— Откуда? Из своего кошелька. Там не водятся доллары. Вот в чем загвоздка.

— Вы слишком прямолинейны... — сказала она, и тут Вера взглянула на нее так, будто осудила за неосторожно сказанное слово. Вместе с тем Худову показалось, что выглядело это наигранно.

— Ладно, сменим тему, — Вера опять улыбалась. — Я что-то никак не пойму, согласны ли вы с тем, что к вам пришли хорошенькие девушки?

— Согласен, — сказал Худов и тоже впервые улыбнулся.

— Ну вот! — обрадовалась Вера. — А то такой был бука. Надо быть проще, философ. Мало ли что приключится, а вы уж и нос вешать. Плохо. Давайте лучше дружить, а кто старое помянет — тому ай-яй-яй!

— А кто старое забудет... — проворчал Худов. — Ладно, давайте дружить, если у вас это называется дружбой.

Вера с радостью, расцветшей у нее на лице, протянула Худову руку, тот извлек из-под одеяла свою, и они помирились.

— Страшно не люблю ссориться, — сказала Вера. — У меня плохое настроение, если я с кем-нибудь разругалась. Надо мириться, правда?

— Или не давать повода для ссор.

— Нет, посмотри на него, Ань, — Вера отвернулась от Худова и говорила так, будто бы его не существовало. — Только что подружились, а он за старое. Это годится?

Худов за разговором рассматривал обеих. Наверно, Вера была постарше: на глаз ей было лет двадцать пять или даже чуть больше; Ане года двадцать три, хотя поначалу могло показаться, что старше она, в силу ее серьезности и неразговорчивости (вроде, это Худов заметил еще тогда, в ресторане). Аня была интересней и как-то благородней: на тонком лице выделялись умные красивые глаза, не озорные, как у Веры, и не томные, как у уличной девки, а выразительные и очень глубокие. Однако глаза могли обманывать, и Худов все же принял ее молчаливость за признак небольшого ума, которому недостает простору, чтобы поддерживать разговор. Впрочем, Вере отказать в недалекости тоже можно было едва ли, просто она бойче на язык, с виду ярче, а так... Но она умела великолепно улыбаться, чем и сразила Худова, готового прогнать девушек с первых же минут появления — он растаял. Вера несомненно понравилась ему больше, или просто понравилась, в отличие от замкнутой Ани, которая и села куда-то в ноги. Вера болтала чепуху, вздор, который незачем и вспоминать, при этом то и дело трогая Худова за руку; он отвечал тем же, однако совсем не приветствовал тактильных контактов, потому что был

настороже, не понимая, почему это девицам велели к нему прийти. А ведь велели! На сами же они заявили. Тут тонкая игра.

— О чем вы думаете? — перебила рассуждения Вера. — Господи, неужели все философы такие скучные?

— О чем думаю? Да в последнее время все об одном и том же: пытаюсь понять, где я, в плену или уже в раю. Пленников сажают за решетку, дают есть баланду, и девочки к ним не приходят...

— Вы в раю, — отозвалась Аня. — И нечего думать.

Вера глупо расхохоталась.

— Вы в раю, а мы ангелочки, — расширила она Анину мысль и опять залилась беспричинным смехом.

Худов улыбнулся. Он был бы не прочь развлечься с двумя «ангелочками», когда бы не все это. Сознание плена давило и заставляло оставаться начеку, как разведчик в тылу врага должен постоянно держать ухо востро.

— Расскажите мне лучше про себя, как у вас тут в раю живет, — предложил он.

— В раю живет классно, — отозвалась первой Вера. — Мы, ангелочки, (она хихикнула) порхаем, ничего не делаем, но иногда залетаем на огонек ко всяким мужичкам, чтобы им не было скучно.

— А что вы любите?

— У-у-у! Мы так много чего любим! Мы любим конфетки, тортики, цветочки, шмоточки, а еще мы любим, когда нас ласкают. И сами умеем ласкать. Вот мы какие. А вы что любите?

Худов хотел ответить, что он любит, когда его оставляют в покое, но где-то в глубине души уже успел поселиться страх, что они обидятся и не придут (хотя кто их спрашивать будет?), а одиночество, как ему уже стало ясно, не хуже голода гнетет.

— Что я люблю? Я люблю холодное пиво с соленой рыбкой, веселые песенки и как пахнет духами от хорошеньких женщин.

— О-о, тогда понюхайте мои духи. Правда прелесть?

Духи и впрямь совсем не шли к потаскушистому имиджу Веры: легкий горьковатый запах подобран был изысканно, и Худов подумал, что либо она умело строит из себя девку, либо ей подарил какой-то очень разборчивый клиент.

— Шикарно. Великолепно.

— А какие у Аньки духи! Ань, подойди.

Аня как бы неохотно встала, приблизилась к Худову, нагнулась, и он почувствовал не менее прекрасный, хотя и совсем другой запах.

— Очарование!

— А чьи вам больше нравятся, мои или Анькины? — кокетливо спросила Вера.

Худов решил поддержать это кокетство, сделал задумчивое лицо, помолчал и медленным рассудительным голосом ответил, глядя Вере прямо в глаза:

— Естественно, Анины.

Они ушли через несколько минут, когда Аня взглянула на часы и схватилась, что им пора, но обещали скоро прийти. (Вера уже из самых дверей кричала: «Мы сейчас вернемся!»), а Худов еще какое-то время пролежал в кровати, раздумывая над странным визитом. Господи, разве что-нибудь, кроме наслаждения, испытывал бы он, если бы мог встать, одеться и идти куда глаза глядят? Он бы подыграл охотней, когда Вера, ожидавшая, что он выберет не ее духи, по-женски нелепо замахнулась и даже ударила. Он бы вскочил, схватил ее и потащил к себе. Другая, Аня, не осталась бы безучастной и тоже оказалась бы в кровати, а центром человеческой массы, конечно, был бы он, философ, профессор, доктор наук Павел Худов.

На самом же деле вышла какая-то пародия: он поймал Верину руку, отпустил плоскую шутку, которая, надо отдать должное, девицам понравилась, и укрылся поглубже одеялом, потому что был не одет... «Разве это жизнь? — думал Худов, провожая гостей взглядом. — Жизнь, как видно, куда насыщенней, чем визит девушек, пусть и хорошеньких. И то, о чем видишь будоражащие нервы сны, совсем не утоляет жажды, когда кругом тюрьма, плен, неволя... Так что же главное в жизни? В чем ее смысл? Неужели в том, что тебе постоянно будет чего-то не хватать? Голова вылезет — хвост увяз; хвост вылезет — голова увязла. Так и живем. Эти птенчики еще ничего не понимают. Они слишком молоды, чтобы думать о том, о чем думаю я. А я? А я — начинаю быть стар, чтобы позволять себе не думать об этом. Вот так». Худов глубоко вздохнул, скинул с себя одеяло, спустил ноги, поймал ставшие привычными чужие тапки, обругал себя нытиком и принялся с остервенением делать наклоны вперед, стремясь достать до пола ладонями.

Обещания вернуться, однако, остались обещаниями, а худовский плен оставался таким же одиноким пленом. Между тем приближался Тамарин день рожденья, и на душе начинали скрести кошки. Знает ли она о моем пленении, думал Худов. Вероятно, да. Как не знать, когда Худов регулярно общался с Женькой, а тот уж наверняка стал звонить, нарвался на Кузьминичну, та, коли знает, напела, а нет, так уж Тамара наверняка нашла Афанасьева. Худов, разведясь, не стал жечь мосты, Тамара даже звала его вернуться, но жизнь, не заладившись раз, едва ли заладилась бы снова, поэтому он выдерживал характер и оставался бобылем. Они встречались чаще всего у общих знакомых, которые не стеснялись приглашать обоих, там садились вместе где-нибудь в уголке и могли говорить подолгу, благо тем хватало. Потом Худов мог даже проводить Тамару до дому, но на уговоры зайти не поддавался. Больше всего, как он чувствовал, ее волновал вопрос, есть ли у него кто-нибудь, у Худова же никого не было, и это была правда, а Тамара не верила, и это Худова очень задевало. Возможно, поверь она, так бывший махнул бы рукой и заварил кашу снова, а

так... Тамара пришла на защиту его докторской, поздравляла, сама принимала поздравления, потому что работа началась еще во время их совместной жизни. Она звала его на дни рождения, он не приходил, и только раз, на сорокалетие, которое отмечалось в ресторане, явился с огромным букетом роз, стоивших безумных денег, чем вызвал нескрываемое негодование тещи и, как показалось, испортил Тамаре праздник. Теперь же его отсутствие наверняка не доставит ей радости: какое веселье, когда человек, с которым прожила без малого тринадцать лет, пропал и никто не знает, где он, жив ли. Худов впервые подумал, что они могут считать его мертвым. Да он и сам бы, случись такое – тьфу-тьфу-тьфу – с кем-то из его знакомых, не замедлил бы похоронить. И в его голове вертелась бы мысль об отсутствии могилки, на которую можно положить цветочки. А Худов жил. И жил очень неплохо. Тамара кулинарка никакая, поэтому пельменей Худов съел гору, а как разошелся, так, бывало, и вовсе натошак ложился, ленись зажарить примитивную яичницу, разве что Кузьминична заметит, да и заставит хлебнуть щец. Теперь же, в этом диковинном плену, Худов, будучи комплекции нормальной, боялся, что разнесет его, как борова. Умер! Какой там умер! Всем бы так умирать!

Все изменилось в один день, который обещал быть совершенно обыкновенным. Худов читал книги, рассуждал, вздремнул после обеда. Зашел Анатолий Александрович и сказал, что планируется вечеринка. Впрочем, он заходил и вчера, обещал то же самое, так что верить не очень-то и хотелось, но все равно Худов ждал. Коротая время, включил телевизор, устроился поудобнее и стал смотреть. Все до единого события казались ему совершенно не касающимися его самого: и беспокойное положение на мировых биржах в связи с пошатнувшимися ценами на нефть, и создание интеллигентской «Партии 10 сентября», которую представлял вице-лидер Шамшин, столь же неизвестный, как и лидер, некий Тушин, и резкое выступление одного из видных думских деятелей по поводу предстоящей президентской кампании, и убийство криминального авторитета где-то на Урале... Исчезновение профессора Худова не обсуждалось, а это было главным.

Спорт и погоду Худов смотреть не стал, решив принять душ, — а вдруг все-таки придут, и мало ли чем это кончится. Голый, профессор встал под тепленькую водичку и нежился, обливался, терся мочалкой... Тогда, под душем, он не мог предположить, что приближается миг, который переменит его дальнейшую жизнь. Он не стал мочить волос, чтобы не выглядеть «халатным мужем» (это выражение Худов придумал, когда жил с Тамарой, про ее старинного приятеля Лебедева, вечно принимавшего гостей в халате), поэтому мылся в тоненькой резиновой шапочке, великолепно облегавшей голову, но вместе с тем не производившей впечатления испанского сапога. Он поймал себя на мысли, что всерьез воспринимает предстоящий визит, потому что это первый большой прием, который он устраивает с момента его пленения. Еще он думал о том, что неплохо бы расслабиться и насладиться бытием, хотя в его положении это практически невозможно, но постоянное напряжение, в конце концов, вредно не меньше, чем утрата бдительности. А еще он чертыхался и про себя, и

вслух, посылая куда подальше этот навязчивый рай, несбыточно мечтая о своей замызанной коммуналке. Он вытирался шикарным, огромным банным полотенцем, мягким, как шерсть новорожденного котенка, душистым и поразительно красивым; он выбрал пошкарнее одеколон, хотя нешикарных здесь не было, и надушился сколько надо, не экономя, но и не превращая себя в парфюмерную лавку; он влез в халат, но лишь затем, чтобы дойти до дивана, где лежала его свежая рубашка (не его, а ему выданная здесь) с нашитым зеленым крокодилчиком на кармане и брюки, тоже не его, но стоящие всех его брюк вместе взятых; он расчесал волосы перед зеркалом, чтобы добиться презентабельности своего вида, и, взглянув на часы, отметил, что остается каких-нибудь десять минут до времени «Ч». Он машинально включил телевизор... Порой судьба велит человеку делать то, что он сделать *должен*. Поэтому Худов включил телевизор машинально, вовсе не желая искать чего-то, просто *так* он поступал теперь обычно (дома он обычно им пренебрегал) и этой обычности последовал теперь. Однако то ли судьба не так совершенно, как хотелось бы, то ли ее игра была тоньше, но сначала Худов остановился на трансляции теннисного матча. Игра показалась ему красивой, и Худов продолжал бы смотреть и дальше, понимая он в игре чуть больше, чем просто изящные взмахи и позы... Итак, он переключил каналы и опять же совершенно случайно на миг остановился на том, который должен был бы смотреть, по крайней мере минут пять. Все произошло неожиданно, и Худов запросто мог быть скакнуть дальше, но подсознание или что там у нас есть... «...до беспредела, хотя и не хотелось бы употреблять этого слова, — услышал Худов и увидел молодого человека с глуховатым голосом, державшегося свободно, даже немного развязно, который в продолжение сказал такое, что у Худова перехватило дыхание: — В конечном итоге, не каждый день у нас вот так бесследно пропадают профессора!» Именно эту фразу и позволила услышать ему судьба, не больше и не меньше, потому что загремел замок — и ровно в назначенное время обещанный Анатолий Александрович вошел с обещанными Верой и Аней.

— А вот и мы, а вот и мы, — пропел Анатолий Александрович.

Длинными пальцами он держал за горлышки целых четыре бутылки вина, а впереди себя толкал столик, полный душистых яств, девицы же, в потрясающих нарядах (Аня, кажется, в том черном платье, в котором была во время злополучного знакомства с Худовым в ресторане) шествовали налегке.

— Ждем, ждем! Пожалуйста!

Худов был на подъеме. Все стало ясно. Ну, не все, но его предположения отчасти подтверждались: никакому Афанасьеву никто не звонил, потому что в таком случае не могло быть и речи о «бесследном» исчезновении, а значит, не нужны им эти самые 50000 долларов (однажды Худов написал эту цифру и ужаснулся обилию нулей), что, безусловно, с самого начала представлялось абсурдным. И вот настал праздник и на улице Худова: он получил первую информацию. Что это о нем, он не усомнился ни на йоту: неужели возможно предположить, чтобы стащили сразу двух профессоров, а если некий маньяк-

академифоб открыл сезон охоты за докторами наук, то и говорилось бы о массовом исчезновении. Итак, это его, Худова, не могли найти, а следовательно, искали, и это его отсутствие привело в недоумение, нет, в раздражение, нет, возмутило того молодого человека с глухим голосом, принесшего так нужную крупичку информации, заставившую Худова буквально воспарить от радости. Потом, поздно ночью, когда все разойдется, а вернее, утром, когда Худов проснется с больной головой, он поймет, что нечего впадать в эйфорию, потому что он обладает лишь отрицательным знанием и до сих пор неизвестно, чего же надо этим таинственным похитителям. А пока...

— Прошу вас, прошу. Оч-чень рад!

Комната Худова, даром что огромная, тотчас наполнилась запахами изысканных духов, которыми были щедро облиты девицы и которые чудным образом гармонировали с ароматом продуктов. Обе широко и, как могло показаться, искренне улыбались, и Худов не нашел ничего иного, как поцеловать их в щеки: сначала Аню, а потом – Веру. Девушки издали при этом разные, но откровенно эротические постанывания и принялись переставлять еду со столика на колесах на худовский стол, причем сервировать они явно умели.

— Попируем! — радостно приговаривал Анатолий Александрович, и Худову показалось, что говорит он это искренне и рад попить, потому что истосковался по веселым, беззаботным вечеринкам.

— Попируем! — поддержал Худов, и Анатолию Александровичу показалось, что говорит он искренне и рад, просто по-человечески рад развеяться...

Яства были изысканны, нет смысла описывать, ибо читатель убедился уже не хуже нашего профессора, насколько богат, щедр и гостеприимен дом, в который непонятным образом занесла Худова судьба. И бокалы были хрустальные. И тарелки – тонкого фарфора, зеленоватые, расписанные, с неровными, будто вытканными краями. И приборы – серебряные. И свечи зажгли, дабы уютно было. И стоило Вере заикнуться: «Музыки!» — как Анатолий Александрович притащил магнитофон с большими колонками, из которых потекли мягкие, прямо как раз песни...

— Друзья, — поднял бокал Худов и поймал себя на мысли, что сказал это слово, каким обращался к братьям по столу во время защит, юбилеев, новых годов или двадцать третьих февралей. Оно выскочило из его уст, и все — так, во всяком случае, показалось Худову — притихли не потому, что начал произноситься тост, а потому, что из уст этого пленника вырвалось не совсем подходящее слово.

— Друзья, — будто бы убеждаясь в истинности, произнес Худов и добавил: — А я надеюсь, что нахожусь в обществе моих друзей (напряжение вроде бы, показалось ему, спало), ибо невозможно представить себе такого теплого застолья в обществе людей, желающих друг другу зла. Итак, друзья, я хочу выпить за вас. Вы сами понимаете, что я не мог к вам относиться по-доброму с самого начала, но время шло, и я стал понимать, что невозможно точить зубы бесконечно, особенно тогда, когда не встречаешься со злобой от

противной стороны. Постепенно образ врага, как стали говорить в перестроечные годы, начал превращаться в химеру, и вот сегодня я понял окончательно, что нахожусь среди людей, которые вполне добры по отношению ко мне. Я до сих пор не могу понять, что заставило вас или тех, на которых вы работаете, совершить мое похищение, которое, однако, и похищением назвать трудно, но искренне надеюсь, что это либо досадное недоразумение, либо что-то мне неведомое. И если честно, то сегодня я не хотел бы говорить ни об этом абсурдном выкупе, ни о перспективах – ни о чем, касающемся меня одного: я предлагаю провести этот вечер так, будто бы вы просто пришли ко мне в гости... Правда, со своей снедью. Итак, за вас!

Худов поднял бокал выше и потянулся чокаться, но его опередил Анатолий Александрович:

— Алаверды! — закричал он. — Я не могу не ответить тотчас же. Не перебивайте меня, не следующий тост, а этот. Дорогой Павел Сергеевич, хочу признаться, что попросту счастлив, что меня, пусть и при несколько странных для вас обстоятельствах, свело с вами. Я думаю, девочки не сочтут меня за старикана или зануду, если я скажу несколько теплых слов о вас – в их компаниях, кажется, теперь тостов говорить вообще не принято. И все-таки: бывают люди упрямые, упертые, инертные, которых невозможно сдвинуть с места, если они этого не хотят. С такими тяжело и неприятно. А есть другие – которые не лишены убеждений, но эти убеждения не мешают им быть подвижными, покладистыми, тактичными. Вот такой человек Павел Сергеевич. Не побоюсь сказать, что в его лице мы имеем настоящего интеллигента, каких сегодня не то что мало – таких почти нет. И еще... Я искренне хочу надеяться, что со временем отношения с Павлом Сергеевичем не изменятся и он будет относиться к нам и, как он выразился, к тем, на кого мы работаем, так же хорошо. Во всяком случае, заверяю, что ничего дурного с нашей стороны вы не найдете. Словом, за вас, Павел Сергеевич.

— И за вас, — Худов чокнулся сначала с Анатолием Александровичем, потом с девушками – вечеринка началась.

Худов положил себе и сидящей рядом с ним на диване Вере (Аня и Анатолий Александрович расположились напротив) маринованных грибов, оказавшихся исключительными («Такие бы под водочку», — подумал Худов, но на столе было только вино) и нечто, напоминавшее по вкусу печеночный паштет.

— А это вот специально для вас, — Анатолий Александрович протянул Худову тарелку, на которой распласталась тонко нарезанная буженина.

— Спасибо, спасибо. Вы и вправду всемогущ.

Худов взял кусочек себе, а еще один положил в тарелочку Вере. Та скромно кивнула головой и приятно улыбнулась Худову. На Вере было красивое черное платье, подлиннее, чем на Ане, и расцвеченное золотистыми блестками, которые не придавали, однако, наряду пошлости. Ее красивые светло-русые волосы были причесаны так, как сможет причесать только самый изысканный парикмахер, и Худов решил, что вечеринка, скорее всего, была спланирована

заранее, а не случайно инициирована Анатолием Александровичем. «Ну и пусть, — подумал Худов. — Зато я кое-что уже знаю, и мне ничего не страшно!» Он как бы невзначай придвинулся поближе к Вере, чтобы иметь возможность как бы невзначай коснуться ее.

— Это что, хрен? — спросил он, указывая на маленькую посудинку, стоящую ближе к Вере.

— Да, — кивнула она.

— Позвольте, — попросил Худов и, принимая скляночку, провел рукой по мягким Вериным пальцам.

Ох и мастер он был, Худов, вот такими незаметными движениями привораживать барышень! Сядет, бывало, возле хорошенькой аспирантки, начнет за науку, за философию, плечом коснется, рукой заденет, нагнется, прошепчет что-нибудь, комплимент отвесит, а там — глядь! — ладонь-то уж на кругленькой коленочке! Кто-то аккуратненько снимет, точно не придавая значения — заговорился профессор; кто-то заскромничает и будет терпеть, а иная подыграет профессору на радость. Худовские озорства были хороши известны, и Афанасьев, отличающийся аскетизмом и строгой семейной привязанностью, случалось, укорял Худова, а тот только рукой махал и на следующем же банкете делал то же самое...

— Может быть, наш мир и не исчерпывает всей полноты бытия, но трудно поверить в то, что есть в мироздании уголки, где существование приятнее, чем тут, вы не находите? — Худов посмотрел прямо в глаза Вере, которая почему-то глупенько улыбнулась и хихикнула.

— Вы уже шепчетесь? — заметил с противоположной стороны Анатолий Александрович. — Рановато. Пока вместе, никаких секретов!

— Да какие секреты? Вот сказал Вере, что, при всей огромности мироздания, мало где найдется такой уютный уголок, как здесь, — произнес во всеуслышанье Худов и подумал: «Хорошо, что не ляпнул такого, из чего пришлось бы выпутываться. А впрочем... какая разница? Как хочу — так и веду себя».

— Вы и вправду философ, хе-хе. Сидеть за столом с хорошенькой девушкой, а думать про вселенную, или, как вы сказали, про мироздание... Вот, девушки, радуйтесь, с вами не кто-нибудь, а настоящий ученый, профессор, доктор наук, философ сидит!

Худов было застеснялся даже, но, поймав игривые взгляды Ани и Веры, улыбнулся, налил еще по бокалу и сказал второй тост:

— Я предлагаю выпить за мироздание, за наше мироздание, в котором есть такие очаровательные, прошу извинить за тавтологию, создания, как наши милые барышни!

— Пойдите, Павел Сергеевич, за дам вроде бы рановато, — перебил Анатолий Александрович.

— А Павел Сергеевич не за дам, а за мироздание, — ответила ему Вера.

Худов подтвердил: «Верно», — и, прежде чем выпить, чокнулся с ней и обнял за плечо, сделав еще один шаг вперед. Чтобы закусить, хотя закусывать

было вовсе не обязательно, Худову пришлось вернуться в исходную позицию, зато можно было положить Вере кусочек красной рыбки и попросить у нее («Вера! Руками!») белого хлеба. И Вера улыбалась так кокетливо, и Худов отвечал ей так же игриво, и не надо было бояться, что у нее муж и что завтра по факультету поползут слухи...

— А как это философ? — спросила вдруг Аня. — Это не скучно?

— Скучно, Анечка, скучно, — ответил Худов. — Приходится всякими отвлеченными материями заниматься. Но есть в этом один плюс.

Худов сделал паузу. Все внимательно посмотрели на него, то ли пытаюсь понять, что же это за плюс, то ли недоумевая, откуда, мол, у высоких, отвлеченных материй плюсы. Худов обвел всех взглядом, театрально, не давая разгадки сразу, и загадочно произнес:

— Все философы обожают шумные компании и хорошеньких девушек. Вот, Вера, — он обратился к «своей», — ты слышала о таком философе Канте?

Вера невразумительно кивнула головой, из чего можно было заключить, что она вовсе не против существования такого философа.

— Так вот, Кант был большим любителем попок. Он жил к городе Кенигсберге, северном, мрачном, на побережье Балтийского моря, кто не знает, но в этом городе была масса миленьких барышень. И Кант просто-таки через силу заставлял себя работать, желая как можно скорее побегать к девчонкам. Бывало, заскочит он в ресторанчик пивка хлебнуть (он же немец), а этакая милашка уже к нему на колени норовит. Кант не будь дурак посадит девчонку к себе, тут уже другие подбегают, мужички, как рыба на живца, подспеют — и пошла гулять кенигсбергская богема. Целую ночь прогудят, а к утру Кант возвращается домой и в хорошем настроении еще страничек десять напишет. Но самое интересное, что он не любил перечитывать написанное. Вот и получалось: до гулянки Бога нет, а после — есть. Так до сих пор в его философии не разобраться, сам себе перечил. А все дело в барышнях.

Худов игриво посмотрел на Веру и на Аню, которые улыбались, не понимая, верить этому профессору или нет.

— Это правда? — разрушил молчание Анатолий Александрович.

— Исторический факт, — ничтоже сумняшеся выпалил Худов. — Все философы вели разгульный образ жизни. Вот Гегель тоже, только тот у себя дома оргии устраивал. У него было два входа: один парадный, через который все входили, а другой — потайной, куда он водил к себе девочек. И до того был аккуратен и предусмотрителен, что вскрылось все уже после смерти. Написано об этом мало: понятно, кому же охота такое имя марать. А разве это марать называется, что человек как нормальный человек жил? Привыкли мы из великих идолов делать, а им тоже жить хотелось. Вот такие вот люди они, философы, — завершил свою историю Худов и заметил, что у мужчин бокалы пустые, а дамы пьют осторожничая.

— Давайте за высокую науку, которая может сделать из человека черт те что, и за тех людей, которые выдержали натиск высокой науки и не превратились в сморчков!

Еще много историй изверг из себя Худов после этого тоста. Сидящие узнали, например, что Спинозе нравилась большая грудь, а Фома Аквинский самым наглым образом задирали женские юбки, желая разглядеть, какими ножками обладает барышня, Юм целовался со всеми, на него писали доносы даже королеве, но королеве самой было приятно целоваться с Юмом, поэтому она откладывала принятие указа, карающего развратного агностика, но больше всего досталось Диогену. Оказалось, что, сидя в бочке, древнегреческий чудак затаскивал к себе баб и нападал на них, как паук на мух, запутавшихся в паутине. Легенда свидетельствует о том, что был он удивительно сексуален и изобретателен в интимном деле, а потому всякая дама только и мечтала о том, чтобы ее трахнул Диоген в своей залитой спермой бочке. Рассказы сопровождалась тостами и трапезой, а так как они показались интересными, все засиделись, и неизвестно, чем бы все кончилось, если бы Худов случайно не опрокинул полный бокал вина, которое потекло по столу быстрой рекой и едва не залило Аню. Та вскочила и так смешно взвизгнула, что все просто покатались со смеху. Худову же в движениях Ани увиделся безумный танец, и он заорал в ответ:

— Все, хватит жрать! Танцы!

Анатолий Александрович подбежал к магнитофону, переключил кассету на что-то ужасное, но зазорное, заводное и кинулся к Ане, оставив, видимо, как и было задумано, Худову Веру.

— Идемте, — настойчиво сказал Худов и взял Веру за руку.

Танцевали они умеренно, элегантно, Анатолий Александрович же разошелся не на шутку и отплясывал, выделявая перед Аней такие тру-ля-ля, что это походило на танец возбужденного павлина перед своей холодноватой павой – во всяком случае так представил себе это Худов. Аня подыгрывала ему весьма умело и даже охотно, совсем не так, как реагирует человек, недавно назвавший своего нынешнего партнера удавом... Впрочем, доля снисходительности и в ее танце была: Анатолий Александрович, несмотря на молодость, танцевал если не по-стариковски, то по старинке, в то время как Аня выглядела современной, а ее стремление не противоречить стилю Анатолия Александровича отдавало фальшью. Худову было легче: во-первых, он не стремился выложиться перед Верой и дергался в свое удовольствие; во-вторых, она танцевала весьма сдержанно, а может быть, просто не хотела смотреться так же наигранно, как подруга (или коллега?), - словом, эта пара смело могла быть названа классической и стилистически однородной.

Едва кончилась музыка, как начал звучать новый танец, но Худов почувствовал себя не совсем в форме (вероятно, сказывалось долгое сидение на одном месте) и устроился на диванчике вместе с Верой, не отказавшейся от бокала вина; Анатолий Александрович с Аней продолжали выделять кренделя.

— Собиралась приходить, а отправила одну подружку, нехорошо, — вспомнил Худов, чокаясь с Верой.

— Вам не понравилась Аня?

— Я этого не говорил, но я ждал вас обеих. Кстати, вначале-то вовсе обманули... Не стыдно?

Вера улыбнулась, но ничего не ответила. Худову понравилась улыбка, и он подумал, что Вера очень даже искушена в кокетстве, потому что умела выразить в ней целый комплекс чувств, а именно, что она, может быть, и пришла бы, но ведь он должен понимать сам, насколько мало зависит от ее воли. Впрочем, все это – от начала и до конца – могло быть неправдой... Худов взял Веру за руку. Та снова ответила взглядом, из которого следовало, что она не против и что главный здесь все-таки он, Худов, а Вера – в подчинении. «Не очень-то разговорчива», — подумал Худов и предложил своей барышне красное яблоко. Та, сказав «спасибо», приняла.

— Я выбрал покраснее, чтобы это гармонировало с вашими щеками, — сказал Худов, а Вера тотчас внешними сторонами ладоней, прямо с яблоком в одной руке, машинально прикоснулась к щекам.

— Так и знала, что красная, — сказала она очень по-простому и сконфуженно улыбнулась.

— Тебе очень идет, — соврал Худов.

Вера поморщилась, оторвала руки от щек и откусила, как видно, неожиданно большой кусок от своего яблока, забив тем самым весь рот. Худов улыбнулся, а девушке стало вдруг смешно, да так, что она подавилась и жестами попросила Худова постучать по спине. Тут как раз окончился второй танец, и к столу вернулись Анатолий Александрович с Аней.

— Я смотрю, вы сошлись, — сказал он, глядя на совместную борьбу с кусочком, попавшим Вере не в то горлышко. — Не помешаем?

— Нет, — процедила Вера сквозь кашель.

— Тогда тост, — предложил Анатолий Александрович и разлил вино.

Тостов было еще много, однако теперь солировать взялся Анатолий Александрович. Видимо, его задели худовские байки, и он тоже решил развлечь компанию, только вот с фантазией ему явно не повезло, поэтому он и не пытался разыгрывать из себя творца, а сосредоточился на уже привычном (по крайней мере, для Худова) мемуарном жанре. Рассказывал в красках, так что Худов даже начал верить в его вахтерское прошлое. Историй оказалось много, все они были однообразны в части, касающейся самого Анатолия Александровича: он выставлялся наиболее умным и сообразительным, что обычно свидетельствует об ограниченности или неискренности. Запомнить все было невозможно, да и не нужно, одна только запала в память Худову. В ней говорилось о старенькой женщине (которую Анатолий Александрович знал неплохо), решившей, уже будучи на пенсии, заехать на родной завод, чтобы попрощаться со всеми перед ожидаемой кончиной. Однако у нее не оказалось злополучного пропуска, а без пропуска войти нельзя было «даже господу богу». Тогда Анатолий Александрович нашелся: он позвонил в цех, где работала эта старушка, и в обеденный перерыв перед проходной собралась целая толпа ее друзей и знакомых, с которыми, благодаря находчивости Анатолия Александровича, она смогла проститься.

— А что, — спросил Худов, — пропуск ей нельзя было заказать? Прошла бы — там бы и попросилась.

— На каком основании? — спросил Анатолий Александрович, после чего Худов, кажется, совсем перестал сомневаться в его искренности.

— Вы чудо, Анатолий Александрович, — заржал (и это самое подходящее слово) он. — Вы просто чудо. Давайте же выпьем за вас и за ваше стремление всегда быть человеком на своем месте. Не сочтите это ни за издевку, ни за лесть, дорогой вы наш, это истина, это истинность. Девочки, мы пьем за Анатолия Александровича!

Худов выдул махом бокал вина, почему-то поставил его на тарелку и пошел целоваться с Анатолием Александровичем, к чему тот, кажется, не был расположен, но не смог устоять под натиском Худова, как не смогла устоять и Аня, и Вера, когда он вернулся на место.

— Ребята, я вас люблю.

После этого Худову никогда не давали пить на кафедре. Но Анатолий Александрович не был посвящен в тайны худовского питья, а потому послушно подливал вина и даже улыбался, когда Худов поднялся в полный рост и заорал:

— Оргии! Нерон желает оргии! Приказываю спалить Рим к ... матери! Наложницы, ко мне!

Худов недвусмысленно расставил руки, и в тот же миг Аня с Верой послушно юркнули к нему в объятья; Анатолий Александрович было заметил, что одну из барышень у него наглым образом отобрали, в ответ же получил: «А ты не хлопай клювом, козел», — и мерзкий смешок доктора философии. С этого момента Худов не обременял себя наполнением фужеров, а пил прямо из горла, не желая делиться ни с кем, но и не возражая, когда то Аня, то Вера поступали точно так же.

— Девочки, гуляем! — громко провозгласил он. — Жизнь дается человеку один раз, и это хреново, когда в конце жалеешь о недоласканных девочках, как писал Адам Смит в письме к Карлу Марксу! Ты читал Карла Маркса?

Анатолий Александрович что-то буркнул, а Худов снова заржал:

— Он не читал Карла Маркса! А туда же! Девку ему! Поди сперва прочитай, с какого слова начинается «Капитал»! Только одно слово! Девочки, он не знает, с какого слова начинается «Капитал»!

— Я тоже не знаю! — заорала Вера.

— Я тоже не знаю! — заорала Аня.

— А вам и не надо! Что за баба, которая знает, с какого слова начинается «Капитал»? Баба должна знать свое место? Ты знаешь свое место? — спросил он у Ани.

— Нет.

— Не-ет?! Твое место у меня под левой рукой. А твое под правой. Чтобы это знать, совсем не надо читать «Капитал». Музыки! Му-у-узыки-и-и!

Музыка заиграла громкая, заводная, лихая. Худов вскочил, образовал с девицами нечто подобное хороводу, и все они принялись скакать, пренебрегая

представлениями о метре и ритме; ко всем прочему Худов еще и пел что-то, совсем не относящееся к играющей музыке. Анатолий Александрович взирал на все это с ужасом, но по какой-то, одному ему ведомой причине не мог прервать безумия, разыгравшегося на его глазах, в которых отражалось откровенное презрение. Худов же потерял все тормоза. Он поочередно целовал барышень, трогал их за грудь, а когда сели, задрал юбки и с двух рук ласкал их ноги. Философский ликбез не прекращался.

— Вы слышали, что бытие определяет сознание? И это так. Я не собираюсь низвергать вечные истины. Меня воспитали материалистом, и я материалист, не по необходимости, а по убеждениям. Это только Штейн считает, что я лицемер. Это он лицемер, потому что всю жизнь прятался за материализмом и партийным билетом. А я своих убеждений не сменил! В конце концов, девочки, философия – это гимнастика ума, как математика, например. Философия – это игра, но очень серьезная игра, не пятнашки и не прятки. Подчас на кону стоит жизнь или свобода. Играющий в рулетку тоже ставит и жизнь, и свободу. И если рулетка – игра, то философия – игра тоже. Как это называется, уважаемый часовой? Это называется сил-ло-гизм. И у меня на руках складывается «Бытие определяет сознание», и я готов отстаивать это, как играющий в преферанс готов отстаивать то, что на мизере не возьмет ни одной взятки. Меня можно спросить, а почему это бытие определяет сознание. А я отвечу, что это трансцендентально! И попробуй меня переубедить. А вашему Штейну, господин ВОХРа, я намылю шею, потому что он самый настоящий козел и только строит из себя великого философа! Вот я не строю, я всего лишь Худов, хотя и профессор. Я не претендую на место Канта, Гегеля или хотя бы Бердяева! Я Худов. И всю жизнь буду Худовым. И умру Худовым. И оставлю после себя только то, что сделал Худов. И если Худов ничего не сделает, то ничего и не оставлю. А вот чужой земли мы не хотим и пяди! Вина! Вина мне!

Анатолий Александрович по старинке плеснул Худову в бокал, но тот пить желал только из бутылки.

«И когда это он так успел нажраться? — подумал Анатолий Александрович. — Вино ж, не водка. Вот слабак интеллигентский!»

«А я вовсе и не нажирался, — подумал в ответ Худов. — Чтобы совсем опьянеть, мне столько да еще полстолька водки понадобится. Это я играю с вами, голову вам морочу. Коз-злы!»

— Девочки, — завопил вдруг Худов и поднял кверху руку, требуя тишины. — Девочки, это нехорошо. Вот сидит человек (он показал на Анатолия Александровича), которому скучно, а за столом, как любил говаривать Теофраст Парацельс, никому не должно быть скучно, а был он знатный пьяница, и это сущая правда. Так пойдите же к нашему общему другу и приласкайте его.

Девушки, изрядно разошедшиеся, кинулись к Анатолию Александровичу с энергией львиц и были готовы растерзать его в эротическом пылу. Тот как-то тихонечко, по-козлиному подхихикивал и совсем не мог противостоять напору вошедших в роль барышень. Особенно усердствовала Аня, которая забралась к нему на колени и обвила шею руками, точно собираясь между делом задушить.

Худову в этом увиделась какая-то восточная оргия, в которой одна из многочисленных жен (причем – любимая), воспользовавшись заварушкой, душит опостылевшего муженька. Худов даже испугался быть втянутым в новую историю и решил прийти Анатолию Александровичу на помощь, но в этот момент Аня поменялась местами с Верой, которая вела себя с ним гораздо нежнее. Аня заняла позицию сзади и эротически массировала шевелюру, временами, однако, заставляя несчастного мужичка морщиться от боли. Вера же стала потихоньку щекотать Анатолия Александровича, так что он взмолился:

— Спасайте... Ой... Не могу... Спасайте... Павел Сергеевич... Не могу... Ой...

Худову совсем не хотелось его спасать, потому что он воспользовался отсутствием внимания к себе и ел в свое удовольствие, поэтому, откусывая кусочек буженины, только процедил:

— Полегче, девочки, полегче.

«И почему на наших посиделках никогда не бывает так же? — подумал он. — Что в этом такого? Видно, надо ловить момент».

Худов вытер салфеточкой руки, губы, глотнул – совсем чуть-чуть – винца и встал, будто бы на помощь своему товарищу по полу, а на самом деле сделал погромче и без того громкую музыку и в танце взял за талию сначала Аню, а потом и Веру, которой, как подумалось Худову, было приятней с ним, чем с Анатолием Александровичем... Или так было задумано?.. Плевать! Танец был безумен и страстен. Худов без стеснения обращался с девушками, повалил обеих на диван, где все трое продолжали дьявольскую пляску, способную привести в ошеломление кого угодно. Худов целовал их в губы и даже перестал в точности представлять себе, чей именно ротик попадался ему, так оба были нежны и приятны. Когда музыка стала медленнее и еще более страстной, он взял со стола апельсин, принялся его чистить, обливаясь соком и обливая соком обезумевших девиц, совсем как в эротических фильмах, а потом давал по дольке каждой в зубки, и все сопровождалось поцелуями, поцелуями, поцелуями...

Неизвестно, чем бы все кончилось – или так было задумано? – но вдруг Анатолий Александрович поднялся со стула и произнес:

— Девушки, пора.

Это подействовало, как заклинание. Но Худов... Не подумайте, что философы склонны выяснять отношения с помощью кулаков... И Худов, как мы помним, никогда не был драчуном, но...

— Послушай, — подошел он к Анатолию Александровичу отнюдь не с добрыми намерениями. — Послушай, ты, рухлядь, у тебя что планида такая разрушать все, что хорошо? Куда это им пора? (Худов взял его за лацканы пиджака, и по лицу его было видно, что он вполне готов к драке.) Они пришли ко мне в гости и уйдут отсюда тогда, когда захотят они, а не ты, червяк, понял? Или я из тебя корм карасям сделаю! Гнида!

Анатолий Александрович был не рад, что напоил Худова до чертиков, но вступать с ним в единоборство не собирался, притом еще ведь Худов был куда более грузный...

— Хорошо. Но только не долго, — отступил он.

— Столько, сколько нужно! Понял? — Худов тряхнул его за пиджак, как это делают мальчишки в школе, и отошел, повторив для ясности: — Столько, сколько нужно.

Девушки стояли в сторонке обескураженные: в их обязанности, безусловно, было подчиниться Анатолию Александровичу, но ситуация перестала оставаться штатной. Вера показала Ане, что, видимо, следует переждать, дабы не провоцировать развития конфликта. Худов взял со стола бутылку хлебнуть вина, но оно кончилось. «Слава богу», — подумал Анатолий Александрович. Худов подошел к Ане, поцеловал ее, потом к Вере, тоже поцеловал ее, шепнув на ухо, что не прочь был бы посидеть с ней наедине, буркнул: «Идите», — и закурил, подойдя к окну.

Профессор Худов проснулся на чужом диване, который уже давно перестал воспринимать чужим. Он успел свыкнуться с этим домом, где жизнь как у Христа за пазухой, и тяготила его не столько ностальгия, сколько все еще остающаяся неопределенность. Несмотря на это, Худов потянулся в кровати, сладко зевнул и поднялся на ноги со словами: «Хорошо-то как!» День был пасмурным, но непривычно ярким: за окном выпал снег. Если бы не плен, Худов бы непременно вышел на улицу и, как мальчишка, стал играть в снежки. Несколько лет назад, когда он жил еще с семьей, им пришлось поехать на дачу в самом конце ноября, по слякоти, по сильному дождю и ветру — меняли электрику. Худову не охота было тащиться одному, и он поволок с собой вместе и Тамару, и Женьку, подавив их сопротивление и желание остаться. Ночевали в холодном доме, уже остывшем с лета и плохо разогревшемся от печки, которую давно пора было перекладывать; Тамара ворчала, Женя стоически сносил свалившиеся на его плечи невзгоды, но утром... Утром все переменялось: точь-в-точь как теперь, выпал первый снег, подобный цыплячьему пуху, даром что белый; все обратилось в порядок и чистоту, услышалась знакомая зимняя тишина... Женька выскочил на улицу, скатал из липкого снега комок, к которому еще налипала осенняя грязь, и пульнул им в Худова, который еле-еле успел увернуться, но сам тотчас вылепил снежок и бросил в сына. Тамара было отругала обоих, напомнив, кому стирать перепачканные куртки... Куда там! На отца с сыном напал такой азарт, что сердиться было невозможно, а когда снежок то ли случайно, то ли по умыслу, попал в нее, сама включилась в баталию, из-под шапки по-девичьи вырвался клочок волос, и она дула на него, чтобы тот назойливо не лез в глаза... Воспоминания могли бы навеять грусть, но мулатка, явившаяся с завтраком, нашла Худова весьма бодрым и веселым; он радостно поприветствовал ее и попросил «сбежать за пивком», извинившись за просьбу, подходящую скорее мужику, чем «такой хорошенькой, аппетитной девушке»; мулатка улыбнулась, опустила глазки долу и пива пообещала принести, прибавив при этом: «Не беспокойтесь».

Все определенно изменилось. Худов почувствовал прилив бодрости и силы. Еще бы! Это вранье, про выкуп, про пятьдесят тысяч, про плен. Никакой

выкуп не нужен, денег у них и без того хватает, а вот нужен им Худов... Зачем? Не на органы же его, пропитого да старого, пускать, а раз не на органы, то и убивать незачем. Поживем!

Стала приходить Вера. Одна.

— Ты излучаешь тепло, — сказал ей Худов.

Она засмущалась. Вот ведь как!

Худов почувствовал, что с появлением у него Веры, в жизни наступила светлая полоса. По утрам он ждал этой девушки, прихорашивался, прыскал на себя одеколончик, чтобы быть презентабельным, встречал ее чуть ли не на пороге, целовал, вводил за кончики пальцев, целовал в шейку, подносил зажигалку — словом, вел себя так, как положено в самом начале романа, который может развиваться, а может и прерваться из-за какой-то случайности... Они беседовали обо всем, о чем только можно. Худов даже пересказывал некоторые главы из своей докторской диссертации — Вера слушала с интересом! Это зашло настолько далеко, что однажды он даже посетовал на невозможность предложить ей ознакомиться со своей монографией — не в Ленинку же ей ехать. Вера, со своей стороны, была менее многословна, и кажется, потому, что чувствовала неловкость говорить не с кем иным, как с самым натуральным профессором. Худов понимал это и старался показать свою непритязательность, обыкновенность, но смущение не проходило. Станным было то, что на людях, во время памятной вечеринки, Вера была совершенно другой, свободной, легкой, игривой. И вместе с тем не казалось, что в кармане ее лежит огромная фи́га, пусть и одолженная противным Анатолием Александровичем. Эх, раз живем! И профессор Худов брал от жизни все, по-настоящему наслаждаясь с хорошенькой Верой. Ей нравился Элвис Пресли — Худов вспоминал свою молодость, как крутилась на магнитофоне здоровая бобина с гулким голосом, пострадавшим от многократного копирования, не мешая при этом заводному танцу. Она «тащилась» от Рутгера Хауера — принесли видеомангнитофон, и Вера клала голову со своими пушистыми волосами к Худову на плечо, восхищаясь кумиром. И все это под фисташки, арахис, фундук.

— У тебя будет аппендицит.

— Уже был, так что я ничего не боюсь.

Вера была девица не промах. Она не отказывалась рассказывать о себе — и каждый рассказ повергал Худова в легкий шок. А еще он жалел, что сам не был таким: не катался на крыше лифта, не пускал самолетики с крыши шестнадцатиэтажного дома, не переплывал Москву-реку ночью и не убегал от свистящих ментов, не ездил в тамбуре последней электричке без билета, рискуя встретиться либо с запоздавшим контролером, либо с пьяными мужиками, не ночевал в подъездах — просто так, не желая ни досадить родителям, ни уйти из дому. В детском саду, обиравшись на воспитательницу, она взгрызла подушку во время тихого часа и, когда велели стелить постели, стала ее усердно взбивать, чтобы перья разлетелись по всей спальне, а потом плакала навзрыд, обвиняя себя в неловкости, и просила воспитательницу, чтобы та непременно сообщила маме, потому что надо отвечать за *небрежность*. Воспитательница жалела ее,

гладила по головке, успокаивала, а потом рассказывала сменщице, какой необычный ребенок эта Вера. В школе она закрасила всю доску белым мелом – и ведь не поленилась подставить тяжелый стол, чтобы дотянуться доверху. Учительница спросила, кто это сделал; Вера, с виноватыми глазами, встала и призналась, что думала, будто так красивее. «А как же мы будем писать?» – спросила она. «Я не подумала», – ответила Вера, но учительница не поверила и записала замечание в дневник. Вера не была злопамятной и, как ей казалось, жила с этой учительницей душа в душу. Но учительница была злопамятной, и, когда набирала десять человек для поездки в Питер, Веру не взяла, припомнив ей ту самую доску. По прошествии нескольких лет класс снова собирался туда же, и Веру снова не взяли за какие-то провинности (она не уточнила). Ха-ха, не на ту напали! Она сказала матери, что класс едет утренним поездом, а сама за день и ночь автостопом добралась до Питера и встречала букетом нарванных цветов «пятнадцать лучших учеников класса». Учительница была в шоке еще и оттого, что жить собирались в гостинице, мест в которой, естественно, было точное количество, а денег у Веры, понятно, не было. «Не надо мне вашего!» – отрезала Вера и решила проситься пожить к какой-нибудь бабушке. Уже первая, встретившаяся девочке по дороге, растрогалась услышанной историей (Вера решила, что говорить нужно правду, потому что в правду поверят – и точно) и взяла к себе. Взамен Вера тщательно убрала ее квартиру, ходила за хлебом и молоком, а вечерами выслушивала долгие рассказы о блокаде. Потом за сочинение, в котором она повторяла старушкины истории, ей поставили четыре с минусом («Надо было опираться на книги, а не фантазировать»).

— А я хочу быть царицей... — сказала она однажды.

— Царицей? Зачем?

— Как? Разве ты не хотел бы быть царем?

Худов рассмеялся, а Вера даже вроде бы обиделась:

— Дурак, каждый хотел бы быть царем... Вот ты бы что сделал, если бы тебя сейчас посадили на трон.

— Я бы отказался.

— А если бы тебя заставили?

— Заставили? Сесть на трон? Это глупости.

— Хорошо, — уже капризным голосом заявила Вера. — Пусть это глупости, но скажи, что бы ты сделал.

Самое смешное, что Худов задумался. Вероятно, профессор не может подходить к любому делу не всерьез... «Что бы я сделал – окажись я царем? Наверно, я бы закрутил гайки, чтобы разделаться со всей этой шушерой, которая вот так спокойно может похитить меня, держать непонятно зачем столько времени, подкидывать тупых девиц, а к тому же и требовать сомнительные выкупы... Я бы изменил порядок в обществе. Но как? Нет, развивать сеть спецслужб и задавливать террором – нельзя. Это уже делали, не получилось. Надо менять инфраструктуру. Россия – интеллигентская страна, как это смешно ни звучит. Господи, я же именно об этом писал в последних тезисах. Тогда еще Афанасьев спорил со мной, не поддержал на докладе, а потом винулся, каялся,

поставил бутылку коньяку, чудака. Только вот мне не приходило в голову, что я, оказывается, примеривался к платью короля. Может быть, конечно, всяк сверчок свой шесток хвалит, но я не могу поверить, чтобы при верховенстве интеллигенции, настоящей, а не продажной, было то, что есть сейчас. Нет, никого бы не хватало... была бы свобода... Утопия? Может быть, но так хочется этой утопии...»

— Так что же? — будто разбудил Худова вопрос Веры, о которой, задумавшись, он и забыл.

— Что бы я сделал? Я бы окружил себя вот такими хорошенькими девушками, ни о чем бы не думал, нашел бы умных и деловых министров, которые управляли бы государством, а сам бы, как римский патриций, сибаритствовал.

— Это неправда, это отговорка. А я хочу серьезно.

— А серьезно, детка, — Худов подумал про себя, что впервые так назвал Веру, потому что мог быть с ней на равных только в пустом трепе, — это слишком серьезный вопрос, чтобы его обсуждать вот так, всуе. Да и нужно ли?

— Я хочу!

— Перестань. Давай лучше посмотрим сериал. Что у нас сегодня.

Вера была явно недовольна, посидела еще полчасика, а потом ушла совершенно неожиданно, раньше обычного, на следующий же день вместо нее снова появилась Аня. Худов растерялся, когда увидел ее в дверях, и чуть было не спросил, куда подевалась Вера, но вовремя остановился и промолчал... «В конце концов, — рассуждал он потом, — едва ли мой каприз подействовал на нее, и она крутанула хвостом. Кто их спрашивать будет? Это же смешно подумать, что его, профессора философии, притащили сюда, чтобы ублажать этих писюшек. Это они призваны скрашивать его одиночество. Они пустышки. Им скажут идти — и они пойдут. Они не менее зависимы, чем он сам. Возможно, им говорят, что делать, о чем спрашивать... Стоп!» Худов даже усмехнулся. Если это так, то не исключено, что Веру заставили выйти на глупый разговор о царстве. Зачем? А что если он похищен по каким-то политическим мотивам? Нелепо, конечно, он никогда в политику не лез, но профессор, философ, социолог... Они ведь тоже могут заблуждаться... Итак, метафорический разговор о царстве, из которого становится ясно, допустим, его отношение к нынешним властям... Возможно, она сама не понимает, зачем это нужно. Может быть, ей и понимать не следует — ей платят. Она не справляется, и на следующий день ее заменяют Аней... Самое смешное, что первым делом Худов задумался о том, как бы ему не потерять Веру, потому что с ней действительно лучше и комфортнее, чем с Аней, а уже потом сообразил, что неплохо бы докопаться до истины и в вопросе о возможной причине его похищения. Неволя научила его не принимать скоропалительных решений, поэтому он только поначалу решил вывалить свои воззрения Ане, однако вовремя (как ему показалось) сообразил, что тем самым у *них* отпадет необходимость присылать к нему Веру. Надо было действовать тоньше. Худов решил общаться с Аней так же спокойно, как раньше, но при этом в каждом удобном случае показывать ей некоторое

напряжение, которое вызывает общение с ней. Это было совсем не сложно, потому что так оно примерно и было на самом деле. Впрочем, тут тоже надо было не переусердствовать, так как можно было остаться в полном одиночестве, если всемогущий НЕКТО увидит фиаско в деятельности обеих девиц. Однако время шло, и Худову приходилось, как ранее, с девяти до часу (строго по графику) проводить в обществе Ани. Нет, она тоже годилась для скрашивания его заточения, но все ж Вера и милее, и румяней, и белее... Как-то Аню снова снесло на пророческие разговоры, снова она гадала по руке, и снова она что-то говорила о высоком предназначении Худова и жутко расстраивалась, когда он не принимал ее хиромантские бредни всерьез. Впрочем, все складывалось одно к одному, и Худов радовался своему дару разведчика: высокое предназначение, царь, похищение. Нет, что-то здесь было неладно, и Худов тревожился не меньше, чем в самом начале, когда не знал еще ничего.

Прошло несколько дней, а воз никак не сдвигался с места. Тогда Худов решил играть по-другому.

— Анатолий Александрович, что-то вы совсем забыли обо мне, не заходите, — воспользовался он телефоном. — Живы, здоровы?

— Да-да, спасибо, — ответила трубка. — У вас такие милые собеседницы, что не хочу вам мешать...

— Собеседницы действительно на редкость, но с вами я тоже общаюсь охотно. Привык, знаете. Не зайдете?

— Давайте вечером.

— Милости прошу. Я всегда дома.

Худов очень не хотел, чтобы Анатолий Александрович притащил с собой кого-то из барышень — это явно помешало бы в разговоре, и поэтому обрадовался (до чего изменчив мир!), когда увидел на пороге его одного со скромным угощением в руках. Если бы кто-то наблюдал за встречами из укромного уголка, то не увидел бы ничего иного, как радостное братание двух старинных, закадычных друзей.

— Нехорошо, нехорошо, — укорял Худов, — бросил, Анатолий Александрович, понимаешь.

— Извини, Павел Сергеевич, — парировал тот, — дела, дела.

— Наверно, обиделся, за то, за вечер?

— Помилуй! Что не бывает!

Оба улыбнулись и сели к столу — поговорить. Разговор шел не спеша: собеседники устали злиться друг на друга, устал подозревать Анатолия Александровича Худов, устал осаждать Худова Анатолий Александрович, настал момент, когда можно было не повышая голоса, что называется, потолковать. Впрочем, сам антураж не способствовал полному расслаблению, и, несмотря на внешнее дружелюбие, Худов все-таки усматривал во фразах собеседника интересующий его подтекст, тот в свою очередь тоже не совсем доверял Худову, однако со стороны ничего подобного заметно не было.

Говорил больше Худов: он пустился рассказывать про свою профессорскую работу, про коллег, про студентов, про аспирантов, рассказал,

как сам написал целую главу своей последней аспирантке Родионовой, потому что она полная дура, но должна защититься, ибо за ней стоят очень влиятельные люди (кажется, Анатолия Александровича этот момент заинтересовал, и Худову пришлось ненавязчиво успокоить своего собеседника, что влиятельны они только в научном мире). Коснулся рассказ и некоторых сторон развития философской науки в России, хотя Анатолию Александровичу это было явно трудно понять, поэтому Худов ловко свернул на бытовую тему и уже травил что-то из своей бывшей семейной жизни, особенно заинтересовав собеседника технологией изготовления книжных полок размером в целую стену.

— Так вы на все руки мастер! — восхитился Анатолий Александрович.

— А кто у нас не на все руки мастер? Когда мой друг Афанасьев – вы его знаете – ездил в Германию, на четыре месяца, он одному тамошнему профессору, считай, целый ремонт сделал. А началось все с того, что на кухне кран сорвало, так тот с женой стояли и смотрели, как заливает квартиру, а от шока даже слесарю позвонить не сообразили. Сергей рассказывал (а он у них в гостях как раз был), что скинул пиджак, галстук и в пять минут весь потоп ликвидировал, поставил новый кран, не хуже немецкого сантехника, а потом уж, дабы блеснуть умениями, и плиточку на кухне положил, и крылечко поправил – они за городом живут. В нашей стране хочешь не хочешь, а мастером будешь.

— И все дело, знаете ли, в воспитании: у нас человека воспитывают, который из любой ситуации сухим выйдет, а не такого нытика, как там. Нет, серьезно, не смейтесь, я замечаю, что они, иностранцы, с одной стороны, улыбаются без повода, а с другой – какие-то вечно обиженные. Все им комфорту подавай, а наш человек хоть с виду и мрачен, а внутри всегда найдет чем порадоваться. Не согласны?

Худов пожал плечами:

— Действительно, что-то в этом есть... Что-то есть...

Анатолий Александрович, как обычно, воссиял, увидев в Худове поддержку своим мыслям:

— Я верю в нашего человека, Павел Сергеевич, верю! За Россией – будущее. Она – всем странам страна.

— Вы патриот, что ли?

— А нешто так теперь ругаются? В известном смысле всем надо быть патриотами, если это глаза, так сказать, не застит. Гады те, кто это слово испоганил. Если хотите знать, все нации люблю, ко всем, по крайней мере, уважение испытываю и терпеть не могу, когда кого-то унижают или, наоборот, выпячивают. Но равнять всех, что называется, под одну гребенку, тоже не согласен. У каждой нации своя изюминка есть, у каждой страны. А Россия живучая, потому что народ в ней живучий – вот вам и будущее.

— Доказательно, — усмехнулся Худов и подумал что-то о примитивизме мыслей Анатолия Александровича, а тот, видно, заподозрил – наблюдательный.

— Я, конечно, не академик, не профессор, но разве так уж не прав? Давайте начистоту.

— Начистоту? Не знаю, Анатолий Александрович. Пятнадцать лет назад мне бы в страшном сне все это не приснилось, а теперь вот живу. Пока живу. А каков прогноз – не знаю. Может быть, и будущее за ней, а может – развалится.

— Что же делать надо? — спросил Анатолий Александрович и как-то испытующе глянул в глаза Худову, отчего тот сразу смекнул: «Вот вам и вопрос о царстве, только в другой формулировке. Эх, и догадлив ты, Худов, сукин сын!»

Чтобы сбить с панталыку своего виз-а-ви, Худов немного помолчал, а тот продолжал уставившись глядеть и, не готовый к повисшей паузе, нарушил молчание первым:

— Эй, Павел Сергеевич, вы что?

— Да это я так... Вспомнил разговор с Верой... Мы как-то начали, да не договорили... Она не приходит... Будет еще, не знаете?

Анатолий Александрович взглянул уже хитроватыми глазками:

— Понял вас. Это хорошо, что вам Верочка приглянулась, милая девушка. Непременно будет у вас, занята сейчас, но непременно будет. Похлопочу. Если желаете, конечно.

Худов был доволен: он не только выпросил визит Веры, но и дал понять, что этот визит продолжит разговор, который почему-то волнует противную сторону. Если Вера придет, рассудил он, то все домыслы верны. Но это уже полный абсурд.

— А что делать надо, это не нам с вами, а политикам решать. Мы люди маленькие.

— Хе-хе, это вы-то маленький, Павел Сергеевич? Профессор! Да много ли в нашей стране профессоров?

— Как собак нерезаных. Давайте-ка мы лучше, Анатолий Александрович, чайку, а то все в сухую да в сухую...

— Это можно.

За чаем разговор повернулся совсем в другую сторону: Анатолий Александрович будто бы выполнил свою задачу, вытянув из Худова признание в том, что на тему царства готов говорить с Верой, если та придет, а потому сразу как-то изменился в лице, шутил, поддерживал отвлеченные темы, снова пустился травить байки из своей трамвайной жизни, а Худов рассуждал потом, зачем ему это может быть нужно... Ему? Нет, конечно, не ему, а кому-то третьему, который не показывается пред очи Худова, но которому этот малоизвестный профессор почему-то интересен. Именно так, профессор, а не источник пятидесяти тысяч долларов (это для отвода глаз), как ни абсурдной подобная ситуация могла бы показаться. Игра продолжалась, и невозможно было понять, кто вел.

Наконец Анатолий Александрович вздумал уходить и, как бы невзначай задержавшись в дверях, бросил:

— Да, вынужден обратиться с просьбой. Тут одному человеку, вернее, дочери одного человека хотелось бы помочь. Она студентка, и ей срочно задали написать работу, вот тема.

Анатолий Александрович протянул Худову записку, в которой значилось действительно девичьим почерком: «Изменение социальной структуры российского общества в 1985 – 1991 гг. 25 – 30 стр. Срочно». Последнее слово было подчеркнуто двумя жирными линиями.

— Я подумал, — пролепетал Анатолий Александрович, — может быть, вам даже интересно будет...

— Конечно, конечно, — ответил озадаченный Худов, взял записку и пообещал сделать работу за три дня.

Для философа Худова начались трудовые будни. Впрочем, Анатолий Александрович ошибался: ему было ни чуточки не интересно писать какую-то ерунду для какой-то тупой девицы (умная накалякала бы сама!), а в голове вертелась мысль, неужели цинизм в нашем обществе достиг таких высот, что богач может позволить себе выкрасть профессора, дабы тот писал курсовые его девчонке! Ладно, диссертация. Даже диплом... Но курсовая! А по объему ясно, что курсовик! Неужели нельзя было ту же проблему решить как-то иначе, без привлечения высшего академического состава? Худов злился. Злился, но писал. Какая-то внутренняя гордость одновременно и препятствовала работе, и заставляла ее выполнять: писать — не по чину, а не написать — и того позорнее. Так что Худов крикнул, уселся перед компьютером и приступил к работе. Надо ли объяснять, что ему было раз плюнуть выжать из себя эту ерунду? Первая страница появилась минут через двадцать, вторая — через сорок, третья — через час. Легко посчитать, что 25 страниц (больше Худов писать был не намерен) вышли бы из-под пера профессора к концу восьмичасового рабочего дня, но жуткая тоска и скука, обуявшая его к концу первого часа заставила сделать передышку, а вместе с этим задуматься, как бы перевести работу в более заманчивое русло. «Может, поиздеваться?» — подумалось ему, и Худов даже начал выдумывать какую-то нелепую концепцию, которая могла бы повеселить его коллегу, но курсовая... Ах, мой читатель, если ты сам сиживал на студенческой скамье или — тем более! — стоял лицом к на ней сидящим, то знаешь цену этому милому как бы научному труду, коим является курсовая. У кого не возникал соблазн написать в середине: «Сумма углов треугольника, профессор, 487 градусов, а Пушкин был другом Шекспира, потому что до этих пор вы все равно не дочитаете». А сколько баек слышал я про отважных студентов, которые решили таким образом доказать недобросовестность профессорско-преподавательского состава. Жаль вот только ни одного из таких авторов мне не довелось встретить... Впрочем, нет. Мой приятель рассказывал, что в середине курсовой, исчерпав тему, стал просто писать не связанные по смыслу слова... Я не поверил, господа, ибо написать бессмыслицу куда сложнее, чем осмысленный бред! Однако, возвращаясь к предмету повествования, все эти истории, при всей их фольклорной вымысленности, обнажают непререкаемую истину: курсовые не читают... или почти не читают... ну просматривают... И Худов это знал. А потому идея с собственной бредовой концепцией показалась ему неважной: гора родила бы мышь — столько усилий

ради выброшенного на помойку (профессором ли, студентом ли) курсовика. Требовалось что-то иное. Худов лег на диван, уставившись в потолок, и принялся думать. По большому счету, заявленная тема виделась ему не маленькой курсовой, а большой диссертацией, ибо в означенный период чего только не происходило с нашим многострадальным обществом. Эта девочка, которой теперь лет двадцать, застала его ребенком, неспособным анализировать, а потому ее сознание сформировано уже после тех грандиозных перемен. А вот ему, Худову, его другу Афанасьеву, великому множеству людей пришлось хлебнуть, когда наступило то, что называли знаковым словом «перестроиться». Еще неизвестно, ломало ли какую-то другую науку так же жестоко, как философию, которая в считанные годы должна была превратиться из марксистско-ленинской в бог знает какую. А новое время требовало не только переоценить старое, но и дать трактовку этому новому. Худов помнил конференцию в одном московском вузе, на которой ему пришлось схлестнуться с Штейном: тот юлил, как уж на сковородке, стараясь побыстрее отмежеваться от старых идеалов и лизнуть зад своему нарождающемуся заказчику, объявив его новым революционным классом. Худов выступил очень резко, даром что работал с Штейном вместе и должен был бы соблюдать корпоративность. Пока еще очень осторожно он высказался о криминализации общества и предложил докладчику поостеречься от скоропалительных выводов. Реакция Штейна была неожиданной: он начал орать, во всеуслышанье объявил Худова в ретроградстве и косности, а сам еще определеннее высказался в поддержку своей идеи. В курилке он попытался Худову что-то объяснить и сгладить острые углы, но Худов сказал, что после этого не желает знаться с Штейном, и не перекинулся с ним даже словом вплоть до наступившего вскоре продвижения Штейна вверх по служебной лестнице. Эх, из далека наступивших времен и с новой колокольни, на которую закинула Худова судьбинушка, выхода Штейна казалась теперь невинной шалостью, да и сам Штейн (в этом Худова не раз пытался убедить Афанасьев) не так-то уж и плох, а уж не глуп – точно, и если бы теперь Штейн знал, как плохо Худову в этом невразумительном плену, он наверняка забыл бы все прежние обиды и пришел на помощь. И вот тут-то, на этой самой мысли Худова снова осенило. «Наш спор с Штейном! — сказал он сам себе. — Пойдите, пойдите! Значит, дело было давно, но собрание было представительное, а скандалы такого ранга запоминаются надолго. Интересно!» Худов даже присел, чтобы удобнее было потирать себе руки. Итак, план был прост, как все гениальное, хотя давал все же мало шансов на успех. Дело вот в чем: столь радикально Штейн высказался один раз – на той конференции, впоследствии свои позиции он сам или под давлением (неважно) смягчил. Материалы конференции собирались издать, но то ли денег не хватило, то ли что – они не вышли. Худов свою критику тоже не документировал: все осталось на словах. Значит, студентка, писавшая курсовую, не может знать о том споре. А значит, если Худов в деталях выложит его (а он помнит, он все хорошо помнит!), то кто-то девицу научил. Кто? Ответ ясен. Пробел оставался один – руководитель должен был знать о споре Худова с Штейном, но если бы и это не

мешало, то Худов думал бы не о шансе, выпавшем на его долю, а о верном освобождении. Как бы то ни было, неожиданно представилась возможность написать на большую землю! Обрадованный, Худов сел за компьютер... Курсовые не читают? Плевать! Мы напишем на первой же странице: «Свою работу я построю на полемике с Б. С. Штейном, который представил взгляды на данную проблему в работе, вышедшей по материалам конференции...» Знающий сообразит! А дураков он купит – где этим анатолиям александровичам знать, что не было такой книжки? Худов проведет вас на мякине, козлы!

— Ку-ку! — загремел замок, и одиночество вдруг оказалось прервано зашедшей Верой.

«Черт бы побрал тебя!» — подумал Худов, но вслух произнес:

— Здравствуй, здравствуй, кукушечка, что-то тебя давно не было.

— Удав сказал, что у тебя работа.

Вера вытянула пухленькие губки и поцеловала Худова. «Ладно, — подумал тот, — успею еще. Торопиться-то некуда: солдат спит – служба идет».

— Работа не волк, а я и так три странички написал, правда, придется немножко подредактировать. Ну-с, что новенького?

— Я соскучилась, — кокетливо сказала Вера и запустила руку в пышную шевелюру Худова. — У тебя совсем нет седых волос. Мой папка – твой ровесник, а весь белый, у нас и дедушка рано поседел, а бабушку я плохо помню, она рано умерла. А в маминой родне все блондины, там не разберешь. У нас вообще родственников много... Ты скучный сегодня.

— Скучный? Нет, задумался. Хочешь не хочешь, а работкой-то пригрузили. Нет, я рад, рад, но не люблю делать халтуру. Понимаешь? Если работать – так работать. Воспитание такое, что ли?

— Я мешаю?

— Что ты, милая? Наоборот, работа требует перерыва. Не чтобы отдохнуть, а чтобы развеяться, мозги привести в порядок, так что не переживай, посидим вместе. Ты рассказывай, а я буду слушать, ладно?

Вера расплылась:

— А о чем тебе рассказать?

— Ты вот начала про себя – так и продолжай.

— А тебе интересно?

— Нормально, давай.

Худов боялся, что она уйдет, расскажет про его сосредоточенность, и кто-то там, за дверью, откуда незримо вершат его, Худова, судьбой, решит приостановить, а может, и вообще отменить визиты барышень. Одиночества же Худов боялся сейчас больше всего. Что угодно – только не одиночество!

Вера послушно продолжила шехерезадины речи. Это потом, на свежую голову, Худов критически о них отзовется, обвинив Веру в недалекости, а пока он внимательно, участливо слушал, пытался отвлечься, но в сознании по-прежнему крутилась мысль о представившейся возможности сообщить о себе.

— Там холодно? — прервал Худов свою собеседницу.

— Где? — не поняла она.

— Там, на улице, на дворе.

— Да, ветер холодный, лучше дома сидеть.

— Дурочка ты. Полная дурочка. Послушай, чему я тебя научу, потому что ты еще молоденькая, маленькая, а я умудрен опытом, обременен знанием. Так вот, древние римляне говорили по-латыни: *Carpe diem*, что по-нашему означает *лови день*. Понимаешь, как его надо ловить? Обеими руками, наваливаться всем телом, всем своим весом и не давать ему возможности вырваться от себя. Он будет выskalывать, кусать тебя, угрожать ленью, неохотой, тебе захочется все отложить на завтра, но ты не должна поддаваться уговорам, потому что если поддашься сегодня, то завтра будет то же самое. Ты начнешь терять день за днем, а они будут выskalывать из твоих рук, просыпаться между пальцами, как песок, и однажды вот так вытечет вся твоя жизнь. Настанет срок отчитываться о содеянном, а сказать будет нечего. Я прожил много, но начал понимать это по-настоящему только здесь, только теперь... Нет худа без добра, да? Ты поняла меня? Нет? Радуйся холодному ветру. Не говори, что день плох – другого может не быть. Вот какая петрушка. Ладно, ты еще молода о таком думать...

— Фу как страшно!

Худов засмеялся и потрепал ее по волосам так, как взрослые треплют малышей, когда те заходят слишком далеко в своих разговорах...

— А день все равно гадкий, и если бы ты вышел на улицу, то захотел бы убежать...

— Не захотел бы. Ты не можешь себе представить, как это трудно сидеть безвылазно под крышей...

Зависла пауза

— Когда ты ушла в тот раз, – прервал ее Худов, – я стал думать над твоим вопросом...

— Над каким? — как будто бы искренне удивилась она.

— Ну, над царским.

— ?

— Что бы я делал, если бы был царем?

— Это я тебя спросила?

— Конечно.

— Вот дурочка. А-а, помню, но ты же ответил... что-то про девочек. А я бы не хотела быть царицей. Так это противно, себе не принадлежишь...

И тема снова поменялась: Вера стала рассуждать о профессиях, которым хотела бы посвятить свою жизнь, которая уже не совсем только начинается, но выбор делать можно, потом еще о чем-то... Худов снова оказался в дураках. То ли Вера так ловко сыграла, то ли тот вопрос действительно возник в ее голове спонтанно, а вчерашний разговор с Анатолием Александровичем случайным образом совпал в теме и вызвал у Худова ложную ассоциацию. В который раз Худов оказался у нулевой отметки и опять отказывался что-либо понимать.

Трех дней хватило, чтобы закончить работу. Анатолий Александрович появился в назначенный час и коротко произнес:

— Давайте.

Такая бесцеремонность Худова несколько задела, но, с другой стороны, и обрадовала: значит, рассудил он, работа действительно нужна и действительно можно надеяться, что она попадет в руки человека, который может смекнуть, а уж не Худов ли Павел Сергеевич написал это. Вечером после завершения своего неожиданно возникшего труда Худов был в бодром расположении духа, ждал, не придет ли к нему кто, хотел даже позвонить Анатолию Александровичу, позвать, но возгордился, остался один да так никого и не дождался. Ночью заснул скоро, без лишней мороки...

Началось все утром, часов в пять, когда за окном еще было глаз коли, к тому же за городом. Анатолий Александрович как обезумевший подскочил к заверещающему телефону.

— Зайди, — коротко попросил Худов, — плоховато мне.

Анатолий Александрович присвистнул и, накинув махровый халат, побежал наверх, по пути крикнув, чтобы доктора разбудили, клиенту, мол, плохо.

Худов лежал в постели, одеяло валялось рядом, подушка сбилась в угол, сам он был практически без чувств. Анатолий Александрович дотронулся до его лба и нашел, что больного бросило в жар, к тому же весь он был покрыт испариной. Сам Худов помнил, как приходил Анатолий Александрович, он даже помнил, что затеял с ним какой-то разговор, после чего Анатолий Александрович заявил, потупив взор, что на самом деле вышла какая-то ошибка и Худова пленили случайно, но все не находили возможности признаться в этом. Теперь же, когда он заболел и содержать в плену его совершенно бессердечно, ему объявляют, что он свободен. Худов нашел в себе силы и бросился на шею Анатолию Александровичу, дабы облобызать его. Оба смеялись и были в хорошем расположении духа. Тотчас принесли костюм, и Худов немедленно отправился домой. Было тепло, пели птицы, занималась заря. Доехать до станции оказалось не на чем, поэтому Худов пошел пешком. Дорога была незнакомой, но и проезжей и протоптанной, поэтому не возникало сомнения в том, что приведет она куда надо. По причине раннего часа Худову не встретился ни один человек. Совершенно не удивляло его и то, что не встретил он ни одного селения. Наконец, выйдя из леса, он услышал знакомый шум и просто-таки закричал от восторга: колесами стучал поезд. И вправду за холмом протянулась линия железной дороги. Станции не было, и Худов совершенно не представлял себе, в какую сторону идти, однако это нисколько его не напугало — и он пошел по наитию, рассудив, что в любой стороне должна быть станция... Станции не было. День занимался. По-летнему парило. Он снял пиджак, оставшись в одной рубашке. Идти по шпалам было неудобно, но колея (кажется, была одноклейка) то поднималась кверху, оставляя по бокам овраги, то опускалась вниз, теряясь между холмами, так что тропинка, сопровождавшая ее, уходила вбок, чтобы вернуться где-то впереди, терять же из виду железную

дорогу Худову не хотелось, поэтому с удобной тропинкой постоянно приходилось расставаться. Он устал и заметно проголодался. Наконец, не выдержав, уселся на рельс, чувствуя, как подступает отчаяние. Ему снова вспомнился Робинзон, попавший на необитаемый остров, которому не остается ничего другого, как надеяться на собственные силы и ум. Еды не было, а плоды, ставшие для Робинзона спасительными, еще не созрели, так как на дворе стояла, по всей видимости, весна. Неподалеку протекал ручей, показавшийся чистым, и Худов решил спуститься к нему, чтобы утолить жажду. Но едва он прошел несколько метров вниз, как сверху послышался электровозный гудок, и Худов опрометью бросился назад. Тишина! Только пение птиц да стрекот насекомых. Худов снова пошел вниз, напрягая слух. Точно, это едет поезд! Снова наверх и снова тишина. «Что за чертовщина!» — подумал Худов и даже посильнее ущипнул себя, чтобы убедиться в истинности происходящего. Щипок был похож на болезненный укол в одно место, но обстановка не изменилась. «Значит, явь», — подумал Худов и опять пошел к ручью. Шум поезда становился все яснее. Худов продолжал спускаться. Шум усиливался. Нервы не выдержали: Худов снова пошел вверх. Шум стихал, будто поезд проехал и уже мчался прочь. Решив не поддаваться безумию, Худов опять начал спускаться и решил напиться во что бы то ни стало. Поезд грохотал так, будто бы вот-вот на бешеной скорости пронесется мимо. Худов шел к ручью и иссохшими от волнения губами припал к воде, холодной, живой. Ему казалось, что он может хоть час пролежать у ручья, и это главное, что есть сейчас в жизни. Сверху доносился страшный шум, показалось, однако, что поезд лязгнул колесами и тормозит. Худов продолжал пить не оборачиваясь, поскольку все это очень смахивало на бред. Поезд действительно тормозил и вот встал, снова уступив птицам и насекомым. Худов обернулся. Каково же было его удивление, когда на пути он увидел электровоз с присоединенным к нему единственным вагоном. Не помня себя от счастья он не взбежал — воспарил и впрыгнул на подножку вагона, когда поезд уже, легко и незаметно, тронулся. Вагон был не похож на те вагоны, в которых Худову приходилось ездить: пройдя малюсенький, длиной с купе проводника коридорчик, он очутился в гостиной с коврами и мягкими диванами, стоящими по обе стороны небольшого стола. На столе стояли вазы с фруктами и бутылки с минеральной водой, но не пластмассовые, а фигурные, будто бы хрустальные. Стены гостиной были обиты красным, окна плотно закрыты, но душно не было, видимо, работали кондиционеры. Из гостиной вела одна-единственная дверь в купе, расположенная, однако, перпендикулярно к ходу поезда. Если внутри оно не подразделялось на более мелкие, то было с полвагона размером. В гостиной никого не было. Худов вернулся назад и решил постучаться в купе проводника. Не открывали. Тогда он толкнул дверь. И здесь никого. Можно было стать в тамбур, но поскольку вагон представлял собой явное обиталище кого-то очень важного, в тамбуре его могли принять за бандита, так что лучше не скрываться, и Худов вернулся в гостиную и даже попил из бутылки, прямо из горлышка... Любопытство, свойственное человеческой породе, толкнуло Худова на

опрометчивый шаг: он постучался в купе, но, не услышав ответа, открыл дверь и вошел. Внутри было пусто. У стены стоял небольшой диванчик, под балдахином покоилась застланная атласным покрывалом кровать, у дивана располагался малахитовый столик тоже с фруктами и водой, а на подоконнике стоял цветок – живой, а не искусственный, как пристало поездкам. Худов ступил в купе, неслышно, утопая в ворсистом, чисто выметенном ковре. Ах, как здесь было уютно и заманчиво! Усталый, он присел на диван, прилег – и не заметил, как заснул...

Разбудил его стук: вагон прыгал на стрелках, так, как бывает на подъезде к большой станции. Худов выглянул в окно. Радости его не было предела – вагон пришел в Москву. За стеклами, диковинно переплетаясь, бежали железнодорожные пути, а вдаль уже виднелись серые перроны. Худов, вспомнив, в каком вагоне находится, побежал к выходу, через красную гостиную, через маленький коридорчик, чтобы, чуть поезд замедлит ход, выскочить, иначе греха не оберешься, дернул за ручку двери – закрыто. За другую – закрыто. Значит, в вагоне кто-то был! Значит, кто-то видел, как он входил! Значит, кто-то знает, что он спал в чем-то шикарном купе! Надо было кинуться к проводнику, закричать, но – поздно! – поезд дернулся и замер... Снаружи загревели ключом, дверь распахнулась. Вместе со струей свежего воздуха в тамбур ворвался марш военного оркестра, а человека, ввалившегося в вагон, не было видно за огромным букетом роз. «Наконец-то!» — выпалил он, поцеловал Худова в обе щеки, и, сунув ему в руки букет, вытолкнул на перрон, где, кроме оркестра, стоял еще военный караул, а за загородками – людские толпы, машущие флажками и что-то громко кричащие. Офицер гаркнул какую-то команду (стих оркестр, замолкла толпа), высоко задирая ноги, подошел к Худову, опустил вниз саблю и отдал ему короткий рапорт: «Ваше величество! Россия приветствует Вас!» После чего оркестр снова грянул, на это раз «Боже, Царя храни», а со стороны толпы слышались то ли вопли, то ли стоны. Худов было рванулся назад, но человек, тот самый, что принес цветы, усатый и почему-то в тирольской шапке, точно на охоту собрался, преградил ему путь и, улыбаясь, стал подталкивать Худова вперед, чтобы тот прошел мимо выстроившегося караула. Солдаты стояли смирно и, как подсолнухи к солнцу, поворачивали головы в сторону неожиданного царя. Дойдя до конца строя и поравнявшись с толпой, которая гудела в неистовстве, Худов обнаружил коридор, в конце которого стоял огромный черный лимузин, гостеприимно распахнувший свои двери. И вот он уже неся по ярким весенним московским улицам в Кремль, а вдоль всего пути стояли люди, приветливо машущие флажками...

«Это нелепость. Это ошибка. Я принят за другого», — лепетал Худов, но человек в тирольской шапке иронически улыбался и дружески похлопывал его по плечу.

В Кремле Худова провели в какую-то сводчатую палату и, расстелив дорогой древнерусского покроя наряд, велели облачиться в царские одежды.

Ошарашенный, Худов облачился, после чего его какими-то узкими, темными коридорами провели в зал, посередине которого стоял трон...

«Отпустите меня!» — закричал Худов и бросился бежать.

Его спутники оказались нерасторопны, и ему удалось нырнуть в еще более узкий проход, чем тот коридор, чтобы скрыться. Однако проход окончился тупиком, и Худова, как проштрафившегося мальчишку, извлекли на свет божий. «Не дурите, Ваше Величество, — предупредил тиролец. — Мы с Вами не в игрушки играть затеяли. Вы царь — так царствуйте, а иначе... Знаете, как с царями поступают?» Худов огляделся и увидел, что вокруг него стояло человек двадцать мужиков, которые ждали, чтобы он взошел на трон. Вид их был до того грозен, что, кажется, им ничего не стоило объявить назавтра о скоропостижной кончине царя от сердечного приступа вследствие эйфории власти. Глубоко вздохнув, Худов взошел на трон и сел, правда, бочком, скромненько. Тиролец усмехнулся. «Ну вот и ладушки», — произнес он тоном, каким говорят врачи, когда упрямый больной согласился выпить таблетку. Худов сел поглубже. Тут у всех присутствующих на лицах возникли улыбки, и они рассмеялись. «Что? Это розыгрыш?» — спросил Худов. «Еще одно такое замечание, и мы посадим Вас на кол, как Марию Стюарт!» — грозно произнес маленького росточка коренастый мужичок, в камзоле, но похожий на бандита. Худов подумал, что Марию Стюарт на кол не сажали, однако промолчал, испугавшись вида этого коренастого. «Пошли? — спросил вдруг долговязый старик у всех остальных, которые закивали головами и двинулись к выходу, а сам, посмотрев на Худова добавил: — А Вы царствуйте, Ваше Величество». И тоже ушел, пригрозив Худову пальцем, когда тот было дернулся, чтобы сойти с трона. А Худов, так мечтавший попасть домой, сжал кулаки и разревелся, как маленький, от бессилия...

— Ну не стоните, не стоните, — услышал он и с трудом открыл глаза.

Возле кровати сидела мулатка и расправляла мокрую тряпку на его лбу. Увидев, что больной очнулся, она улыбнулась, а заметив, что Худов хочет что-то сказать, приложила палец к губам:

— Шшш! Вам нельзя говорить. Вы еще очень слабы.

Вокруг ничего не изменилось: та же комната, те же часы, та же мулатка. «Значит, это был сон?» — только и хотел спросить Худов, но мулатка все не отнимала пальца от губ, а язык его никак не хотел подчиниться воле и шевельнуться. Спустя минуту-другую в комнату пришел высокий черноволосый мужчина лет сорока в белоснежном халате — врач. Он нагнулся над больным пощупал пульс, задрал на нем рубаху, чтобы послушать, пощелкал пальцами над головой и приятно улыбнулся:

— Тэк-с, батенька, идем на поправку. Кризис миновал.

— Не умру? — выдавил из себя Худов, успев за несколько минут яви понять, насколько ему плохо.

— Нас переживете. Организм крепкий. А пока лежать и молчать. Покой и тишина!

Последнюю фразу он адресовал мулатке, которая понимающе покачала головой.

— Я зайду через часок. Постарайтесь заснуть. Впрочем, вы и так долго спали... Как хотите. Но лежать и молчать. Иначе вкачу снотворное.

Так для Худова началось долгое и мучительное выздоровление. Больше он не впадал в забытие, но был еще слишком слаб, чтобы доктор разрешил ему вставать. Дни снова стали безумно скучны: доктор не разрешал докучать Худову разговорами, поэтому, пока состояние было плохим, у постели дежурил либо он сам, строгий и жесткий, либо послушливая мулатка, которая молчала и останавливала Худова, раз ей так приказали; когда же здоровье улучшилось и надобность в сиделке отпала, товарищем нашего героя снова стало муторное одиночество, не скрашиваемое ни сочинительством собственного труда, ни разговорами с постоянными гостями. Доктор и тот заходил все реже и реже, а просиживал в своем кабинете, то почитывая книги, то играя на бильярде с Анатолием Александровичем, то просто валяясь и глядя в потолок. Кто такой Худов, почему он здесь, почему сидит взаперти – все эти вопросы доктору предложили на задавать, если он действительно заинтересован в том, чтобы получить столько, сколько ему обещано, так что говорить с больным только о здоровье, о погоде, о книгах... И никаких выходных, никакого отпуска, никаких звонков... Нет, если не хотите – пожалуйста, не держим. Хотите? Тогда будьте любезны. И доктор честно исполнял свой долг, обозначенный в клятве Гиппократов, подчас поругивая себя за то, что согласился на такую авантюру. А вообще он сдружился с Анатолием Александровичем. Еще ему нравилась черненькая девушка, с которой несколько раз он столкнулся в коридоре, но, согласно договору, не заговорил с ней, тем более что девушка тоже проходила мимо, как мимо стены. Была еще одна, но та интереса доктора не вызывала. Мулатка же, с которой общаться было разрешено, казалась ему полной дурой, хотя и симпатичной и доброй, а вот с дурами доктор якшаться не любил. Иногда он спрашивал у Анатолия Александровича – единственного человека из руководства, представленного ему, – долго ли будет длиться его работа, на что всякий раз получал один и тот же ответ: «Пока будет необходимость». Необходимость в виде Худова была, поэтому доктор так и оставался в этом странном доме.

Больной, однако, потихонечку приходил в норму. Восстановился аппетит, тем более что кормили его еще более отборными продуктами, чем раньше, на одних фруктах, по расчетам Худова, можно было разориться, а ему не то что приносили, а еще уговаривали съесть, если он отнекивался. Пичкали лекарствами, и они, вроде бы помогали, потому что силы прибывали и прибывали. И доктор прибегал по несколько раз в день, хотя и на чуть-чуть и в разговор вступал неохотно. Словом, на дело выздоровления Худова была направлена деятельность всей зримой и незримой команды, так и неизвестно почему совершившей это непонятное похищение.

— А ведь вы нас напугали, батенька, — признался как-то доктор, измеряя давление, — могли бы и нырнуть в небытие. Сто тридцать на семьдесят, космонавт!

— А кому я нужен? Ну помер бы, денег-то все равно не видать.

Доктор, возможно, что-то смекнул, но виду не подал:

— Всякая жизнь ценна, а отмахиваться вот так от нее грешно, уважаемый. Надо вставать. Хватит валяться, так дольше проболееете. Зарядку делаете? Напрасно. Я напишу вам комплекс. Гулять надо.

Худов рассмеялся:

— Это вы не мне, это им, пожалуй, скажите.

— Хорошо. Но без гуляния нельзя. Ни в коем случае нельзя.

Доктор оказался порядочным мужиком: он тут же нашел Анатолия Александровича и вклеил, как умеют делать доктора:

— Деньги деньгами, я понимаю, что вмешиваться не имею права, но его болезнь на совести тех, кто запер его без воздуха! Это нездоровая обстановка. Он должен гулять, иначе разболеется, а вы посмотрите, какой мужик-то здоровый!

— Здоровый? — почему-то обрадовался Анатолий Александрович. — Крепкое, говорите, здоровье? Это хорошо. Это очень хорошо. А насчет гуляния я выясню. И правда, без прогулок тяжело. Погуляем, ага?

И Анатолий Александрович оказался порядочным мужиком, потому что в тот же вечер позвонил Кочетову и убеждал его в необходимости пребывания на свежем воздухе, а иначе, мол, каюк. Доктор сказал, что обязательно надо гулять. И Кочетов тоже не стал упираться рогом, только пригрозил, что если убежит, то Анатолию Александровичу головы не сносить. Но это было так, к слову, ведь куда же он убежит, как же оттуда убежать можно?

Воздух, хоть и не морозный, буквально опьянил Худова. Приехал сюда он еще в одном пиджаке, а вышел из дому в шикарном тулупе, достойном московского барина, в меховой шапке и в больших рукавицах. На первый раз доктор разрешил десять минут, поэтому Худов с жадностью вдыхал свежий воздух, по которому соскучился не меньше, чем по родному дому, по кафедре, по Москве. Падал снег. Тяжелые хлопья, как в театре на сцену, синхронно опускались вниз, и было слышно, что с другой стороны здания, где находился, вероятно, парадный подъезд, бесполезно скребли лопатами по асфальту. Худова вывели в сад, часть которого виднелась из его окон, но не та, где он стоял теперь. Тут были проложены дорожки, по бокам стояли фонари и скамейки, что производило впечатление советского санатория или дома отдыха, не хватало только репродукторов, транслирующих программы радиостанции «Маяк», и прогуливающих пар пенсионного возраста. Да и сам дом, который впервые Худов разглядывал извне, тоже был похож на дом отдыха: трехэтажный, каменный, длинный, это слишком много, чтобы жить в нем одному, а новые русские предпочитают иного рода постройки. Большинство окон были занавешены белыми занавесками, под стать райкомовским, волнообразным.

Худов вглядывался в них, надеясь увидеть чье-нибудь новое лицо, но лиц не было – ни новых, ни старых. Вокруг стояла невообразимая тишь, какая бывает в зимнем лесу, удаленном от железной дороги и от шоссе, даже давило на уши, но к тишине Худов привык в своей коморке и, скорее, поразился бы шуму. Зато вот снег под валенками приятно поскрипывал, хотя и не так, как мог бы скрипеть в мороз (было градусов пять, не больше).

— Завтра слепим снежную бабу. Как вы, доктор?

Доктор пожал плечами, мол, как скажете. Сам он был одет по-городскому: в дубленке, в высоких башмаках и по нынешнему обыкновению без шапки. Прогулка, вероятно, не казалась ему такой же диковинкой, как Худову, поэтому он выглядел воспитателем детского сада, вышедшим на улицу по принуждению.

— Надо попросить морковки и угольков.

— Зачем? — не понял доктор.

— Для носа и глаз.

«Надо завтра попроситься выйти с Верой или даже с Аней, а то этот чересчур тосклив», — подумал Худов и тут же обвинил себя в неблагодарности: вылечил-то его доктор!

Он радовался, как дитя: встал, расставив руки в стороны, задрал голову и принялся раскрытым ртом ловить холодные снежинки. Доктор было осадил его, мол, не простудитесь, но подумал, что это глупость, во-первых, пациент уже совсем здоров, а во-вторых, от нескольких снежинок заболеть невозможно, так что пусть забавляется. Доктор даже улыбнулся, хотя и несколько с ехидцей. Худов же как ни в чем не бывало стоял в такой не подобающей профессору позе, после чего вдруг запел, потом слепил снежок и пульнул им в дерево, но промахнулся.

— Всегда косым был, меня ребята из-за этого в войнушку не брали. А вы? Ну-ка доктор, покажите класс.

Доктор повиновался, снял перчатки, голыми руками сгреб снег и стал делать комок, пока между пальцев не потекла вода. Почти не целясь, он попал точно в ветку, на которой, как выяснилось, сидела ворона, с карканьем тотчас же слетевшая с нее. Худов пришел в восторг:

— Вот это класс! Доктор, дайте я пожму вашу руку. Вы не только мастер по части медицины, но и профессионал в снежном деле. Браво!

Худов пожал холодную и узкую руку доктора, снова ехидно улыбкувшегося.

— Вы недовольны, что здесь, со мной? Не отнекивайтесь. Но ведь это не моя вина. Вам что-нибудь известно обо мне?..

— Пора домой, — перебил доктор, — время.

«Пусть другие с ним гуляют, — подумал он. — Вылечил – и баста! Какое дело мне, кто он такой!»

— Да, да, конечно. Извините, — будто бы услышал мысли доктора Худов, повиновался и даже заложил за спину руки, став похожим, вероятно, на арестанта.

Дом оказался душным и жарким. За несколько месяцев Худов до того привык к спертому воздуху своего жилья, что, видимо, перестал это осознавать. Теперь же, вернувшись к себе, он просто задыхался. Нет, кондиционер работал как надо, вероятно, состав воздуха поддерживался на должном уровне (в противном случае он бы наверняка сдох), но разве сравнить его со свежим, зимним, чистым? Худов стоял у окна и молча смотрел. Снег все падал, и все больше деревья тонули под ним. Сад был нетронут. Кое-где, если приглядеться, можно было различить вороны следы (или какой-то другой птицы); люди совсем не появлялись здесь. Разве, весной придут? Надо же возделывать свой сад, как говорил Кандид. И вдруг Худов почувствовал, что по спине пробежал холодок. «Весной», — проговорил он про себя. Впервые выглянув в окно, он увидел желтеющие, а кое-где еще и зеленые листья. Мог ли он тогда себе представить, что просидит в этом доме до белых мух? Теперь же, когда снег лег всерьез и надолго, он так же не верит, что проторчит здесь до весны. Но кто знает?

— Чертова надежда! — выдавил он из себя в сердцах и изо всех сил саданул кулаком по стеклу.

Стекло выдержало. Другое бы треснуло, разлетелось вдребезги, а излишне эмоциональный человек стоял бы весь в крови... Нет, на дом отдыха это не было похоже. Тут покруче.

Худов решительно подошел к телефону и снял трубку.

— Что-то случилось? — не замедлили отозваться на том конце.

— Надо поговорить.

— Как прикажете. Через часок.

— Немедленно! — приказал Худов и бросил трубку.

Телефон, сделанный из материала попроще, треснул ровно по диагонали. «Черт!» — мысленно выругался Худов и даже машинально взял аппарат в руки, прикидывая, как бы починить, а потом отбросил: *их* аппарат — пусть *они* и чинят.

Анатолий Александрович пришел скоро, хотя и не так скоро, как этого стоило бы ожидать.

— Садитесь! — указал Худов на стул, сам устроился напротив.

— Я хочу сделать официальное заявление! — начал он грозным тоном. — Вам удалось на некоторое время усыпить мою бдительность, но если вы полагаете, что я намерен до конца дней своих сидеть в вашем замке, то ошибаетесь. Мне надоело! Вы попираете все человеческие права, вы совершенно незаконно похитили меня и содержите под стражей! Да, я получаю все необходимое для жизни, но вы отняли у меня свободу и право на труд. Я не верю ни минуте вашей сказке о выкупе. Я точно знаю, что вы не звонили профессору Афанасьеву, у меня есть доказательства, но делиться источником я с вами не намерен. Значит, вы преследуете какой-то злой умысел, который наносит непоправимый ущерб как моему здоровью, так и моему моральному состоянию, а это противозаконно. Вы пытаетесь разыгрывать из себя паинек, а на самом деле вы самые натуральные преступники, бандиты, и место вам на скамье подсудимых. Итак, я не намерен вести долгих разговоров. Мои условия

следующие: в течение 48 часов вы выпускаете меня отсюда, взамен вы получаете мое обещание не выдавать вас властям – это в знак благодарности. В противном случае я объявляю бессрчную голодовку, потому что жить в условиях плена больше не намерен. Или на свободу, или в гроб! Можете идти, ответа не надо!

Худов встал и демонстративно отправился в ванную, хотя это и выглядело комично, но больше уйти было некуда. Через минуту-другую хлопнула дверь: вышел Анатолий Александрович. На столе Худов нашел короткую записку: «Вы вольны делать то, что считаете нужным. Все на самом деле сложнее, чем Вам это кажется. Поверьте мне, все уладится. Если не наделаете глупостей. Сожгите записку после того, как прочтете». Худову ужасно захотелось напиться, но водки не было. Он чиркнул зажигалкой – та зажглась не сразу, подпалил листок, прикурил от него и почувствовал, как на глазах наворачиваются слезы. Положение было просто безвыходным. И почему он должен был верить Анатолию Александровичу? Но если он был прав? Если он действительно рисковал и поэтому попросил сжечь записку? А если это только очередная подлость, на которую покупают его, профессора Худова? Самое главное, Худов не знал, какой интерес он представляет для этих людей, которые, судя по антуражу, обладают большим влиянием. Где? В политике? В бизнесе? В криминальном мире? Впрочем, он сам доказывал, что в нашей стране это три стороны одной медали, если у медали найдется третья сторона. Неважно. Зачем он нужен? Все возвращалось на круги своя. Когда-то за столом в теплой академической компании Худов спорил с социальным психологом Кругловым, что является важнейшим фактором объединения людей. Худов доказывал, что это внутренний мир человека. Если у людей находится общее в их внутренних мирах, то это становится залогом образования группы. Тут же он привел свое любимое рассуждение о неправильном устройстве нашей армии, в которой призванные исполняют волю закона, но не могут составить целостности, так как внутренние миры солдат разнятся. Круглов ржал, он был значительно более пьян и не скрывал своего пренебрежения к худовской точке зрения.

— Паша, — невнятно говорил он своей и без того нечеткой дикцией («Как только он лекции читает?» — думал Худов), — это все чухня! Людей может соединить только цель. Такое коротенькое словцо, а вот цель. Давай посмотрим, люди идут к метро, и они едины. Каждый достает пятак (разговор состоялся давно) и бросает его, они объединены пятачком. И армия, если воевать, то будет. Потому что цель. А внутренний мир – это извини меня. Ты понял, Паша? Главный вопрос в жизни – вопрос зачем!

Как тогда было здорово! Рядом с Худовым сидела Тамара, клала голову на плечо, подставляла голую коленку, чтобы Худов положил на нее ладонь, играла музыка, было вино и водка, много жратвы, все были моложе, но главное – была свобода: говорить с Кругловым или не говорить с Кругловым, танцевать с Тамарой или не танцевать с Тамарой, уйти или не уходить до завтрашнего утра, потому что Женька еще не родился или с ним сидела Тамаркина мама...

— Ты прав, Круглов, — проговорил вслух Худов. — Цель — это вопрос номер один. Я не знаю, создает ли цель группу, но сейчас цель решила бы все. Зачем? Зачем меня здесь держат?

Как ни грустно, но разговор на языке ультиматумов не получался: Худов проигрывал. Вероятно, следовало смягчить требования, лишь бы не возвращаться к нулевому варианту. Хорошо, он готов поверить в то, что Анатолий Александрович не блефует, но непременно надо было что-то потребовать. Они тоже должны пойти на уступки, если Худов будет готов уступить. Будем играть в дипломатию. Безусловно, Анатолий Александрович не должен принимать сторону Худова, потому что глупо играть против тех, кто тебе платит, за того, у кого в буквальном смысле гроша ломаного за душой нет. Но ведь не только деньги правят миром, и даже такой слизняк, как Анатолий Александрович, может проявить участие, идущее вопреки его, так сказать, материальным установкам. Если так, то вот еще одно основание для доверия, а доверять Худову очень хотелось, ибо невозможно жить, не доверяя никому. «Так, — рассуждал он, — теперь другой вариант: Анатолий Александрович блефует. Можно предположить, что его роль такова, чтобы заставить меня поверить ему. В этом случае он наиболее опасен... Или нет? Если игра идет в ущерб мне, то так. Но если игра идет не в ущерб? В конце концов, если я им зачем-то нужен, то нет смысла вредить мне — вон как забегали, стоило мне заболеть. Тогда я тоже смогу выиграть, если не стану упираться, как баран. Значит, его записка, следуя такой логике, не принесет мне вреда, а я должен сдать свои позиции. Жаль, но кроме нулевого варианта у меня ничего нет». Худов вздохнул и даже собрался потянуться к телефону и снова пригласить к себе Анатолия Александровича, но тут въехала мулатка с обедом, таким вкусным, таким аппетитным, что сначала захотелось поесть, а уж потом...

— Вы меня кормите как на убой! — пошутил Худов и убедился, что в каждой шутке есть доля истины.

«Может, и вправду на убой?» — подумал он, вздохнул и, решив не портить себе обеда дурными мыслями, принялся за еду. Подкормился он так сытно, что его разморило и потянуло ко сну, который одолел его, как Худов ни сопротивлялся. Потом потемнело, наступал вечер. «Утро мудренее», — сказал себе он и постановил отложить звонок до утра, чтобы на свежую голову еще раз все взвесить, но не тут-то было: загремел замок, и в комнату вошел Анатолий Александрович, в костюме — готовый к деловому разговору.

— Я не буду тянуть время и играть с вами в кошки-мышки, — начал он, едва устроившись напротив Худова, как всегда с тревогой ожидающего, что принесет визит всесильного в настоящей ситуации человека. — Мы рассмотрели ваше заявление (он как-то особенно выделил это слово *мы*) и согласились частично его удовлетворить. Наши условия вам известны, Павел Сергеевич, они не меняются, несмотря на ваши соображения, которые, естественно, в таком положении могут возникать, я все понимаю. Однако мы принимаем во внимание, что и вы не обычный человек, не какой-нибудь бандит, которому невозможно доверять...

— Обыкновенно с такими приходится дело иметь? — не смог не перебить Худов.

Анатолий Александрович будто бы не заметил этой колкости и как ни в чем не бывало продолжал:

— Поэтому режим может быть смягчен. Должен вам сказать, что и без того мы старались максимально облегчить вашу участь, и очень много усилий тратили на обеспечение вашего быта, теперь же мы готовы еще более пойти вам навстречу. Да, были промашки. Мы полагали, что будет достаточно кондиционирования воздуха... Что греха таить, не подумали о прогулках, забыли. Теперь же вы будете пребывать на воздухе. Сегодня всего десять минут не потому, что мы рады вас ограничивать, поймите правильно. Вы еще слабы, и это требование доктора, а это очень хороший доктор, с его мнением нельзя не считаться. Выздоровеете окончательно — будете гулять столько, сколько сами посчитаете нужным. Что касается вашего свободного передвижения по дому, то решено следующее: вам будет предоставлена свобода, но останутся некоторые помещения, в которые доступ будет ограничен. Однако вы уже могли обратить внимание, насколько велико хозяйство. Будем считать, что вы в санатории, хе-хе, а там, при всей свободе, тоже остаются помещения, куда посторонним, что называется, воспрещено. Итак, в любое время в вашем распоряжении бильярдная, гимнастические тренажеры, комнаты релаксации. Словом, где не заперто, милости просим. Кроме того, вы в любое время, как только доктор даст добро, можете гулять по территории санатория, разве что должны будете известить меня о прогулке, иначе (простите, предосторожность) охрана не откроет двери — они подчиняются только мне. Надеюсь, это не отравит вашего существования. Мы тоже решили не докучать вам своими визитами, нет, нет, не переживайте (Анатолий Александрович поспешил успокоить Худова, увидев обеспокоенность или даже тревогу на его лице), мы готовы вас навещать, но исключительно по вашему желанию. Более того, если девочки вас не устраивают, мы можем заменить. Далее, если у вас есть замечания по кухне, пожалуйста, мы примем меры. С этого времени вся еда исключительно по вашему графику, меню — по вашему усмотрению. Если вы желаете есть в специальном помещении — пожалуйста, мы подготовим. Словом, полная свобода, но лишь внутри территории. По-прежнему запрещено телефонное общение и нельзя выходить за пределы. Доверие доверием, но это уже слишком, хе-хе... Вот так.

Худов сидел ошарашенный и довольный. Это потом ему вспомнится анекдот про козла, которого посоветовали купить семье, жившей в тесноте. «Продай козла», — предложил потом друг, и жить стало просторнее. «Надо было сперва заточить меня, а потом право ходить по комнатам становится райским блаженством. Но ведь я действительно доволен, черт меня подери!» — напишет он в своей исповеди.

— Вы щедры.

— Мы же не звери, Павел Сергеевич, и добра вам желаем.

— Я понимаю. Наверно, это похоже на западную тюрьму, как нам ее пытаются преподать: не ходи за колючую проволоку, а так ты свободен... Да! И неужели вы полагаете, что я смогу компенсировать ваши затраты той суммой, которая заявлена?

— Это уже наши проблемы.

— Впрочем, да. Мне наплевать. Вы ждете ответа? Естественно, я воспользуюсь всем, что вы предлагаете, вот только благодарить не стану, потому что не считаю себя пленным. Это вы передо мной виноваты, так что должны как-то себя реабилитировать. Все нормально. Вы не звери, но и не паиньки. Насчет добра мне понравилось. Добрее все-таки было отправить меня на все четыре стороны. Ну да ладно. Ужин, пожалуйста, в обычное время. Можете составить мне компанию, если хотите, конечно. К меню претензий тоже нет. А после ужина не поленитесь, проведите меня по дозволенным местам. Знаете, не приучен приходить в гости и соваться куда ни попадя.

— Вы не в гостях, Павел Сергеевич.

— Неужто хозяин?

— При тех правах, которые даны, скорее, да. Вы будете распоряжаться, а мы выполнять. Или вы не поняли? Вы здесь человек номер один.

— Как вы мне надоели!

Худов поднялся со своего места и подошел к подоконнику, где оставил пачку сигарет. К его удивлению, Анатолий Александрович тотчас сорвался со своего места и чиркнул зажигалкой настолько проворно, чтобы опередить то же действия самого Худова.

— Спасибо, — смущенно сказал он, прикуривая.

Анатолий Александрович ответил кивком головы и вернулся на прежнее место, но не сел. Худов решил, что он сейчас уйдет, и продолжал стоять возле подоконника. Анатолий Александрович не уходил и не сел. Повисла пауза.

— Вы уходите? — не выдержал Худов.

— Как скажете, — ответил Анатолий Александрович.

— Как хотите. Можете оставаться. Садитесь.

Анатолий Александрович снова благодарственно поклонился и сел. В его облике появилось еще больше холуйства, чем было: он неприкрыто показывал, что выполняет требования Худова.

— Перестаньте ломать комедию. Ведите себя нормально. Холопство вам не к лицу.

— Так вы демократ! — неожиданно выпалил Анатолий Александрович и, развалившись в кресле, в мгновение ока возвратил себе привычный облик. — Иной бы на вашем месте, почувствовав власть, не преминул ей воспользоваться, а вы... Что ж, еще ничего неизвестно!

— Какую власть, что вы мелете?

— Власть какую? — переспросил Анатолий Александрович и посмотрел на Худова, как на дурочка, которому все надо объяснять по два раза. — Вам же дали самую натуральную власть. Делай — что хочешь. Вызывай — кого хочешь.

Ходи – куда хочешь. Плен – видимость. Господи, Павел Сергеевич, разве о такой жизни вы мечтать могли? Сидели в вашей коммуналке, тараканов гоняли. Не было тараканов? Не верю, не бывает коммуналок без тараканов, а не было тараканов, значит, еще какая-нибудь гадость была. А вот денег не было, сами говорите, а деньги – это свобода, а свобода – это власть. В мире только два полюса – свободные и подчиненные. Свободный властвует, а подчиненный рабствует. И вот ведь парадокс: там вам казалось, что вы свободны, а что вы были свободны? Ходить по магазинам, как по музеям: красота, а трогать запрещено, потому как не про вашу честь, господин профессор, некредитоспособны, хе-хе А вот теперь плен, никуда не пускают, а свободы прибавилось, не правда ли? Вам не надо думать о том, чем голод утолить, где бы денег достать, чтобы хоть раз в месяц доехать до института на такси (ведь хочется, признайтесь), как бы развлечься... Все в ваших руках, профессор, вам дано все, только работайте. Это ли не свобода? Я же не поверю, что вы не рады работать сколько угодно. Вам не шарики гонять компьютер понадобился, не шарики гонять, ага? А теперь вы будете полный властелин не только внутри этой комнаты, но и за ее пределами. Хотите – улица, хотите – бильярд, хотите – девочки, хотите – работа.

— Зачем вам это? Это же не альтруизм.

— Побойтесь бога. Но вам-то не все равно? Представьте себе, что наши интересы совпали. Так вот случайно получилось: нам удобно, что вы живете здесь на полном пансионе, а вам – полная свобода. Впрочем, вы же сами понимаете, философ, хе-хе, что полная свобода тоже имеет ряд ограничений. А к свободе вам в качестве бесплатного приложения подали власть. Властвуйте, словом.

— Что ж! — Худов неожиданно резко встал и выпрямился. — Предлагаю продолжить нашу дискуссию за партией в бильярд. Идемте?

— Как прикажете.

Анатолий Александрович тоже вскочил, раскрыл дверь и предложил Худову выходить первым.

Итак, перед Худовым начал открываться этот большой дом, принявший его когда-то давно, но так и остающийся до сих пор абсолютной тайной, как непостижима башня в замке, расположенном на острове в открытом море, для средневекового заключенного, приговоренного жестокой властью всю жизнь провести в холодном застенке.

Худов жил в плену уже пять месяцев. Позади остался Новый год, шампанское, пожелания счастья и здоровья в кругу людей, которые почему-то пренебрегли своими семьями и казались довольными, отсчитывая двенадцать ударов на работе. Проснувшись днем, Худов почувствовал себя тоже бодрым и веселым, хотя следовало бы разочароваться, вспомнить дом, друзей настоящих, родню... «Они помнят?» — подумал Худов, но поймал себя на мысли, что ему в общем-то все равно...

— А ведь ты привык, Павел Сергеевич! Привык? — спросил как-то Анатолий Александрович. — Вначале-то вон как хорохорился, а теперь привык, ага?

Худов попытался возразить, на Анатолий Александрович прямо в лицо ему рассмеялся, и Худов рассмеялся тоже, почему-то пригрозив при этом своему виз-а-ви пальцем.

Зима стояла снежная, в меру морозная, ясная, звонкая. «Может, это здесь, за городом так, — думал Худов, — а там, в Москве, совсем по-другому. И ладно, так, значит, хорошо, что я тут. Когда бы еще привелось на такую зиму посмотреть?» По утрам он выезжал на лыжах, выбрав себе в подруги Веру, которая не отставала. Территории, огороженной забором, было вполне довольно, чтобы вволю наездиться и не думать, что вертишься на одном пяточке. Лыжи Худову и его спутнице дали легкие, пластиковые, и костюмы у обоих были красные, яркие, легкие, теплые, но не жаркие, в которых будешь париться. Южная часть парка (так Худов окрестил территорию) представляла собой сосновую рощицу, с белками, выскакивающими на дорогу в предвкушении вкусных орешков, которыми и Худов, и Вера наполняли свои карманы; с синичками, разгрызавшими шишки, оставляющими на дорожках беспорядочную шелуху; со следами, вероятно, собак, но Худову и Вере хотелось, чтобы это были волки, и они стремились быстрее уехать подальше, чтобы оказаться в виду большого дома, а не быть съеденными заживо...

За все время Худов написал еще пару дипломов, но делал это все с меньшей и меньшей охотой, давая понять своим видом, что заинтересован в собственной работе, отошедшей от социологии, а представляющей собой философию в старинном смысле этого слова, соперничающую с Юмом, или Спинозой, или даже стариком Кантом...

— Обедать? — спрашивали Худова.

— Через полчаса, я занят, — отвечал он и продолжал творить.

Мулатка на цыпочках удалялась.

Обедал Худов по-прежнему у себя, а вставая из-за стола, снова погружался в работу. Прерывал его сплошь и рядом Анатолий Александрович:

— Передохни, Павел Сергеевич, передохни. Да и мне скучать надоело.

Они снова шли в комнату с камином, где усаживались в стоящие друг против друга кресла-качалки, чтобы вести разговор, достойный позапрошлого века. Анатолий Александрович раскуривал трубочку, вскоре к этакому сибаритству пристрастился и Худов. Клубы сладкого дыма окутывали их, потихоньку звучала музыка, а двое мужчин говорили, спорили, соглашались. Худову уже не казалось, что его собеседник глуп, он с удовольствием проводил с ним время и даже ждал, когда же появится старый ВОХРовец. Иногда разговор затягивался и требовал смены обстановки. Они выходили во двор и ходили по двору, ужинали вместе, а потом еще и продолжали в бильярдной, правда Вера и Аня, непременные их вечерние спутницы, возражали и настаивали на смене темы разговора. Как ни странно, Худов играл лучше всех, хотя впервые взял в руки кий только здесь. Анатолий Александрович силился обыграть его — никак.

Из девочек сильнее была Вера, что радовало Худова, потому что призом было целоваться с лучшей. Уходя поздно ночью спать, он называл все это детским садом, но на завтра день был таким же...

Чувствовал ли Худов недоброе? Мучили ли его дурные мысли? Готов ли он был к тому, что все переменится? «Нет, — отвечал он себе потом. — Эта глупая уверенность... Откуда она взялась-то?»

Однако жизнь продолжалась. Как-то раз Худов поймал себя на мысли, что стал по-другому, по-прежнему, по-домашнему смотреть выпуски новостей. Его совершенно перестал занимать вопрос, скажут ли что-нибудь о нем, вернее, этот вопрос переместился куда-то в подсознание и потихоньку, затаясь, не тревожа своего хозяина, выжидал своего часа, а час все не наступал и не наступал. Сам же хозяин с любопытством зрителя сериала взирал на телеэкран и ждал, чем же кончится судебный процесс по одному очень запутанному то ли экономическому, то ли политическому процессу, переживал за поражение «Спартак», хотя, по сути, вовсе не относил себя к числу болельщиков, пытался понять, что же представляет собой вновь созданная интеллигентская «Партия 10 сентября», с таким претенциозным и в то же время ничего не значащим названием. Худов совершенно не был согласен с Анатолием Александровичем, который вдруг, бывало, растопыривал свои небольшие глазки и буквально заговорщически провозглашал:

— Скоро все переменится. Политический расклад меняется, причем в лучшую сторону. Вот увидите.

А однажды и совершенно немисливо:

— Мы победим!..

Несколько месяцев назад, когда Худов еще воспринимал себя в полной мере пленником, ему бы, наверно, не захотелось вступать в дискуссию: он бы промолчал, скрывая внутри себя едкую, презрительную насмешку, полную сознания своего превосходства. Теперь же ситуация переменилась.

— Кто же эти *мы*?

— Да мы с вами, Павел Сергеевич, я и вы, а с нами еще масса людей недовольных, обиженных, обделенных, у которых вырвали настоящее, будущее и прошлое, которые оказались вне власти, хотя она их заслуживает больше всего...

— Она их? Возможно, они ее?

Анатолий Александрович усмехнулся:

— Так и знал, что вы тут меня перебьете. Нет, дорогой мой, я не оговорился. Власти никто не заслуживает, власть — берут, но не как хлеб с лотка в современном супермаркете, как бы гуляя, а нахраписто, жестоко, грубо, да, да, и не смейтесь, именно так. А вот сама власть заслуживает тех или иных сил, и очень переживает, если они отсиживаются в кабаке и не приходят за ней.

— Неужели вы мыслите, дорогой мой Анатолий Александрович, что эта самая гнилая интеллигентская партия нахраписто возьмет власть?

— Насчет гнилой это вы в университете выучились или сами так учите? Никакой гнили! Именно интеллигенты всегда были самой революционной

массой, а никак не пролетариат. Тут Маркс ошибся. Без интеллигента ни одной революции бы не произошло. Я думаю, это вам понятно, хоть бы вы и хотели мне возражать. Дело не в этом. Современная интеллигенция вправду подгнила, на решительное действие неспособна. Подойдут вот к вам, Павел Сергеевич, и скажут, мол, берите власть в свои руки, так вы и тут откажетесь, а по большому счету даже и ждать бы не стоило, пока подойдут: сами, сами обязаны идти в поход за властью!

— Обязан?

Анатолий Александрович удовлетворенно покачал головой и сделал такую мину на лице, которая не оставляла собеседнику даже повода для возражения. Худов опешил, но тут же нашелся и спокойно, как говорят обычно азбучные истины, ответил:

— А вот тут уже вы ошибаетесь, Анатолий Александрович, и даже сами себе противоречите. Интеллигент на то и интеллигент, чтобы не брать, как вы изволили выразиться, нахраписто. Это, извините меня, неинтеллигентно. А что касается меня, то я уже вам говорил как-то, что никакая власть меня не интересует, не по этой я части.

— Гниль...

— Позвольте?

— Да гниль она и есть гниль, как ни крути, во всех ваших рассуждениях гниль. Надо мыслить шире, если хотите, по-государственному надо мыслить, всем, даже самым что ни на есть мельчайшим людям. Получается же так, что вы интеллигент, а в интеллигенцию, в ее историческую миссию не верите, а я — верю. Вот ведь как получается, ага?

— Да другая она, эта ваша миссия, — Худов разнервничался и вышел из дверей вон.

«И что пристал?» — думал он назавтра, когда ездил вместе с Верой по лесу.

— Ты сегодня какой-то не такой, — сказала она и обиженно вытянула губехи.

— Какой не такой?

— Весь в себе какой-то...

— Не обращай внимания.

Худову совсем не хотелось обижать Веру. Из всей братии, окружавшей его, она казалась самой искренней. И Худов все время, подчас сознательно, а иногда — нет, искал встречи с ней, даже не ругался, когда она приходила и заставляла Худова работающим: она не мешала, нет, конечно, мешала, но Худов был готов терпеть это, нет, не терпеть, а радоваться приходу Веры. «Может быть, это чувство?» — задавался вопросом Худов, но сам себе отвечал, что, естественно, это не так, привязанность — да, флирт — почему бы и нет, но чувство... Надо сказать, что разговоры с Верой пусть и не были такими заумными, как с Анатолием Александровичем, однако и сравнивать их с пустой раздельнополой болтовней тоже было бы неправомерно. Худов даже думал, что если бы Вера стала когда-нибудь его студенткой, то из нее вышел бы толк.

— Ты умеешь подчинять себе, — сказала Вера ему однажды.

— Что ты имеешь в виду? — удивился Худов

— Раньше ты был совсем другой, а с тех пор, как тебе разрешили ходить по дому, ты стал приказывать.

— Я приказываю тебе?

Вера покраснела:

— Мне нет, а другим — еще как!

Этой перемены Худов в себе не заметил сам, а вот после Вериных слов невольно начал присматриваться и действительно нашел начальственные замашки: то Анатолия Александровича выставит вон, когда тот надоест, то Ане заткнет рот на полуслове, то перекорежит весь режим, потому что создаст себе какое-нибудь срочное занятие.

«Я меняюсь? — размышлял Худов. — Если так, то плен накладывает самые неожиданные отпечатки на характер человека. Он может подавить, а может, напротив, развить волевые качества, которых раньше не было или которые находились в спящем состоянии и не проявлялись. Еще пару месяцев — и из меня получится деспот».

Пары месяцев, однако, не получилось. Все произошло так внезапно, так неожиданно...

Был обыкновенный день, один из тех, которые Худов проживал в своем удивительном плену в свое удовольствие. Февраль добрался до середины, зима не сдавала позиций: было снежно, морозно, но большей частью пасмурно. И вот наконец тучи развеялись, дабы, люди, верно, не забыли, что там, за тучами, есть еще светило, которое воссияло с такой веселостью, что у каждого если не появлялась на лице улыбка, то душа уж точно расплывалась от счастья.

— На лыжи, на лыжи! — торопил Худов свою неизменную спутницу, как будто был ограничен во времени.

Та спешила, и вот они встали на ими же проложенную лыжню и покатали. Прогулки Худова и Веры напоминали катание на лошадях, столь живо представленные в классической литературе. Неспешный шаг лыжников, им одним выделенный простор и общее безделье, в которое оба, по большому счету, были погружены, влекло к разговору, какими сопровождается каждый ничего не значащий флирт. Темы, как ни странно, находились, и ни один из них не страдал от скуки. В тот памятный день Вера рассказывала очередную байку из своего веселого детства. Речь шла о том, как она поспорила со своей подругой, что не побоится прийти к той в три часа ночи. Худов не знал, верить ли, но его собеседница не очень казалась склонной к сочинительству, так что оставалось только удивляться беспечности и крепкому сну родителей, которые не проснулись от захлопнувшейся входной двери. Вере было страшно, на улице не было никого, хотя, говорила она, только потом, через много лет, ей стало понятно, что страшнее было бы кого-нибудь встретить на пустынной и темной улице.

— У нас бульварчик такой, днем там хорошо, а ночью кусты такие страшные, плотные, мне все чудилось, что за ними собаки. Я собак боялась,

представляешь? А еще очень боялась встретить милиционера, потому что он бы отвел меня домой, мама бы все узнала, а мне зачем это? Я хотела тайком, иначе не выпорила бы пирожное.

— Тебе пирожных не покупали?

— Конечно, покупали, но на что девчонки могли еще спорить?

Вера дошла до дома своей подруги, но, очутившись около двери, поняла, что ничего не выйдет: позвонить в три часа ночи в дверь было просто невозможно.

— Я вышла на улицу, хотела бросить снежком в окно, но я же не такая меткая, могла промахнуться на третий этаж, и пошла домой. Бухнулась в постель и до утра проплакала, так обидно было. А пирожное я все-таки выиграла.

Это было совершенно неожиданно, и Худов даже замедлил шаг.

— Я свернула у их двери коврик в трубочку, а утром позвонила по телефону и сказала подружке, чтобы она вышла на лестницу. А ты что думал, я без пирожного останусь?

Худова поражали две вещи: жизнерадостность Веры и ее простота. Тот академический мир, в котором ему пришлось вращаться, начисто лишен этой незамысловатости, которая из Веры попросту хлестала фонтаном. Каждый ее рассказ был наполнен откровением, какого редко приходилось встречать раньше. «Что же ей остается сказать на исповеди? — думал Худов. — Ведь она не оставляет ничего потаенного!»

Миг, который прервал их разговор, Худов вспоминал потом часто. Они ехали в дальней стороне парка, куда заезжали редко и где и сегодня шли по мягкому снегу, еще не разрезанному лыжней. Справа шел металлический забор, слева довольно густо стояли ели, так что пара спортсменов-любителей была скрыта от постороннего взора. Нет, читатель, философ Худов не накинулся на молоденькую девушку с грязной целью изнасиловать ее. Одна секция забора оказалась снята. Худов попытался вспомнить, проезжали ли они здесь раньше и могло ли оказаться так, что какая-то часть парка осталась неисследованной. Вероятность была слишком мизерной, но у забора не было видно следов ремонта, просто одна секция мирно стояла, прислонившись к столбику. А сквозь проем в заборе зияла воля. Худов остановился. Это могла быть ловушка.

— Ты что? — спросила Вера, проехавшая чуть вперед.

Худова прошиб пот, он ничего не ответил.

— Ты что? Тебе плохо? — повторила вопрос Вера.

Надо было бежать, в этом не оставалось никаких сомнений. Удерживало Худова лишь то, что будет в случае его поимки. Во-первых, он не знал, куда бежать. Но, скорее всего, где-то неподалеку должно было быть либо селенье, либо дорога. Во-вторых, у Худова не было документов, но попасть в милицию, в отличие от школьницы Веры, он бы теперь ой как хотел! Так значит?.. Мешало одно — Вера. По правилам побега необходимо было взять ее с собой, потому что настучит, и все пойдет прахом.

Пока Худов рассуждал, Вера подъехала к нему и, увидев дыру, смекнула, в чем причина задержки.

— Не вздумай! — Вера сказала тихо, но очень решительно. — Не вздумай, слышишь?

— Почему? Это шанс. Я больше не могу.

— Павел, я прошу тебя, не надо, — тон Веры переменялся, и Худов решил идти в наступление.

— Хорошо. Тогда скажи, зачем меня здесь держат. Ответишь — я останусь.

— Я не знаю, честное слово, не знаю. Меня просто приставили к тебе.

— Кто?

— Удав, я больше никого не знаю.

— Кто-то еще есть?

— Есть, но я не знаю его. Пашенька, останься. Все будет хорошо, вот увидишь.

— Откуда ты знаешь? Я здесь не первый?

— Я не знаю. Я недавно здесь.

— Откуда же ты знаешь, что все будет хорошо?

— Мне так кажется. Удав не злой. Значит, они тут все не злые, но если ты сбежишь, тебя поймают. Здесь охрана.

— Но я уйду.

— Охрана и на дороге. Нас проверяют, когда мы едем.

— Кто проверяет?

— Люди. Там на дороге вроде поста.

— Они в форме?

— Нет, в штатском. Похожи на сторожей или на заводе, как пропуска проверяют.

— Мне все равно, понимаешь? Я не верю в добрый исход этого дела. Мне теперь пан или пропал. Девочка, когда побудешь полгода за решеткой, то выбора не остается. Слушай меня: ты покатаешься здесь, в этих деревцах с час, но не больше, а то они очухаются первыми, а потом разденешься и будешь жить как ни в чем не бывало, а спросят — сделаешь круглые глаза.

— Меня убьют. Мы подписывали бумажку, что за невыполнение задания могут убить.

Худов сглотнул слюну и почувствовал, что во рту у него пересохло. Нет, тут не шутили, а значит, надо бежать, только бежать.

— Хорошо, пойдешь со мной. Только живо. Как только сможешь живо.

— Нас убьют...

— А мне плевать, тебя я выставлю, а мне плевать. Мне кажется, вам велено выполнять мои приказы, и я приказываю: вперед, за мной, в эту дырку!

Вера заплакала:

— Не надо, я тебя умоляю, не надо!

— Это приказ! Не действуй мне на нервы! Вперед!

Худов развернулся на лыжах и шагнул в свободу.

Лес был густой, а снег глубокий, поэтому идти было трудно. Худов торопился и торопил Веру, которая (это было заметно) решила не вставлять Худову палки в колеса, а покорно выполняла приказ. Та часть парка, откуда они выбежали, была противоположной воротам, через которые въезжали машины, поэтому Худов решил не менять направления, чтобы не нарваться на дорогу, где, по словам Веры, был пост. Он только спросил, не виляет ли дорога перед усадьбой. Вера, сказала, что, кажется, нет, и Худов еще более утвердился в своем решении. Подмосковный лес таков, что далеко тянуться не может, это тебе не тайга сибирская, и в этом его плюсы и минусы. Минусы в том, что укрыться от преследователей в тайге куда проще, плюсы же в меньшей вероятности заблудиться настолько, что будешь рад отдаться в руки кому угодно. Больше всего Худов хотел упереться в дачный поселок, там наверняка должен быть хотя бы сторож, у которого и чаю напиться можно, и отсидеться, и дорогу узнать. Правда, сторож спросит, как они здесь оказались. «Ладно, — думал Худов, — что-нибудь сойдем». Дорога его устраивала меньше: встретив машину, он не был бы уверен, что она не вернет обратно. Значит, на дорогу выходить нельзя. Пугал его еще и тот факт, что человек, проверяющий машины, был не в форме. «Уж не спецслужбы ли здесь орудуют? — мелькнуло в голове у Худова, но он не поверил: — Спецслужбы и я? Что-то натянуто».

Между тем лес оказался больше и гуще, чем могло показаться сначала. Дороги не было, поэтому путникам приходилось вилить, объезжая непроходимые участки, и Худов, как человек в этих делах неопытный, боялся потерять направление и выйти на нежеланную дорогу. Вера стоически выдерживала испытания.

— Тяжело? — спрашивал Худов.

— Ничего, ковыляю, — отвечала она и даже пыталась улыбаться, хотя на лице ее проглядывался ужас.

— Прорвемся, милая, только бы до своих добраться, — Худов поймал себя на мысли, что проскочила какая-то партизанская лексика из фильмов о войне.

И верно, положение было не лучше: или спасешься, или схватят эти сатрапы, а от них пощады не жди, это Вера доказала однозначно, поэтому Худов решил бежать, не жалея ни себя, ни Веры. «Доберемся — отдышимся», — говорил он себе, чувствуя, что сил не так уж много. Лес, однако, все не кончался, появился эффект блуждания по заколдованному кругу, а Худов (вот ведь человек!) сравнивал себя с героем фольклорной сказки. Он не сомневался, что все получится, что не напрасно это безумство, что надо дергаться, а не подыхать в затхлой комнате, он был уверен, пока на их пути не возник забор с колючей проволокой и надпись: «Граница поста! Стой! Стреляют без предупреждения!»

Худов встал. За ним остановилась Вера.

— Все? — спросила она, прочитав надпись.

— Нет, нет. Не бойся. Погоди только. Передохни.

Забор тянулся и вправо, и влево. Это был какой-то серьезный объект, что объясняло и глухомань, и пост на дороге, и отсутствие дачников. Соваться за забор было немыслимо: лучше уж вернуться, мол, загуляли. Страшно было даже находиться вблизи, потому что тех, кто стреляет, не видно, а ну их разберет пальнуть? Оставалось одно: идти вдоль забора. Впрочем, встреча с КПП не сулила бы ничего хорошего: либо он закрыт, что вероятнее всего, и на заплутавших лыжников в лучшем случае никто не обратит внимания, либо спросят документы, которых ни у Худова, ни у Веры не было, а вот что принесет выяснение личностей, никто не знает, потому что спутница могла быть, мягко говоря, неблагонадежной. Так, значит, назад? Это не входило в планы Худова. Но решать нужно было быстрее, пока не началась погоня, если еще не началась.

Забор казался одинаково длинным как справа, так и слева, но слева кусты были гуще, туда меньше хотелось идти, так что Худов принял решение идти именно влево. Вера последовала за ним.

— Я очень устала, — сказала она метров через двести.

Худов тяжело вздохнул.

— Хорошо, пять минут передышки, но только пять минут.

Худов, тяжело дыша, присел на густой еловый лапник и пожалел, что не брал с собой на прогулку сигареты.

— Зачем вам это? — спросил он, обращаясь в пространство.

— Что? — не поняла его Вера.

— Людей хватать и сажать в клетки. Ты «Каштанку» в детстве читала? Как ни хорошо ей было у циркача, а все равно к столяру убежала, домой. На что вы рассчитываете? Волка хоть овцами корми, он будет смотреть в лес. Вот мы и в лесу. Наверно, вы ничего не понимаете.

— Ты причисляешь меня к *ним*?

— А разве нет? Или тебя тоже вытащили из ресторана? И так перевоспитали, что ты на них работать стала? Что-то не верится.

— Я тоже рискую. Может быть, еще больше, чем ты.

— Так не работала бы на них! Разве не могла, как простая советская девушка, пойти на завод? Подвязала бы волосы красной косынкой и обслуживала бы сотни две ткацких станков.

— Поехали! — отрезала Вера.

Путь был непростым, к тому же из-за привала терялись драгоценные секунды, которые могли стоить свободы или даже жизни. Направление бегства было выбрано Худовым правильно: пойдя он на запад, то есть вправо, через километра полтора он обнаружил бы, что забор поворачивает еще на девяносто градусов вправо, а кончается той самой дорогой, на которую выходить было ни в коем случае нельзя. Однако понимал это не только Худов, но и его преследователи, обнаружившие пропажу лыжной парочки. Западное направление было закрыто для беглецов, бежать же они могли только на восток, но и тут не все было так гладко. Забор тянулся и в эту сторону больше, чем на километр, но лес к концу редел, и перед беглецами оказалось бы большое, открытое со всех сторон поле, спускающееся к реке, лед на которой был

достаточно крепок, чтобы по небу бежать на лыжах. Но поле для лыжников в ярких спортивных костюмах совсем не годилось, так что они пошли бы вдоль леса, вдоль забора, огибающего запретную зону. И именно двигаясь таким образом, Худов с Верой могли бы выйти на участок дороги, расположенный за постом, а следовательно, обрести желанную свободу, поэтому преследователям достаточно зайти им с дороги во фронт, что при наличии машин сделать было совсем не сложно. Ошибка Худова состояла в том, что он пошел сразу прочь от парка. Да и откуда было ему знать, что поверни он налево сразу, а потом еще чуть севернее, там деревянный мост через речку и деревня, но кто же решится на такой нестандартный ход в отсутствии опыта и знания местности? Словом, произошло то, что и должно было произойти: послышался сначала очень слабый и казавшийся порождением возбужденных нервов, а потом все более и более проясняющийся гул снегоходов, причем раздающийся будто бы и сзади, и спереди, что также было абсолютно верно и предвещало конец побегу. Худов и Вера остановились и переглянулись.

— Я твоя заложница, — сказала она отрывисто.

— Что? — не понял Худов.

— Я твоя заложница. Угрожай им моей смертью и требуй.

— Ты с ума сошла.

— Идиот! Приставь мне к горлу нож и требуй, а то сдохнем оба.

— У меня нет ножа... — растерялся Худов.

— Прижми палку, а изображай нож! На вот. И быстрее, а то спектакль не получится! Шевелись! И, пожалуйста, без своего интеллигентского такта. Я заложница, понял?

Худов поймал на лету брошенную Верой палку, схватил девушку за грудь, прижал к себе и ткнул в шею бутафорский нож.

— Грубее, а то подумают, что мы на свидание убежали!

Это было последнее, что сказала Вера, прежде чем появились снегоходы, а на них человек пятнадцать мужиков в масках, которые наставили на беглецов то ли обрезы, то ли короткие автоматы. Худов выглядел затравленным зайцем: наставленные дула делали свое дело, он понимал, что пропал, но продолжал играть свою роль, хотя и не верил в желанный исход. Мужики, однако, никак не ожидали увидеть подобной картины и остановились метрах в двадцати. Видимо, труп девушки не входил в их планы.

— Поднимите оба руки вверх и отойдите друг от друга, — произнес один из них, наверно главный, приятным бархатным голосом, доверительным и спокойным.

— Он меня убьет! — пропищала Вера. — Помогите мне, ребята!

Худов понял, что его очередь.

— Если хотите сохранить ей жизнь, уходите и дайте нам дорогу!

— Ты и курицу не убьешь, а человека — тем более, — не меняя тона произнес бархатный. — Делайте, что приказано.

— Я даю вам минуту. Учтите, мне нечего терять, — Худов старался быть грозным, но голос его дрожал.

— А у меня приказ — не дать вам уйти и притащить хоть живыми, хоть мертвыми, так что можешь резать, нам меньше мараться. Считаю до двух и стреляю. Раз.

Худов стоял, не отпуская Веру. И тут бархатный, не просчитав «два», поднял обрез и пальнул в небо. Раздался звонкий и очень громкий выстрел. Худов не знал, что боевые звучат гораздо тише и суше, чем холостые, а поэтому принял игру за чистую монету, отпустил Веру, но не поднял, а опустил руки вниз. Тотчас к нему подбежали трое парней, скрутили, связали, кинули в снегоход и повезли. Что случилось с Верой он так и не узнал.

Худова вернули в его же комнату, но она была другой, недружелюбной, неласковой. В ней осталась одна кровать, все остальное, исчезло, даже книги вытащили, все до одной, не говоря о компьютере, телефоне. В ванной не было ни горячей, ни холодной воды, а часы, разбитые, валялись на полу, да и от кровати осталось одно пружинистое дно, да две спинки. Худов сел и погрузился в задумчивость. Все будто бы возвращалось к изначальному: он снова стал ждать своей участи. И снова надежды, что придет добрый Анатолий Александрович и разрешит абсолютно все, не было. Эту борьбу, которая длилась почти полгода, Худов проиграл. Ему только казалось, что он одерживал победу за победой, отвоевывая жизненное пространство. На самом деле плен оставался пленом, и он не выяснил-таки самого главного: в чем же причина его столь долгих мучений.

Вечером мулатка не пришла. Снова, как когда-то вначале, хотелось есть, но Худов не возмущался. Он подумал, что лучше умереть, пусть от голода, а еще пожалел, что мужичок не разрядил в него автоматного рожка, чтобы уж раз — и все. Ночь прошла в тяжелой полудреме. От голода и пережитого накануне болело голова, ныло тело, лезли всякие дурацкие мысли, от которых ближе к рассвету Худов заснул, а разбужен был резким светом, ударившим в глаза, и громкими голосами. В общем-то Худов был покорен, когда снова кто-то в маске схватил его за руку, стянул плечо жгутом, а другой, тоже в маске и в белом халате, точным уколом послал иглу в вену философа, после чего тело наполнилось легкостью и блаженством и, уже неподвластное воле, безжизненно замерло на жесткой металлической сетке.

Часть вторая

Тушин

— Вставайте, Худов.

Профессора разбудил слегка раздраженный мужской голос и тычок ватки, смоченной вонючей жидкостью, в которой угадывался нашатырь. Открытым глазам предстала небольшая комната, похожая на больничную палату, с окном, в которое бил яркий солнечный свет, и столом, за которым сидели двое мужчин: один, постарше, лет пятидесяти, полный, с легкой проседью в волосах, с опущенными уголками рта, делающими лицо унылым, был в костюме и в накинута на плечи короткой дубленке, как будто в комнате было холодно; другой, помоложе, лет тридцати пяти, со шкиперской короткой бородкой, сидел в белом медицинском халате и, в отличие от своего товарища, улыбался приятной широкой улыбкой.

— Что, меня спасли? — спросил Худов и понял, что голос его звучит слабо.

— Да не от чего было вас спасать. Вкатили вам снотворного, чтобы сон был покрепче — и все, — ответил полный все так же с раздражением в голосе. — Давайте объяснимся. Меня зовут Виктор Иванович Кочетов. Игра в кошки-мышки закончилась. Теперь будем учиться говорить друг другу правду. Вся эта инсценировка вашего похищения находилась под моим контролем и мной во многом разрабатывалась. Как вы догадываетесь, никаких денег от вас не нужно, причина изоляции заключалась в ином. Вам доверено выполнить очень важную миссию, а для этого требовалась проверка, которую вы с честью выдержали, и разрушение ваших связей, собственно, для этого мы и поместили вас на дачу. Задание же, которое будет вам поручено, следующее: вы будете баллотироваться на президентских выборах от «Партии 10 сентября», постараетесь их выиграть и станете президентом России.

Худов раскрыл глаза так широко, как они могли раскрываться, хотел перебить Кочетова, но тот не дал:

— Вопросы потом, пока лежите, приходите в себя и осознавайте. Поясню ситуацию: некоторые влиятельные силы, раскрывать которые не в моих интересах, имеют президентские амбиции, но не хотят выходить из тени, им это не выгодно, поэтому они обратились к нам с просьбой разработать концепцию президента-марионетки. Эту задачу выполняли несколько авторских коллективов на конкурсной основе, а победил наш проект президента от интеллигентов. Мы показали, что в современной ситуации, когда интеллигенция потеряла яркость, есть шанс убедить народ, что это и есть та сила, которая необходима для вывода страны из кризиса. Однако проблема состояла в том (и мы тут чуть не провалились), что интеллигент либо совершенно аполитичен, либо слишком самостоятелен, чтобы становиться марионеткой. Вот тогда-то и возникла мысль о «подготовке» президента. Сначала мы хотели предложить нескольким людям попробовать себя в некоем социальном эксперименте, заморочить им голову и с помощью специальных технологий смоделировать

необходимую нам личность. Идея интересная, но крайне трудно выполнимая. Легче показалось выкрасть эту группу лиц, но сам факт массовой кражи вызвал бы в обществе неприятный резонанс и преждевременное обращение взглядов к интеллигенции. Последний наш план, которому и суждено было осуществиться, подразумевал поиск одного человека, подходящего для роли будущего президента, его тестирование, обработку и выпуск в политику. Мы изучили более двухсот кандидатур, прежде чем выбрать вас. Нам требовался человек умный, желательно из науки, с минимумом родственных связей, жесткий, но не упрямый, принципиальный и видный, представительный. Когда мы дошли до вас, мы поразились, насколько ваша личность отвечает предъявляемым требованиям. Оставалось решить вопрос, как заставить человека пойти в президенты. Согласитесь, решение не из легких. Вариантов было два: убеждение или прессинг. Мы остановились на втором, то есть на создании таких условий, чтобы не было пути назад. По сценарию мы похищаем человека, инсценируем его гибель, а на арену выпускаем совершенно новую фигуру, с липовой биографией, с новым именем, связями и так далее. Должен сказать, что сценарий воплощается в жизнь как нельзя лучше. Хочу поздравить вас с днем рождения: с этой минуты вы лидер «Партии 10 сентября» Павел Николаевич Тушин!

Ошарашенный, Худов спросил:

— Почему Тушин?

— Худов – это не президентская фамилия. Представляете себе, какая будет пресса? Нет, фамилия должна быть нейтральной, например, Тушин. Мне так нравится.

— Это бред какой-то, — пробормотал Худов. — Час от часу не легче. Лучше бы уж убили. Хорошо, допустим, я не согласен. В расход?

— А вам деваться некуда. С глубоким прискорбием сообщаю вам, что доктор философских наук, профессор Худов Павел Сергеевич погиб в автомобильной катастрофе, кремирован и похоронен на кладбище в Москве.

— Чепуха. Я приду – и все меня опознают.

— Конечно, но только, управляя автомобилем, вы сбили пятерых детей, так что суд, тюрьма... Пока этого никто не знает, но будут свидетели, очевидцы, такие всегда находятся...

— Я не умею управлять автомобилем.

— Тем хуже для вас.

— Обложили, — проговорил Худов.

— Вот-вот, — впервые за весь разговор улыбнулся Кочетов, показав, что улыбка не исправляет его недовольной физиономии. — Я даже не уговариваю вас, а просто рассказываю, как вы теперь будете жить. Вы же разумный, взрослый человек.

— Хорошо. Допустим, я согласен. Но меня же узнают. Я не поп-дива, конечно, но кому-то известен.

— Вот это другой разговор. Я, таким образом, перехожу к нашим планам. Вам предстоит небольшая, но ответственная пластическая операция, которая

сделает вас человеком, лишь отчасти напоминающим Павла Сергеевича Худова. С вами поработают психологи, визажисты, писатель у нас есть, Слава Авдеенко, он историю с вами вместе напишет... В общем, Павел Николаевич, нам предстоит увлекательная жизнь. Теперь не будет плена и неизвестности, только положительные эмоции, весь мир к вашим услугам, деньги, власть. Не надо убегать. Кстати, мы не знали, как вас вывести из плена, а вы с вашим бегством настолько на руку сыграли: убежал – вот мы его и убили. Ваши приятели, наверно, оплакивают теперь полубившегося клиента. Ничего, они сыграли на славу.

— Я их увижу?

— Ни в коем случае. Старые связи забудем.

— А Веру?

— Подберем вам достойную партию, пальчики оближете. У президента все должно быть по высшему разряду, никакого брака!

— Я надеюсь, она не пострадала из-за моего бегства?

— Она получила такую сумму, какая вам раньше и не снилась, правда, теперь покажется вполне достижимой. Забудьте ее. Ладно. Вот Евгений Аркадьевич, он врач, он вас осмотрит, все-таки доза снотворного была высокой, потом подкрепитесь, оденетесь – и в путь. Я вас покину ненадолго, а поедем вместе. Очень рад знакомству, надеюсь, подружимся.

Кочетов пожал Худову руку и вышел на улицу.

Все рассказанное было правдой, странной, невероятной, абсурдной и нелепой, но самой настоящей правдой. Сам Кочетов был, естественно, не последним звеном в длинной цепочке, а поэтому был доволен крайне удачным разговором с Худовым, принявшим, по большому счету, ситуацию как данность, а ведь мог полезть в бутылку, драться, ругаться. «Эх, хорошо-то как!» — сладко потянулся Кочетов, и лицо его стало не то чтобы приятнее, но добрее.

— Карты раскрыли, — докладывал он по телефону представителю лица, о котором не имел возможности сказать Худову. — Все сыграно на славу, клиент возражать не стал, так что за первый этап операции с тебя причитается, и не только банкет, а и еще бы премию... Да, не мешало бы... Сейчас с ним работает Гладышев, он приведет нашего друга в себя – и можно в путь... Гнать не хочется, предлагаю переночевать где-нибудь в Смоленске, а границу с Белоруссией пересечь завтра... Куда спешить? Все по плану... Ты сомневался во мне? То-то же!

Сегодня Кочетов позволял себе больше, чем обычно, ведь ему как никому было ясно, насколько хорошо все складывается! «Нет, ведь даже не возражал! Эх мы его к стенке-то приперли! Все-таки здорово, здорово!» — хвалил он себя и потирал ладони. Впрочем, все только начиналось. Может быть, не согласись Худов, многое бы казалось проще, не надо было бы этой дурацкой конспирации, создания имиджа, отработки легенды... Но разве она в тягость, эта совершенно невероятная работа, похвастаться которой могли бы, наверно, единицы на всем земном шаре, да к тому же оплачиваемая о-го-го как?

Полковнику в отставке Виктору Ивановичу Кочетову действительно принадлежала львиная доля идей, воплощаемых («Воплощаемых, ядрена вошь!») теперь в жизнь. Это он придумал сделать Худову (тогда еще неизвестно кому) пластическую операцию, а потом убедил начальство, и даже лично Львова, человека, допущенного к заказчику, что не надо скупиться и рисковать, чтобы соваться в какую-то замшелую российскую клинику.

— За границу, только за границу! — буквально кричал он.

— Ладно, Виктор Иванович, остынь, рассмотрим, — спокойно отвечал Львов. — Только подождать надо немножко.

— Да уж не тяни, пожалуйста, Петр Григорьевич, а то ведь дело завалим.

И Петр Григорьевич старался не тянуть, потому что понимал правоту слов своего подчиненного, а вернее, коллеги. И потом доверил Кочетову, позволил ему поехать вести переговоры, пока Худов еще был очень сомнительной кандидатурой. И маленькую частную клинику в польских Судетах нашел сам, и поехал ближе к зиме туда, чтобы осмотреться, убедиться, договориться. Хозяин, сухопарый поляк, похожий с виду больше на запорожского казака, Гжегож Венгель сносно говорил по-русски, так как учился в Москве и еще не растерял всего багажа русской речи.

— У меня все больные лежат конфиденциально. Если кто-то не хочет, чтобы его видели и знали о нем, я обеспечиваю это. Причем мне все равно, кто этот человек: злодей или сумасшедший, которому надо тратить деньги. Платишь — получи. На моих врачей не жаловался никто, а мои сестры наивысший класс.

— *Panie Węglu*, — просунулась во время разговоров лысоватая голова, — *matu informację, że nie brak mu forsy, a więc niech pan prosi więcej*.¹

Венгель, не отрываясь глазами от Кочетова, кивнул головой, изобразив тем самым, что сказанное вовсе не относится к теме беседы, а потом как бы невзначай заметил:

— Вы очень настаиваете, значит, вам очень нужно. Я могу дать дополнительные гарантии безопасности и секретности, но за это нужно платить. Я давно не врач, пан Кочетов, я бизнесмен, а поэтому вижу, когда торговаться можно, а когда нет. Сейчас я торговаться не буду, я назову сумму, а вы ее примете.

Сумма оказалась большой, но все-таки меньше той, которую хотели отдать за швейцарскую клинику, и Кочетов возвращался в Москву в некотором смысле победителем. Впрочем, Венгель оказался крепким орешком: запросил четверть суммы вперед, якобы для проведения дополнительных работ, и единственное, что мог выторговать у него Кочетов, так это выплату в январе, а не сразу. Понятно поэтому, что теперь, когда Худову объявили о его перерождении в Тушина, Кочетов беспокоился, насколько порядочен Венгель и не «кинет» ли этот воротила от медицины.

В общем план был до мелочей продуман, но никто не подозревал, что выполнение начнется внезапно, потому что вот уже на протяжении месяца придумывали, как вывести Худова из Корнюкова (так называлась усадьба, в

¹ Пан Венгель, мы имеем информацию, что у него хватает денег, так что просите больше.

которую его поместили), чтобы обслуга не заподозрила подвоха. Бегства никто не планировал, а рабочие попросту забыли вставить злополучную секцию забора, чуть не стоившую Кочетову головы.

— Ты ответишь, Виктор Иванович, по всей строгости ответишь! — кричал в трубку Львов.

А Кочетов дрожал и был готов сам, своими руками схватить этого гаденыша профессора, который оказался до такой степени неблагодарным, и не менее грозно кричал на Анатолия Александровича, на охрану, что всех, мол, к стенке, если не возьмете... Взяли! Кочетов вздохнул – и тут его осенило. Вот он, повод избавиться от Худова!

— Ну ты и голова, Виктор Иванович, ты и голова, — радовался Петр Григорьевич, который страшно боялся, что придется отчитываться перед заказчиком о бегстве. — В течение десяти минут жди моего ответа.

И не успел Худов вернуться к себе в комнату, как в Корнюково выехала спецбригада, которой было поручено умертвить Худова Павла Сергеевича. И никто из медиков не знал, что за препарат находится в ампулах. А дальше приехала как бы настоящая перевозка, в которой, кроме шофера, человека надежного, сидел Женя Гладышев, изображающий санитаря. И все: и Анатолий Александрович, и Вера, и Аня, и мулатка, и даже ничего не понимающий доктор – все потихоньку всплакнули и даже выпили «за упокой такого хорошего человека».

А такой хороший человек как ни в чем не бывало живой и здоровый сидел помещении, напоминающем врачебный кабинет, и покорно дышал в фонендоскоп нового знакомого Евгения Аркадьевича, показывал язык, задира л рукав, чтобы удобнее было измерять кровяное давление, даже зачем-то градусник сунули, а под конец услышал:

— Вы просто молоток, Павел Николаевич...

— Сергеевич, — перебил было его Худов, но спохватился: — Ах, да... Не привык, знаете ли.

Гладышев добродушно улыбнулся и уверенно, как говорят больным об излечимости болезни, сказал:

— Привыкнете.

— Зачем все эти врачебные изыски, когда я жив и если не бодр, то хоть бодрствую.

— Наркоз есть наркоз, — улыбнулся своей приятной улыбкой Евгений Аркадьевич, — а дорога предстоит неблизкая. Правда, условия – люкс. Это я точно знаю. Доедем с ветерком.

— Куда ж, если не секрет?

— У нас никаких секретов: в Польшу. Я с вами поеду. В Польше еще никогда не был. Страна, говорят, не ахти, но раз можно посмотреть, то что бы не поехать?

— Вы женаты? — зачем-то спросил Худов, хотя сам тут же внутренне задал себе вопрос, что это его понесло в личную жизнь доктора.

— Женат. Вернее, был женат, потом развелся, теперь снова женат. У меня дочке полтора годика, Маша. А от первого брака сын Аркадий. У нас уже много поколений то Аркадии, то Евгении. Так бывает, знаете?

Худов покачал головой, что знает.

— Я тоже был женат, потом развелся. Действительно, подходящий кадр: никто не ждет, не беспокоится. Только вот Тамару с Женькой жалко... У меня сына тоже Евгением зовут... Они же думают, что я того, в лучшем из миров. Так, говорите, Худова похоронили? Значит, цветочки на могилу носят. А что, Евгений...

— Аркадьевич.

— Ах, да, то Евгений, то Аркадий... Так вот, как полагаете, может мне тоже Худову на могилу букетик положить? Он нарциссы любил. Цветы, конечно, женские, но о вкусах не спорят. Своей жене накупит нарциссов, штук пятнадцать, притащит, а она ругает его, мол, куда столько денег потратил. Он вообще веселую жизнь любил, вот его в ресторане и прищучили. Ушел и не вернулся. Что вы так смотрите на меня?

Гладышев пожал плечами, улыбаясь все еще по-доброму, но уже с некоторой опаской, отдавая себе отчет, что получил не самого простого клиента. Впрочем, он понимал, что не дай бог попасть на его место. А с другой стороны...

— Послушайте, — прервал его рассуждения Худов. — А вы действительно Евгений Аркадьевич.

— Да, — удивился Гладышев. — Что вас смущает?

— Точно? Может, вас тоже переделали из кого-нибудь, сменили имя, пол не меняли? Нет, это здорово. Представляю себе компанию из людей, каждый из которых не тот, кем есть в данный момент. Это очаровательная ситуация для обсуждения в современной философии. Когда меня рассекретят, обязательно подкину такую кость, например, тисну статейку в «Вопросы философии». Вам не говорили, кандидат в президенты вправе писать научные труды?

Гладышев замешкался, его начинало давить присутствие Худова, который, увидев это, рассмеялся:

— Ладно вам тушеваться, я же шучу. В принципе я неплохой мужик. Наверно, плохого в президенты бы не стали толкать. Сдружимся. Это дело привычки. Я привыкну к фамилии и отчеству, а вы ко мне. А я к вам, — добавил Худов и сменил тему, попросив у врача сигаретку.

Курить, однако, не хотелось. Впрочем, это Худов понял, лишь затянувшись: прошиб кашель, да и настроение было настолько похабным, что никакой сигаретой его не поднять. Все складывалось как нельзя хуже. Он чувствовал себя новорожденным ребенком, с той только разницей, что мир тому совсем неизвестен, а Худов разбирается, знает, почем фунт лиха. Ни родных. Ни друзей. Ни дома. Ни семьи. Здравствуй, вот он я, Иван, не помнящий родства. Я умер (вот моя могила), а потом воскрес заново. Морду только чуть перекорежило. И фамилия в паспорте другая. Но это я. Не верите? Тамара. Женька. Афанасьев. Старуха Кузьминична. Все они остались в прошлой жизни,

все они похоронили Павла Худова, отплакали и продолжают жить так, как жили. «А может, все-таки не киснуть? — думал Худов, держа в руках зажженную сигарету, но не поднося ее ко рту. — Сколько было на свете людей, которые по той или иной причине вынуждены были начинать все заново? А Робинзон Крузо? А Гулливер? А полковник Шабер? Тому вообще пришлось не сладко. И вот я повторяю их судьбу. Надо же, все повторяется, ничего нового не в состоянии изобрести этот бездарный мир! Все было, все есть, все будет...»

Сборы были недолгими: Кочетов и Гладышев были готовы, а Худову оставалось одеться. Одежда снова оказалась новой, какой-то нелепой, неудобной, в нее не хотелось влезать. Худов поворчал, Кочетов же сказал, что визажист будет там, в Польше, а пока и это сгодится, чай, не на бал-маскарад едем. Во дворе стоял шикарный черный джип с черными тонированными стеклами. Он был чисто вымыт и грозно блестел на ярком, уже совсем не февральском солнце, даром что готовящемся закатиться за горизонт. Кочетов подошел к машине первым, раскрыл заднюю дверцу, собираясь забраться внутрь, но его остановил Худов.

— Пойдите. Походите. Один маленький вопрос. Вот вам, лично вам, Виктор Иванович, не страшно будет жить под президентом-марионеткой?

Кочетов ничего не ответил, но Худову показалось, что он попал в цель, потому что по внешне невозмутимому лицу проскользнула тень сомнения и отразилось что-то вроде боли, то ноющей, то заставляющей согнуться, скрючиться, охнуть или даже закричать. Но Кочетов выдержал этот укол и лишь мгновение помедлил:

— Садитесь в машину, Павел Николаевич. Поговорим в дороге.

Худов устроился посерединке между Гладышевым, который сел последним, и Кочетовым. Сиденья пассажиров отделяло от водителя такое же черное стекло, вероятно, звуконепроницаемое, потому что, чтобы дать водителю знак отправления, Кочетов нажал белую кнопку, расположенную рядом с его местом. Сам же шофер был хорошо виден, и Худов рассматривал его мощную шею, голова на которой казалась небольшим утолщением.

— Привыкайте, — неожиданно произнес Кочетов. — Это не только для конспирации, хотя и не без этого. У вас могут быть важные переговоры, которые совсем не для водительских ушей. Кстати, машина может иметь собственные, это тоже учтите.

— Так нас слушают? — спросил Худов.

Кочетов пожал плечами, мол, кто ж его знает, а почему бы и нет.

— Необходимая информация, — обратился он снова к новоиспеченному кандидату в президенты. — Пока вы едете по другим документам. Границу пересекать будете как Николай Петрович Ильин. Ясно?

Худов усмехнулся:

— Хорошо, что не Карл Маркс.

— При чем тут Карл Маркс?

— Да это я так, к слову. Мне однажды сон приснился (еще в прошлой жизни), будто в очереди мне нужно фамилию свою назвать. Помните, раньше

мы в очереди записывались, отмечаться ездили, циферки на ладонях писали? Не так уж плохо, как теперь оказывается, жили...

— Вам нравилось? — перебил Кочетов, посмотрев на Худова так, как смотрит контрразведчик на своего коллегу, заподозрив в нем шпиона.

— Не нравилось, но молодость. Кому ж не понравится? Но дело не в этом. Словом, мне нужно фамилию назвать, а я забыл, стою, глазами хлопаю, пытаюсь припомнить — ноль, не помню. И тут меня осеняет — во сне, представляете? — а кто с меня паспорт спрашивает? Я же могу хоть Карлом Марксом представиться, так и буду отзываться в этой очереди как Карл Маркс. Вот из положения и вышел.

— Что, назвались Карл Марксом? — спросил улыбчивый доктор, почему-то не просклоняв первую часть.

— Да нет, придумал что-то вроде Иванова, но суть не в этом. Сон в руку, вам не кажется?

Кочетов подумал про себя, что этот новоиспеченный Тушин — неунывающий человек: еще вчера помирал (сон длился приблизительно сутки), а сегодня уже шутки шутит, байки травит... «Может быть, таких вот судьба и метит, в президенты выталкивает?»

Все приумолкли, а машина мчалась на запад, навстречу раскрасневшемуся от мороза солнцу, пока еще рано заваливающемуся за горизонт. Худову говорить совсем не хотелось: как-никак разговорами он обделен не был, а вот незамысловатая зимняя картинка, все время меняющаяся за окном, казалась именно тем, чего он желал все долгие месяцы плена. «Может быть, совсем и не плохо, что они задумали такую безумную вещь, если не врут, конечно, — думал он про себя. — Хотя зачем им врать? Теперь-то зачем? Захотели бы прикокошить — посадили бы чего покрепче, такой шанс был. А если и вправду решили делать из меня президента, так на здоровье. Все равно из этого ничего толкового не выйдет, смех один». И Худов снова, как когда-то в самом начале своего плена, представил себе, как придет в гости к Афанасьеву, принесет с собой бутылочку водки, а для Гали, жены, винца (она пьет красное), и они целую ночь напролет проболтают, Афанасьев будет смеяться, заразительно, до слез, до кашля, будет дружески хлопать Худова по плечу и заводить его, называя Тушиным. Нет, теперь-то уж непременно все это будет, через полгода, через год — сколько он выдержит? — но будет. Эти ребята, Кочетов, доктор, совсем не казались злыми, грозными, даже опасными, просто у них что-то с головой, где-то заскочило, недовернулось, заело. С кем не бывает? Пройдет время — и они прозреют, а пока нужно пользоваться моментом — все лучше, чем в кутузке, пусть и шикарной, как отель.

— Пугает ли меня президент-марионетка? — вдруг проговорил Кочетов.

Худов вздрогнул, потому что подумал, что тот заснул, и никак не ожидал возобновления монолога.

— Нет, не пугает. Вероятно, невозможно стать президентом, в той или иной степени не будучи марионеткой. Президент не человек сам по себе, он

отражает чьи-то интересы. Вы ведь не станете утверждать, что один человек в состоянии отвечать чаяниям всего народа?

Худов усмехнулся, желая что-то сказать, но Кочетов то ли не заметил, то ли не хотел замечать этого и продолжал:

— Что значит марионетка? Это такой политик, который соизмеряет свои действия с некоей группой людей, обеспечивающей его президентство. Это всего лишь принцип «ты мне – я тебе». Что в нем дурного? В конце концов, противоположный полюс составляет авторитарный правитель. Извините, но вот этого я боюсь гораздо больше, чем человека, готового к диалогу.

— Проще куклу посадить. Например, куклу наследника Тутти.

— Господи, Тушин, вы все перевираете, вы все доводите до абсурда...

— Не подхожу?

— Вот-вот, я как раз об этом. Вы не можете понять, что есть глобальные, мировые решения, где одной головы мало, а есть текучка, ерунда, мелочи, и здесь – пожалуйста, проявляй себя.

— То есть вы хотите сказать, что у президента должна быть область, в которой он сам себе голова, а в другой он остается только номинальным властителем? Это чрезвычайно сложно выдержать больше, чем на бумаге. Вы же намереваетесь иметь дело с конкретным человеком, а человека непременно снесет: либо он все подомнет под себя, либо раскиснет, разжиреет и ограничит свою деятельность одним подписыванием бумаг. Знаете, меня не устраивает ни одно, ни другое.

— Так вы говорите сейчас, пока президентство для вас – журавль в небе, но когда вы ощутите власть, когда вы поймете, что власть – это не состояние, а движение, постоянное перемещение, деятельность, потому что земля будет уходить из-под ног, а рядом кто-то займет твердую платформу, вот тогда схватитесь за того, кто не даст вам сдохнуть, и станете поддерживать его, а он вас. Вот этот симбиоз и будет называться властью. Вы сами поймете, где вы свободны, а где нуждаетесь в поддержке, и учтите, чем предсказуемее вы будете себя вести, тем меньшей будете требовать опеки, а тогда, может быть, и не почувствуете, что пляшете под чужую дудку, потому что дудка эта будет и вашей дудкой.

— Послушайте: хорошо, но почему, интересно, я? Вокруг столько хороших людей.

— Чудак человек, — Кочетов усмехнулся, как-то хмыкнув, и в этой ухмылке почувствовалась искренность. — Вы же ученый, Тушин...

— Ученый Худов, а кто Тушин, я пока не знаю.

— Так вот, вы же ученый, а поэтому не можете не понимать роли случайности. Если обернуться вокруг, то мы увидим тучу людей и способных, и готовых стать президентом, но кому-то жребий выпадает, а кому-то – нет. Вам выпало, так радуйтесь же!

Худов кисло улыбнулся, потому что толком не понимал, чему должен радоваться человек, если его насильно поместили в клетку, держали там черт знает сколько, а теперь – без его согласия! – определяют в президенты.

— В конце концов, — продолжал после небольшой паузы Кочетов, — это не так уж и сложно. Президент, хотя он и президент, прежде всего человек, то есть некая сущность с весьма ограниченными возможностями. Президент — руководитель, и этим все сказано. У него как у человека имеется весьма скромный арсенал памяти, трудоспособности, общительности, внимания, у него возникают усталость и переутомление, ему свойственны всяческие слабости — одним словом, каждый руководитель обладает границами его физических возможностей. А отсюда следствие — любой руководитель, в силу объективной физической ограниченности, подобен всем остальным, а различие между руководителями лишь в предмете руководства, ну и в мере ответственности, само собой, так что, Павел Николаевич, одному повезло — другому нет. Вам повезло. Осознаете?

Худов усмехнулся, порылся в карманах, выудил пачку сигарет, собрался было прикурить, но остановился, чтобы взглядом спросить у Кочетова, мол, можно ли. Тот в голос расхохотался:

— Павел Николаевич! Вам все можно. Мне кажется, в конце вашего затворничества вы с этой мыслью если не свыклись, то, по крайней мере, начали привыкать.

— Вы говорите так, точно я уже занял президентское кресло.

— Это дело техники. Честно говоря, не вам рассказывать о манипулировании общественным мнением. Наш расчет основывается на том, что дискредитировали себя практически все общественные силы, кроме одной — интеллигенции. Когда-то она была почитаема, потом стала гнилой, потом ее вовсе забыли, а вот теперь как раз и возникло время вспомнить, что, как говорил вождь, есть такая партия. Посудите сами — коммунистам не верят, демократам не верят, рабочих нет. Кто остается? Нет, не скажу, что кресло у нас в кармане, но то, что мы будем дураки, если шанс упустим, скажу.

— И это честно?

— А как же, еще как честно! Мы же не намерены прийти временщиками, награть, оформить счета в швейцарском банке — и тью-тью.

— Всерьез и надолго? — улыбнулся Худов.

— Да, и не смейтесь, всерьез и надолго. Мы придем ради того, чтобы людям жилось не лучше, нет, не то слово, чтобы людям жилось просто хорошо. В любом случае кто-то у власти быть должен, так давайте стараться, чтобы это была сила достойная, а главное, нужная обществу. Но это все впереди, а пока нас с вами ждет работа, большая и сложная, которой никогда не занимались ни вы, ни я, так что предвкушайте, Павел Николаевич, все самое необычайное, великолепное, неожиданное...

Автомобиль с бешеной скоростью неся по зимней дороге на запад, чтобы покинуть родные просторы и оказаться в Польше, где, как задумано в плане, и начнется трудовой путь будущего возможного российского президента.

Вы когда-нибудь меняли свое лицо? Вы могли себе представить, что, посмотревшись в зеркало, увидите знакомое, но лишь отдаленно напоминающее

вам приевшееся и казавшееся застывшим изображение, перемены в котором обнаруживает лишь сравнение с фотографией? Вы были готовы к тому, что даже на ощупь лицо станет другим? Профессор Худов, который внешне все еще оставался Павлом Сергеевичем Худовым, стоял возле зеркала в палате шикарной косметологической клиники где-то на юге Польши и пытался все это понять. Впрочем, с момента его виртуальной смерти что-то случилось в нем самом, оставшемся жить пока только под чужим именем, но еще не в чужом облики: он все чаще и чаще впадал в некое безразличие, а к самому себе относился так, как относятся к персонажу телесериала, к которому привык, будто он стал родным и близким, но влиять на судьбу которого не в силах. Господи, если б год назад, прошлой зимой, когда все было еще в порядке, кто-нибудь подошел к Худову и сказал о предстоящей пластической операции, Худов даже не стал бы бить тому в морду, потому что рассмеяться было бы вполне достаточно. Теперь же, вдали от Москвы, в богатой клинике, затерявшейся в заснеженных горах, он покорно готовился к этой операции, потому что «медлить нельзя, нас с вами ждут огромные свершения». А сама эта идея президентства? Самое смешное, что Худов был готов верить во что угодно, даже в такую чушь. Когда попадаешь в сумасшедший дом, трудно остаться в здравом рассудке. И Худова то и дело посещали мысли, а уж не в самом ли деле эти мерзавцы задумали сварганить нового президента в лице Худова?.. Или Тушина? Пес их разберет.

Шел второй день пребывания Худова в клинике. По словам Кочетова, Худов теперь обладал полной свободой, но в рамках, предписанных будущим высоким постом. Что это значило, понять можно было с трудом, однако теперь Худова никто не сопровождал (по крайней мере, открыто), когда он собирался прогуляться по больничному двору, если не считать немолодую, но очень интересную сестру Дануту, а потом сменившую ее, кажется, Йоланту. Пациентам же разрешалось буквально все, за исключением разве что посещения операционной, куда, однако, без надобности никто и не стремился, и большинство людей (бесспорно богатых и занятых) прохаживалось по больничной территории и за ее пределами, наслаждаясь одиночеством. А именно этого и не хотелось Худову. К тому же существовал языковой барьер.

– Вам разрешается в нашей клинике буквально все, – говорил пан Венгель при первой встрече. – Я прошу вас лишь об одном: не навязывать своего присутствия другим пациентам. У нас не принято обсуждать вопросы лечения. Вы сами понимаете: кто-то здесь по прихоти, кто-то по необходимости. Это я говорю не только вам, а каждому, и надеюсь, что ни один человек не спросит вас, кто вы, пан Тушин.

– Как вам живется, Павел Николаевич? – спрашивал Кочетов, звоня по мобильному.

– Неплохо, только скучно безумно. Они ж тут басурмане.

– Скоро, скоро. Тут верстах в сорока будет наша база, подкупили замечательный домик, готовимся встречать вас. Потерпите, скоро все переменится.

И Худов снова ходил то по палате, то по больничному плацу, как он окрестил площадь перед корпусом, в одиночестве, в молчании. День он выдержал, а в конце второго подошел к сестре, по имени Йоланта.

– Sprechen Sie Deutsch?

Та покачала головой, улыбнулась. проговорила по-польски:

– Nie.

А потом, будто спохватившись:

– Я говорю по-русски.

Это звучало с акцентом куда более заметным, чем у усатого Венгля, но Худов просиял и был готов расцеловать русскоговорящую пани.

– Мы учили в школе, – добавила она. – Это было необходимо.

– А я соскучился, мне последнее время не хватало общения.

– Почему?

– Так получилось. Я вам не помешаю.

– Нет.

Ее *нет* звучало смешно, совсем не так, как Худов привык. В нем слышался лишний звук, отчетливый для русского уха И, и Худову казалось, что именно он придает особый шарм тому, как говорит пани Йоланта.

– Йоланта – это длинно. А как вас зовут дома?

– Ёлька.

– Ёлька? Так это же другое дело. Можно я тоже буду звать вас пани Ёлька. Или даже без пани, просто Ёлька?

– Конечно.

Зазвонил телефон.

– Извините. Hallo, słucham... Właśnie teraz rozmawia ze mną... W porządku... Nie ma kłopotu... Niech pan zadzwoni później...² Извините.

– Как странно, языки такие близкие, а я ничего не понял из того, что вы сказали.

– Извините, но я не могла говорить по-русски. Не все поляки говорят по-русски, не все хорошо учились в школе.

– Из этого следует, что вы отличница?

Йоланта засмеялась. И деланное смущение отразилось на ее лице. Впрочем, подумал Худов, когда человек говорит на иностранном языке, его поведение становится не столь естественным. Он и на себе это не раз ощущал.

– Так странно все складывается... Здесь можно курить?

– К сожалению, не можно... О-о (засмеялась), нельзя.

Худов тоже усмехнулся, а потом понимающе кивнул головой – клиника, конечно, курить только в специально отведенных местах...

– Да, так вот, все так странно. Не хочу вам морочить голову, но вам не кажется, что в жизни ничего не ясно сразу. У нас есть пословица: человек предполагает, а бог располагает... Это, конечно, идиома, надо толковать... Это

² Алло, слушаю... Как раз сейчас он разговаривает со мной... В порядке... Нет проблем... Не могли бы вы перезвонить попозже?..

значит, что человек совсем не кузнец своего счастья. Вы знаете, что такое кузнец?

– Kowal?

– Наверно, да, точно, точно. До чего же похожи языки! Так вот, человек сам не может выковать себе счастья. Или несчастья, это все равно. Вам не приходилось попадать в такую ситуацию, что вы идете в булочную, за хлебом, открываете дверь магазина, а там не магазин вовсе, а совсем другой мир, другая вселенная, в которой вы – совсем другой человек? Вы рветесь назад, в дверь, а двери уже нет. Это там, в вашем старом мире, была дверь, а тут дверей нет, как капкан, ловушка. Вы боитесь, что вас убьют, растопчут, выкинут вон за борт, а вас не убивают, не выкидывают, от вас требуют одного: жить по новым законам. Вы пробовали когда-нибудь жить по новым законам? О, это непросто. Нам только кажется, что умеем приспособливаться. Ни хрена мы не умеем, мы страдаем оттого, что потеряли... Короче, что имеем – не храним... Снова идиома. Не важно. Короче, очень плохо, что тут нельзя курить, а то бы мы с вами засмолили по сигаретке.

Йоланта улыбнулась, как улыбнулся бы любой человек, понявший в лучшем случае половину, и то половину только слов, за которыми не вставал ясный смысл.

– У вас неприятность? – спросила она.

Худов гримасой изобразил, что да, у него неприятность, если это можно так назвать.

– У вас хорошее лицо. Доброе лицо. Как по-польски будет лицо?

– Twarz.

– Тфаш? Нет, по-русски лучше. Лицо. Пускай у вас будет лицо, а не тфаш, ладно? Кстати, меня зовут Павел. Впрочем, вы должны знать, у вас же документы...

– Нет, мы не знаем, как зовут наших пациентов. Это конфиденциально.

– Ха-ха, в таком случае вам повезло, я открыл тайну. А ведь это правильно. Зачем знать, как нас зовут. Я много раз ловил себя на мысли, что читал студентам лекции, но совершенно не знал, как их зовут. На меня смотрели их глаза, глаза каждого в отдельности, но они сливались в некую массу, неразделимую, единую, плотную. Потом кто-нибудь поздоровается с тобой, ты ответишь, но он поздоровался с тобой, а ты ответил массе. Вот это народ, понимаете? Таков для правителя народ: правитель единичен, а народ – это масса, жижа, рой. Вы помните тех, кого вы лечили?

– Помню? Не всех. Мне кажется, я запомню вас.

– Значит, теперь мне повезло? И мне тоже, Ёлька, кажется, что если все будет хорошо, я вас запомню.

– Все кончится хорошо.

– Я о другом, – Худов понял, что она имела в виду операцию, – но это конфиденциально.

Потом, когда наступит тихая горная ночь, Худов, лежа в постели и вспоминая разговор с Ёлькой, решит, что, наверно, она должна записать его в

число каких-нибудь криминальных авторитетов, а уж никак не в кандидаты в президенты. Черт те что!

– Белый халат вам к лицу. Вы вообще очень интересная женщина.

Ёлька улыбнулась и смутилась, но ничего не ответила. «Она ведет себя не как медсестра, а как дорогая проститутка, которую приставили к влиятельной персоне, – подумал Худов. – Попробуй нашей сестре сказать что-нибудь подобное – мало не покажется. Вот жизнь!» Ей было за сорок, но она была похожа на девок, которых фотографируют для журнальчиков в рубрике «Медсестры»: коротенький белый халатик, белые колготки (лучше бы чулки), очки в золоченой оправе, красивые большие глаза и во взгляде что-то томное.

– У вас будет лучший врач, – сказала она, видимо, чтобы сменить тему. – У нас все врачи хорошие, но этот лучший.

– Да, мне говорили. Ольшевски, если не ошибаюсь.

– Olszewicz, – поправила Ёлька, произнеся фамилию точно по-польски.

– Ага, Ольшевич. Ольшевски – это профессор из Варшавы. Или из Лодзи. Забыл. Так вы говорите, лучший. Что ж, это хорошо. Я редко лежал в больницах. Был раз, когда мне неверно поставили диагноз, да еще давно-давно, в юности, я сломал ногу, но это ерунда, так что совсем не понимаю во врачах. Видимо, я буду плохой пациент, беспокойный.

– Это не важно. Это наша работа, – как по заученному ответила Ёлька и так же деланно улыбнулась.

С доктором Ольшевичем Худов познакомился уже через час, когда к нему в палату вошла Ёлька, сопровождавшая двух мужчин: одного постарше, где-то худовских лет, лысого и с небольшой бородкой, а другого совсем еще молодого, с мощным фотоаппаратом в руках.

– Это доктор Ольшевич, – представила Ёлька, – и ассистент доктор Ожеховски.

Доктора поприветствовали Худова и стали не расспрашивать его, как он ожидал, а рассматривать.

– Co powiesz, Zbyszku?³ – спросил Ольшевич.

– Za mało męskości⁴, – ответил тот.

– Tak, – одобрительно кивнул старший, – już dobrze widzisz. Co jeszcze?⁵

– Nos ma być węższy, inaczej będzie wyglądał na rolnika.⁶

Ольшевич кивнул головой и засмеялся, ничуть не смущаясь, разговор продолжился, но теперь уже пересыпаемый медицинскими терминами, а Худов продолжал стоять с глупым видом, потому что не понимал ни слова.

³ Что скажешь, Збышек?

⁴ Мало мужественности.

⁵ Да, уже видишь хорошо. Что еще?

⁶ Нос должен быть уже, иначе он похож на крестьянина.

– Dobrze, – доктор Ольшевич обратился наконец к нему. – Teraz zrobimy zdjęcia, abym mógł skonstruować nową twarz Pana⁷.

Ёлька перевела это, и к работе приступил доктор Ожеховски, которого старший просто называл Збышек. Худов чувствовал себя полным дураком: представьте себе, что вы фотографируетесь, к примеру, на паспорт, но только не один, а десяток, два десятка, три десятка раз, целую пленку отщелкивают, крутя фотоаппаратом у вашего лица, а при этом просят улыбаться, нахмурить брови, зажмурить глаза... Нет, Худов ни за что бы не согласился на это, если бы не... Если бы не... Даже сам он не мог ответить, что же такое произошло, что заставило его терпеть все эти издевательства, которые ему так и продолжали казаться глупой игрой. И как ни грустно делалось профессору, это *что-то* было, вероятнее всего, его собственной жизнью, потерять которую он боялся. Этот страх был даже сильнее ощущения, что в один прекрасный момент откроется дверь и в нее войдут Афанасьев, Тамара, Женька, Анатолий Александрович, Вера, сексапильная Ёлька – и станут смеяться, перемигиваясь, мол, как им удалось разыграть Худова, а сам он будет стоять с обезображенным лицом и с документами на имя какого-то Тушина.

Спустя полчаса пани Йоланта вошла к Худову в палату и нашла его лежащим на постели с широко открытыми глазами.

– Вам плохо? – подскочила она к нему.

– Хреново, – ответил Худов. – Очень хреново. Где тут у вас магазин? Или кафе?

Ёлька ничего не поняла и объяснила Худову, что это довольно далеко, но она могла бы помочь, сходить сама, Худов же не отказался только от денег, оделся и быстро ушел. Ночевать он не вернулся. Венгель был разбужен в два часа ночи обеспокоенной Данутой и пришел в ужас, что русский пропал. Еще он ругался, что так долго его не ставили в известность. Ёлька плакала в страхе, что теперь ее уволят. Ольшевичу тоже попало за потерю бдительности. Тот орал, что он врач, а не спецгент. Венгель кричал, что ни в одной другой клинике он бы столько не получал, так что мог бы быть и повнимательней. Словом, двое сотрудников охраны, поднятые по тревоге, выехали в соседний городок, куда, ни о чем не подозревая, отправила Худова Ёлька. И естественно, Худова нашли почти сразу в маленьком заведении, где хозяева оставили его проспать на здоровенном сундуке. Говорят, что он завалился сюда часов в шесть уже изрядно выпивший, по-польски явно не понимал, зато его главное слово: «Водки!» – было хорошо понятно. Худов подсел к компании мужиков и взял водки на всех.

– Хреново мне, мужики. Ой как хреново! – начал он свою исповедь, а так как мужики были вовсе не отличники, то понимали они только горячо изливаемые Худовым эмоции. – Вот если б мне рассказали, я б не поверил. Ты

⁷ Хорошо. Теперь мы сделаем несколько снимков, чтобы сконструировать ваше новое лицо.

думаешь, я президент? Посмотри, разве я похож на президента? Разве президенты такие бывают? Я профессор, доктор философских наук. И не смотри, что пьяный, может, профессора-то еще и покрепче других пьют. А эти козлы хотят сделать из меня президента: рожу мне заменят, я видел сегодня, так что, мужики, больше вы меня не узнаете. Может, оттого-то я так и разоткровенничался с вами. Водку пей, у меня деньги есть, я у врачихи занял. Как в президенты выйду, отдам. Смешно? А-а. И мне смешно. А если честно, то не до смеха. Вот вдруг они и правда меня выведут в президенты. Я не знаю, как тут у вас живут, а у нас – бардак, одно слово. Тут все может быть, и в президенты кого хочешь выведут, и в маршалы, а то и в расход пустят. Это просто, проще пареной репы. Ты вот спроси меня, боюсь ли я. Я тебе скажу да, но на самом деле я уже ничего не боюсь, потому что с мое поживешь, перестанешь бояться. Тебя вот на тот свет отправляли? А меня отправляли, я уже, можно сказать, другой человек, а тот я, старый, все-таки помер. Произошло отделение души от тела, но душа не отлетела, ее таинственным образом удержали и теперь вгоняют в новые мехи, понимаешь меня? Совершенно невероятная история, но так оно и есть. А тот, с кем вы сейчас разговариваете, есть мертвец. И я спрошу вас, страшно ли вам разговаривать с мертвецом. Нет. Потому что вы и не подозреваете, что я есть мертвец, только плоть, бездушная плоть. Вот когда мне плоть поменяют, я снова оживу. Меня клонируют, слышали такое. Я овечка, мать твою! Пей, братва. Я угощаю. Потом будете рассказывать внукам, как вас поил настоящий президент дружественной страны. А с другой стороны, я нужен. Понимаешь? Я нужен моему народу, потому что я не такой президент буду, как все они. Посмотри на меня, разве я ястреб? Думаешь, я сяду на престол и начну деньги загребать? Я философ, я профессор, я ученый. Может быть, я один-то и знаю, что делать. Вот прихожу я к власти, разгребаю авгиевы конюшни, и наш народ начинает жить по-новому. Сейчас совершенно доверия нет, никому доверия нет, и труда нет, а это альфа и омега, альфа и омега. Доверие и труд соединят общество, соберут людей вместе, чтобы создавать новое государство. Нет, я не против капитализма, я не коммунист, но я и против того безобразия, которое творится сейчас у нас. Так что, может, они и правы, что мне решили власть отдать. Мне нужна власть, а я нужен власти. Только ты не думай, что я один такой. Это случайность. Необходимость заключается в том, что надо изменить образ власти, а случайность – в том, что попал под эту категорию я, Худов Павел Сергеевич. Это, мужики, по секрету. Это по очень большому секрету, а то мне хана, вот так вот. С сегодняшнего дня моя фамилия Тушин. Абсурд? Да. Но разве ж в фамилии дело или в том, что твоя физиономия выражает? Не-а. Дело в естестве человека, в том, что скрыто за внешним. Понимаешь? Ведь в конечном итоге наши фамилии еще больше, чем наши имена, результат исторической случайности. Ты скажешь, это не так, потому что тебя родили конкретные родители, а общество воспользовалось конкретной формулой присвоения тебе фамилии. Ха-ха. А посмотри-ка вглубь. Что как не случайность было получение фамилии твоими

предками? Поэтому, будучи Худовым, ты запросто можешь на самом деле быть Тушиным. История часто ошибается, ребята, очень часто. Она может ошибиться, выбрав меня президентом, а может ошибиться, не выбрав меня президентом. Знаешь, как это называется? Это называется диалектикой. То-то же. Пей. Эй, пани, водки нам, всем водки. Я угощаю. Да, я должен думать о народе. Господи, все так просто: думай не о себе, а о народе. Это девиз, который должен быть под стеклом на каждом президентском столе. Думай, но не потакай. Чуешь разницу? Не надо полагать, что человек настолько совершенен, что не воспользуется слабостью другого. Я говорю о слабости, ибо потакать – значит проявить слабость. И вовсе не значит, что желания человека пойдут ему во благо. Вот я пью, а разве пьянство – благо? Пьянство – зло, значит, надо убедить меня, чтобы я много не пил. Но ты знаешь, я не пил с полгода. Там, на этой даче, разве это питье, это так, кошкины слезки, а интеллигентному человеку надо иногда надраться. Я не прав? Пить беспробудно – это низко, но надраться нужно, чтобы промыть себе мозг. С народом надо пить, но с народом нельзя надираться. Нужна дистанция между президентом и народом, и это будет народу во благо. Ничего, браток, мы вытянем, мы ж не так просты, как они думают. Они думают, что Худов – марионетка, а Худов – нет. Худов сам по себе силен. Они еще пожалеют... Нет, они поймут, насколько правильно поступили. Вот тебе и историческая случайность. А я приеду к вам с дружественным визитом. Напиши мне на бумажке, как тебя найти, я заеду.

Хозяин был крайне недоволен – и тем, что на ночь остался этот пьяный русский сумасшедший, который говорил без умолку, пока не упал мордой в селедку, и тем, что не дали поспать. Впрочем, надо отдать должное его благородству: он не стал требовать лишних денег, сказав, что клиент полностью расплатился.

– Ile Pani dała mu pieniędzy?⁸ – поинтересовался Венгель.

Йоланта махнула рукой, мол, неважно.

– Proszę, aby nikt się nie dowiedział o tym wypadku, – попросил Венгель по дороге. – Niech sam też milczy. Po raz ostatni pracuję z Rosjanami. To jest niebezpiecznie.⁹

Из этого Йоланта сделала вывод, что ее не уволят, и успокоилась. Пусть, в конце концов, голова болит у Ольшевича и Венгля, как они будут объяснять русским задержку в проведении операции, ведь сначала этого кретина надо привести в чувство, а только после этого брать анализы – вот и задержка на день-другой. Она бы и сама поскорее от него избавилась. Надо же, вначале он произвел на нее такое приятное впечатление, что она даже упрекнула себя в предвзятом отношении к русским, которые время от времени попадали в

⁸ Сколько денег вы ему дали?

⁹ Я прошу, чтобы никто не узнал об этом инциденте. Пусть он тоже молчит. Последний раз работаю с русскими. Это опасно.

клинику, были безумно высокомерны и нажирались, как скоты. Этот выглядел совсем по-иному, и вот, на тебе. Нет, все они одним миром мазаны...

Худов же и сам горько переживал свое похмелье. Неудобство перед Йолантой, разболевшаяся голова, необходимость скрывать ночной инцидент от Кочетова – все это на целый день заперло Худова в палате, и только к вечеру, когда в коридоре на сестринском столике зажглась мягким светом настольная лампа, приятно освещавшая лицо сидящей женщины, он вышел.

– Я вам доставил беспокойство?

Йоланта улыбнулась, ничего не ответив, и в этом молчании можно было прочесть как прощение, так и раздражительность, впрочем, другого сложно было ожидать.

– Деньги я отдам на днях, когда ко мне приедут, я уже позвонил и попросил. Не переживайте, я ничего не сказал, я просил на книги. Извините меня ради бога. Понимаете, у меня в последнее время такие перемены в жизни, что ... Если бы вам, к примеру, сказали: «Собирайтесь, завтра летите в космос», – что бы вы сделали? А отказываться нельзя. Скажем, от этого зависит жизнь ваших близких. Что делать? Вы принимаете меня не за того, кто я есть. Меня, к сожалению, нельзя принять за того, кто я есть, даже в самой бурной фантазии. Единственное, я не бандит. Это точно. Послушайте, а сколько вам лет, Ёлька?

– Разве женщин об этом спрашивают?

– Конечно, спрашивают. Они не всегда отвечают, но спрашивать – спрашивают, вслух или намеками, это все равно.

Йоланта слегка залилась краской. Раньше она бы стала кокетничать, но теперь...

– Сорок, – ответила она тоном, каким могла бы назвать цену торговка на рынке, не склонная ее сбавлять.

– Я так и думал.

– Вы не дали мне меньше?

– Дал. Потом подумал, что дал меньше, и дал сорок.

– На самом деле мне сорок два.

– Вот видите, я не угадал. Вы замужем?

– *Wyłam*, – почему-то ответила Йоланта по-польски, но Худов понял.

– Дети?

– Сын Яцек. Ему пятнадцать. Он у моей матери в Варшаве.

– Мой чуть старше. Я не видел его больше полугода. Это не по моей вине, – стал оправдываться Худов, хотя Йоланта не давала для этого поводов. – Родители разводятся, дети страдают, но мы с Тamarой – это моя жена – в хороших отношениях, с Женькой виделись часто, а тут такое дело. Словом, все очень странно. Извините, просто не с кем поговорить. Вы первый человек, который не участвует в моей судьбе, за полгода. Извините, я навязчив. Деньги будут скоро.

Худов ушел в палату, просидел в ней до ночи. Лег спать. Не спалось. Часа в два, накинув на плечи халат, он вышел в холл. Все так же горела настольная лампа, но сестры за столом не было. Вероятно, она спала в комнате с

полуоткрытой дверью или ушла к кому-нибудь из больных. Худов подсел к ее столу. Нет, пьянство не помогло, на душе все так же скребли кошки, а тут еще доставил хлопот этой милой Ёлке. Дело было не в морде, которую не сегодня завтра перекроют, и не в президентстве, которое казалось если не сумасшествием, то химерой. Худов почувствовал, что перестал жить своей жизнью, из которой ушли и Тамара, и Женька, и Кузьминична, и Афанасьев, и Таня Боровская, и даже дура Родионова, жизнь шла где-то в стороне, а он... Он... Наверно, он действительно умер, а Кочетов ничего не придумал, все так и есть... Худов вытащил из кармана пачку сигарет «Parliament» и машинально закурил. Вообще-то где-то рядом находилось безумие, и избежать встречи с ним можно было бы только начав жить по-своему. Вот именно это и произошло позавчера, когда Худов двинулся в кабак. В конце концов, он свободен. Ему же сказали, что он свободен...

– Вы с ума сошли! – прервал его сдавленный крик Йоланты, выбежавшей из своей комнатенки. – Курить нельзя. Что с вами? Почему вы не спите?

– Вы одна живете, Ёлка?

Худов затушил сигарету.

– Да.

– Пригласите меня к себе в гости. Прямо сейчас, а то я и впрямь сойду с ума. Вы далеко живете?

– Вы хотите в гости прямо сейчас?

– Немедленно. Собираемся? Десяти минут вам хватит?

– Послушайте, мне казалось, вы разумный человек, я чуть не потеряла из-за вас место, а теперь вы снова меня сбиваете с пути.

– Да несколько. Я просто прошу о помощи. Помощь не всегда выражается в деньгах или вообще в чем-то материальном. Бывают ситуации, когда нужно всего-то поговорить или пригласить человека в гости. Может быть, он этим спасется. А может быть, и нет. Но шанс, понимаете, шанс.

– Я вас не понимаю. И боюсь.

– С первым согласен. Понять меня невозможно, но вот бояться – не надо. Я же не делаю ничего плохого. Я только прошу вас об одном: прямо сейчас поедemте к вам и посидим. Если у вас дурные предчувствия, откиньте. Я даю вам слово: я не прикаснусь к вам. Бутылка шампанского, коробка конфет, свеча на столе – это все, что мне нужно. Поймите, я тоскую по домашнему уюту. К утру мы будем здесь. Никто не заметит.

– Я же на работе.

– Мне кажется или вы действительно опекаете только меня?

Йоланта замялась.

– В этом отделении, кроме вас, пока никого нет.

– Отлично. Значит, вы не покидаете рабочего места, если сопровождаете пациента, верно? Сюда ведь скорая помощь никого не привозит. Они лежат где-то в другом месте, так? Мы садимся машину, едем в магазин, берем все это – и к вам. В шесть, а если хотите, в половину шестого мы будем на месте. Зазвонит телефон, мы скажем, что вы ходили в палату. Годится?

– Но почему мы не можем поговорить здесь?

Худов плюнул от злости.

– Потому что здесь все казенное. А мне очень нужен уют. Вы единственный человек, с которым можно нормально поговорить. Я прошу сделать мне такое одолжение. Итак?

Йоланта молчала.

– Жаль, – грустно проговорил Худов. – Знаете, что мне снится? Будто я еще маленький мальчик, поздняя осень, но еще не зима. Я не знаю, как это у вас, а у нас таким бывает конец октября. Мы собираемся в гости: я, папа и мама. У бабушки болит голова, она останется дома, а поэтому ходит, суетится, чтобы мы то не забыли, это, проверяет, начистил ли я ботинки. Папа надевает белый длинный плащ, мама поправляет какую-то смешную, на мой взгляд, шляпку. Все то и дело смотрят на часы. И вот мы выходим. Москва пустая, какой она была по выходным попозже, уже в семидесятые. Мы где-то в центре, наверно на улице Горького, заходим в магазин, покупаем бутылку вина, а потом берем такси и едем. Я смотрю в окно, так жадно, как будто больше никогда не увижу этого города. И это правда, надо жадно смотреть, потому что однажды наступит такой момент, что бывшее утрачено, а ты не заметил, как это произошло. Так вот мы приходим в гости. Там масса народу (или мне это только кажется). Старые тетки, о которых дома мама с отцом говорили с иронией, нагибаются надо мной, глупо по-взрослому шутят, а я не могу сдерживать улыбки, вспоминая, что говорили о них родители, им же кажется, что они удачно острят. На диване сидит дядя Саша, такой важный и серьезный, не хочет говорить со мной. Я его боюсь. Он мне кажется уже совсем не молодым, хотя ему на самом деле лет сорок пять, а вот его жена, толстая такая, добрая, называет меня зайчиком. Но взрослые меня совсем не интересуют: пока не придет мой двоюродный брат Виктор, я буду просто ходить по этой квартире, по обыкновенной московской квартире. Ёлка, обычно во сне должно что-то произойти, а у меня ничего не происходит, приходит только это ощущение дома, и я не знаю, чего здесь больше – тоски по детству или по дому.

Пока Худов говорил, он смотрел куда-то в сторону, теперь же перевел взгляд на Йоланту, однако ожидаемого сочувствия в ней не увидел. Напротив, глаза ее налились какой-то суровостью. Возникшая пауза, как видно, оказалась для нее тяжелой, и она еще суровей посмотрела на Худова.

– А знаете, что снится мне? – прервала она тишину. – Мне снится мой сын, которого я не видела с сентября, потому что уехала сюда, чтобы зарабатывать деньги. Может быть, я слишком просто устроена, во мне нет вашей сентиментальности, но мне надо кормить сына и сделать так, чтобы поменьше работала моя мать. Я не знаю, в чем ваши проблемы, и не хочу знать. Я врач, а приехала сюда и стала то ли горничной, то ли девкой. Я должна выполнять желания посетителей и понимаю, что сейчас рискую, потому что у вас много денег, вы утром скажете доктору Венглю или Ольшевичу, что Йоланта была невнимательна к вам, но вы меня поставили в такое положение, что мне нечего делать. Если я уйду с вами, меня все равно уволят, потому что этого делать

нельзя. Как же я ненавижу вас всех. У вас куча денег, вы удовлетворяете свои прихоти, а мы должны улыбаться вам, как будто вы нам приятны и лучше вас никого нет в этом мире.

Худов думал, что она расплачется, что ему придется унимать женскую истерику, что она раскричится на всю больницу, но ничего этого не произошло: Йоланта оставалась все с тем же суровым, каменным выражением лица, способным привести в дрожь собеседника.

– Простите, – пролепетал Худов, – я не хотел вас обидеть. Я не скажу о нашем разговоре никому. Деньги будут завтра. Извините, пани Йоланта, я ошибся.

Он медленно пошел прочь, не оборачиваясь, а перед дверью в палату все-таки взглянул на Йоланту: она стояла, не меняя позы, а к жесткому выражению ее лица примешалась еще и видимость одержанной победы.

«Я чего-то не понимаю, – думал Худов, лежа в постели, не в силах уснуть. – Эта женщина казалась мне такой мягкой, душевной, но на проверку вся ее человечность вышла напускной, неискренней. За что она меня так? Или это я был виноват? Послушай, Худов, а не привык ли ты к тому, что все пляшут вокруг тебя, а ты капризничаешь, желаешь, повелеваешь, и тебе это нравится? Вот совершенно другой пример. Естественно, ее собственный сын ей в сотню раз дороже твоих прихотей. Ты же разнылся, как баба, которой шлея под хвост попала. Терпи. Если станешь президентом, будешь жить для таких, как эта Ёлька. Человек не должен идти на жертвы в обычной жизни. Вот первая заповедь, вот первый урок, который преподнесен тебе. А ты оказался свиньей: тебе самому плохо, а про другого ты и не подумал. А с другой стороны, наша русская баба так бы не поступила. Не знаю, повела ли бы она меня к себе домой, но вот выслушать выслушала бы, да еще посетовала, как тебе, милочка, тяжело. А вот свои беды скрыла бы. Господи, как я хочу домой!»

И Худов погрузился в раздумье, глубокое, тяжелое, щемящее душу, вызывающее боль в сердце. Как всегда в последнее время, нагрянули воспоминания, видимо, потому, что настоящего у него практически не было, но только теперь ему вспомнилась комнатка на даче, где он провел добрых полгода, и те люди, которые были, оказывается, гораздо теплее и душевнее, чем можно было предположить вначале, и среди них особенно вспоминал он эту незамысловатую, но очень хорошую девушку Веру, которая, если верить Кочетову, осталась в неведении относительно его, Худова. В последнюю минуту со слезами на глазах она провожала его мертвого и до сих пор убеждена в смерти бывшего постояльца, а в замыслах его новых хозяев было вселить именно эту мысль в наивные головы подчиненных! И это означало только одно: Худову не суждено будет встретиться с ней. Более того, сначала он подумал просить Кочетова разрешить встречу с Верой, но потом (наверное, вовремя) сообразил, что это рискованно, не для него – для нее, потому что эти серьезные дяди, зная о намерении Худова, не побрезговали бы ее убить, чтобы не раскрыть страшной тайны. «Все могут короли!» – с грустью заметил Худов и решил не говорить с Кочетовым о Вере.

– Я хочу спросить у вас... – неуверенно пролепетал Худов, когда назавтра Кочетов привез деньги («Не надо мне ничего отдавать, это с вашего счета. Туда с октября поступает по две тысячи долларов в месяц, это ваш, так сказать, оклад, так что тратьте, Павел Николаевич, не стеснясь»).

– Я слушаю вас, – ответил Кочетов обычным скучно-гнусавым голосом.

– Я хочу спросить у вас о моих... Жена, хоть и бывшая, сын... Как они? Они думают, что я... что меня нет?

– Естественно. Они очень переживали ваш уход. Я был на похоронах, выразил соболезнование.

– Боже мой, какой цинизм!

– А вы хотели бы, чтобы я сказал: «Не верьте, это не он. Он жив и здоров, скоро приедет»? Жена была очень расстроена, плакала. Мне ничего другого не оставалось.

– Кто еще там был? С работы?

– Да, очень много, хорошо о вас отзывались. Ваш друг, Афанасьев, не плакал, но стоял очень мрачный. Честно говоря, его мне было жалко больше других, все-таки не предавал.

– Тамара тоже не предавала, просто так сложилось.

– Может быть, но Афанасьева все равно жалче. В конце концов, это мое субъективное...

– Наверно, вспоминают меня.

– Не обольщайтесь: покойника, pardon, только сначала поминают, а потом жизнь идет без него, он перестает быть участником событий. Да оно и хорошо. Что вечно плакать-то?

Худов покачал головой, соглашаясь с Кочетовым.

– Какая мерзостная жизнь!

Он лег на кровать и отвернулся к стене. Кочетов вышел.

– Бойтесь? Не бойтесь. Доктор Ольшевич – мастер, художник.

Подносить зеркало к лицу пациента всегда доверяли Йоланте, вот и сейчас она стояла в палате Худова с большим круглым зеркалом, самым лучшим, как считалось, в клинике, отражающим лицо так, как оно выглядит в действительности, без искажений. Бывали разные случаи, когда с людьми случалась истерика (особенно после аварий или пожаров) или когда клиенты побогаче вставали в позу, мол, получили не то, что хотели. И здесь пани Йоланта становилась незаменимой: у нее был какой-то природный дар находить нужные слова и тем самым успокаивать человека, который после десяти минут общения с ней если не обретал душевного покоя, то входил в привычные рамки – это точно. Иногда Йоланта приходила одна, но когда случаи были сложные или пациент своеобразный, ее непременно сопровождал врач. Вот и сейчас Ольшевич незаметно стоял как бы на втором плане, внимательно наблюдая, как Худов отнесется к своей внешности. Ольшевич не был исключением: он с недоверием относился к пациентам из России, которые хотя и платили немалые деньги, доставляли своими капризами массу хлопот. И от этого

пятидесятилетнего мужичка, которому по каким-то темным причинам понадобилось стать неизвестным, можно было ожидать всякого, так что Ольшевич особенно напрягся, когда Худов громко выдохнул, словно бы перед двумястами пятьюдесятью граммами водки, закрыл глаза, а открыл, уже глядя в зеркало. Как человек философского склада, умеющий видеть ситуацию вообще, он готов был воскликнуть: «Вот это мастер!» – но не воскликнул, потому что отвлечься от образа совсем возможности не имел: как ни крути, из зеркала смотрела на него его новая физиономия, с которой жить, может быть, еще немало, а к старой возврата нет... Ольшевич следил за мимикой молчащего Худова, пытаясь понять, что же скажет русский, доволен он или нет. Худов же молчал и жадно разглядывал лицо, которое, безусловно, напоминало Худова, но, вероятно, было уже Тушиным. Удивляло то, что Ольшевич работал штрихами, меняя не столько сам облик, сколько его внутреннее содержание. Нет, теперь Худова нельзя было бы назвать тряпкой. Тряпка с лицом, исполненным мужества и собственного достоинства? Нет, извините. Волевые скулы. За счет чего? Как это ему удалось? Что-то с разрезом глаз? Нет, все как будто бы без изменений. И только сами глаза убеждали, кажется, и самого их владельца, что перед ним зеркало, а не какой-то телевизионный монитор нового поколения, реагирующий чужим лицом на твои собственные гримасы.

– Вы мастер, – наконец выдавил из себя Худов, а Ольшевич со спокойствием выдохнул.

Теперь можно было продолжать работу с пациентом. Операция была дорогая и сложная, добавлялась нервозность, связанная с самим Худовым и с его то ли начальниками, то ли подельщиками, которые без конца звонили, спрашивали, требовали... Теперь оставалась только небольшая терапия – и пациент перестанет быть таковым. Снова покой!

– Странное ощущение, – говорил Худов, пока Ольшевич осматривал его. – Это ты и не ты сразу. Наверно, вам об этом говорили, но вот изнутри почувствовать это – поразительно. Я не знаю, нравится ли мне новое лицо, я привык к тому, которое выбросили на помойку, но отвлеченно – оно профессионально выполнено.

Йоланта переводила, спотыкаясь на неожиданных образах худовской речи, Ольшевич слушал, казалось, вполуха, увлеченный работой, но когда закончил, сказал:

– Jestem przekonany, że istnieje związek między twarzą człowieka, jego powierzchownością a duszą. Zmiana w twarzy odbija się w jego duszy. Inaczej być po prostu nie może. Niech pan to pamięta. To jest ważne.¹⁰

Худов и сам этого боялся, поэтому впервые за все время пребывания в клинике подошел к Ольшевичу и по-мужски крепко пожал ему руку. До этого Худов видел в докторе-художнике подмастерья дьявола, который ничтоже сумняшеся покусился на божественное создание; теперь же перед ним стоял человек, которому не чуждо сострадание, а значит, и страдание, и боль, и

¹⁰ Я убежден, что существует связь между лицом человека, его внешностью и душой. Изменение лица отражается в его душе. Иначе просто не может быть. Помните это. Это важно.

участие, для которого пациент не масса мышц, из которой лепится нечто, а высшее творение, и этот доктор, с того момента как взялся за скальпель, за него тоже в ответе.

Ожидание всегда страшнее ожидаемого. Тебе ведь тоже, не отнекивайся, читатель, приходилось, сидеть в очереди к зубному врачу и с трепетом ждать приема; потом, уже в кресле, ты чувствовал, как страх проходит, а когда твой язык нащупывал по дороге домой шершавость свежей пломбы или зияющую пустоту вырванного зуба, жизнь и вовсе не казалась такой мерзкой. Так и наш герой, обретя новую внешность, махнул рукой на прежний пессимизм и начал привыкать к произошедшим. А накануне, не станем скрывать, был близок к тому, чтобы наложить на себя руки – и это от такого-то пустяка! Иная дама только и ждет, когда муженек по неосторожности оставит на видном месте пачку – другую зеленых, чтобы бежать в косметологическую клинику, а тут, можно сказать, на блюдечке с голубой каемочкой приносят омоложение и облагораживание в одном флаконе! Худову было не по себе. Даже Йоланта, несмотря на ее недавнее отвращение к чудачу русскому, зашла в палату и с участием спросила, не надо ли чего. Худов растаял, подумал принять ее расположение за чистую монету, но вовремя опомнился:

– Спасибо, Ёлька, мне ничего не нужно. Вы очень добры.

Йоланта поняла, что таким незамысловатым способом ее выставили за дверь, премило улыбнулась и вышла.

Теперь же все настолько изменилось, что Худов сам пошел на мировую:

– Я хочу объясниться с вами, Ёлька. Извините, все так глупо вышло. У меня ведь действительно не было никаких дурных намерений, а получилось, что я доставил вам столько неприятностей. Никогда нельзя думать только о себе. Банальность? Но ее забываешь – и попадаешь впросак, то есть в неприятную ситуацию. Вы очень милый человек, вот и все. А я на сегодняшний день совершенно одинокий мужчина. Одинокие мужчины хуже одиноких женщин: вас держит сын, а что держит меня? Вот и позволяешь себе. Словом... не хочу возвращаться к тем разговорам. Все сказано. Как я вам в новом виде?

– Доктор Ольшевич – отличный врач, – ответила Йоланта уже известной Худову сентенцией, из чего он сделал вывод, что диалога не получается.

Он хотел было сказать что-то еще, но был прерван донесшимся откуда-то со стороны лестницы обращением:

– Павел Николаевич.

Мгновение спустя Худов поймал себя на мысли, что откликнулся не на свое новое прозвание, а на русскую речь.

– Павел Николаевич, – повторилось уже ближе и, естественно, громче, и в холле показался молодой человек лет тридцати с небольшим, круглолицый, чем-то похожий на Ленина, еще не лысеющей, но, судя по жидким светлым волосам, склонный к этой мужской слабости; лицо его, не отмеченное аристократизмом, выдавало человека неглупого, нагловатого, а костюм-тройка, отутюженный, аккуратный, дорогой – уверенного в себе.

– Павел Николаевич? – открыто улыбаясь, протянул он руку с большим серебряным перстнем. – Я Авдеенко, Владислав Авдеенко. Очень рад знакомству.

Худов припомнил, что, кажется, Кочетов называл такую фамилию, однако совершенно не помнил, что за ней скрывается. Видимо сомнение отразилось на новом лице Худова, так что гость пояснил:

– Я писатель.

Худов закивал головой, сообразив, о чем, собственно, речь, и пригласил посетителя в палату. Еще несколько дней назад он бы тяготился визитом, а сегодня – пожалуйста, благо в палате журнальный стол с приставленными тремя креслами, чтобы, видимо, соображать на троих.

– Как вы чувствуете себя? – спросил, садясь, писатель, а поскольку вопрос все-таки был скорее протокольным, то, не дождавшись ответа, выудил из толстого портфеля плотный бумажный пакет и протянул Худову: – Это гостинчик. В больницу как-то нехорошо с пустыми руками.

Худов поблагодарил и рассмеялся.

– Спасибо. Тут, конечно, все есть, но зато домом запахло, Россией. Спасибо, Владислав...

– Помилуйте, никаких отчеств. Просто Владислав, или Слава. Мне приятно. Собственно, я-то с вами заочно знаком... Вам рассказывал Виктор Иванович? Мне было поручено писать историю. Так сказать, я творческий центр проекта. Меня, как и вас, нашли случайно, а потом принудили. Я работал журналистом в газете, такого весьма желтого вида, а для себя вечерами писал роман, исключительно в стол, так моя девчонка прочитала его и стала давить, мол, надо печатать. Это человеку со стороны напечататься трудно, а когда с издателями приводилось пить – пара пустяков. Им ведь главное – касса, а читать романы они не читают. Так вот там речь шла о похищении человека, который на самом деле похищен не был, а отсиживался на даче, убежал от жены. Чтобы читался, я добавил кровушки, убийства на этой почве, но это не главное. В первом варианте всего этого не было. Словом, выпустили, я получил за него какие-то смехотворные деньги и забыл. И вот летом приезжает ко мне в газету человек, как выяснилось, Виктор Иванович. «У меня, – говорит, – к вам есть деловое предложение. Пойдемте в кафе посидим, потолкуем». Пошли. Он стал мне вешать лапшу на уши, что сам имеет отношение к театру и кино, что ему понравилась моя книга и у них родилась идея особого проекта, который не кино, не театр, не телесериал, а особый жанр, совершенно новое искусство, максимально приближенное к жизни. Надо же, подлец, как попал. Что еще художнику надо, как не что-то новое? Я и клюнул. Он назвал мне адрес, куда я должен приехать. Помню, под ливень попал, весь мокрый, прихожу. Сидит он и еще один мужик. «В общем, – говорит, – парень, тут все немного поменялось. В проекте ты участвовать будешь, но он абсолютно жизненный. Дело государственное, так что если пикнешь – прибьем. Надо написать биографию человеку, такую, чтобы никто не прикопался. Тем самым ты посвящаешься в государственную тайну. Вот бумага, подписывай». Там, значит, стояло, что я

должен уволиться с работы по собственному желанию и поступить в полное их распоряжение. Мне полагалось жалование в зависимости от качества выполняемой работы. И должен был я держать язык за зубами, иначе – каюк. Я испугался, но отступать-то некуда: вижу, мужики серьезные, не из таких, которые в игрушки играют, к тому же сумма в контракте значилась приличная. Я мысленно перекрестился и подмахнул этот договор с дьяволом. Однажды мне показали вас. Вы об этом даже не знаете. Дело было летом. Мы с Виктором Ивановичем приехали к вам в институт и встретили вас в буфете. Вы там были с вашим другом Афанасьевым, а мы пристроились сзади, чтобы я воочию увидел свой персонаж. Обычно по-другому бывает: если снимается, скажем, кино, то режиссер ищет типаж, соответствующий тому или иному герою, а я пытался понять, какая история подошла бы вам. Знаете, получилось увлекательно. Правда, честно признаюсь, мне как-то жутковато стало: вот стоит человек, ничего не подозревает, мало того, что готовятся перекроить судьбу, тут еще и другую биографию приляпать надо, хотя о деталях проекта я тогда еще имел довольно смутное представление. Потом, уже осенью выбрали двух девочек, Аню и Веру.

– Все, что мне говорила Вера – ложь? Это тоже придумано вами?

– Я не знаю, что она говорила, она, как и подруга, настраивалась на совершенно определенную роль.

– Она не ездила в Ленинград одна, без класса?

– Простите?

– Такая история, когда ее не взяли на экскурсию, а она туда, автостопом?..

– Не знаю. Мы такой истории не сочиняли.

Худов выдохнул. Это была правда. Он был уверен, что это правда. Он очень хотел, чтоб она не обманывала его, эта милая Вера!

– Мы решили не ограничивать их темами разговоров, чтобы не заподозрили. Им же не рассказывали, какая цель. Вы можете себе представить, чтобы *такое* стало известно какой-то девчонке, у которой интеллекта с булавочную головку...

– Это вы про кого? Про Аню?

– Да что Аня, что Вера – один черт, одинаково бестолковы. У вас другое мнение? Ну, может быть, вы с ними общались побольше моего, а мне сдалось, что бестолковые. Так что же им сказать, мол, вот этот человек готовится к тому, чтобы стать президентом? Этого даже Анатолий Александрович не знал...

– Имена настоящие? – перебил Худов.

– Имена? Да, естественно. Опять же, Павел Николаевич, это наведет на мысли. А нам лишних догадок не нужно. Мы решили тут действовать без особого нажима: они должны были обеспечить ваш быт – и точка. Им нельзя было выяснять причин вашего задержания, хотя им сказали, что вы задержаны. На этом я настоял: иначе бы вы им рассказали, все равно они бы оказались информированы. Но это все мелочи, главное – вы, и та задача, которая передо мной стояла – это ваша легенда, над чем теперь будем работать вместе. Ваша

биография меняется, вы изменили внешность, теперь изменим историю. Страшно звучит? Но зато могущественно: чего только не может человек!

– Ошибаетесь. Человек ничего не может. Выдумать – велико дело. Все искусство на выдумке, а вот по-настоящему переделать историю мы не можем, вы не можете, я не могу – никто не может. Не по зубам-с.

Авдеенко хитро посмотрел на Худова, выдержал небольшую паузу, а потом продолжил:

– Это смотря что считать историей. Если история – это действительно происходившие события, имевшие место, как вы говорите, в жизни, тогда вы правы. Но только история не всегда такова. История скорее это лишь наши представления о прошлом, некое идеальное видение, заблуждение общественного сознания, массовое заблуждение, а тогда мы и вправду будем делать историю, будем морочить голову ничего не подозревающим гражданам, которым по сути все равно, насколько правда то, о чем им рассказывают. Главное, чтоб знать, знать о человеке, которого видят по телевизору. А мы им поможем.

– А вы не боитесь, Владислав, – перебил Худов, – что вас убьют?

– Кто?

– Ваши заказчики. Вы слишком много знаете, вы знаете, что за правду выдали выдумку.

На лице Авдеенко застыла улыбка, деланная, как показалось Худову, заставившая писателя снова остановиться в своем словоизлиянии.

– Боюсь? – повторил он. – Не больше чем вы, потому что вы тоже все знаете.

– Ну, это вы переборщили. Во-первых, я уже не боюсь, я уже свое отбоялся. Меня крали, убивали, это страшно, но, как оказалось, не смертельно. Во-вторых, я нужен. А вы? Вы перестанете быть нужным, как только придумаете свою историю, а дальше вы будете куда более опасны, чем, скажем, девочки, развлекающие будущего покойника. Я бы вас убрал.

И Худов засмеялся. И в его смехе Авдеенко показалось что-то зловещее, недоброе, тревожное...

– Меня?.. – пролепетал он. – Вы полагаете, меня убьют?

Он явно не готовился к такому развитию событий, и пророчество Худова застало его врасплох. Худов снова рассмеялся.

– Бросьте, Владислав. Вы шуток не понимаете, хотя в каждой шутке, по крайней мере в каждой удачной шутке, есть доля серьезного. Я же только фантазировал. Согласитесь, мы попали в очень неприятный спектакль: что я, что вы. Если бы не эти странные люди, сидели бы мы с вами каждый в своем доме, я бы чай пил с соседкой, вы бы строчили очередную главу безобидного романа, который дали бы почитать подружке, но друг с другом бы не встретились, верно? А тут оказывается, что надо играть в этой замысловатой пьесе. Вы же не меньше актер, чем я. Вы думаете, что будете автором, а автор, насколько я понял, это только одна из ролей, данная вам кем-то другим, так сказать, автором с большой буквы, над которым стоит, возможно, еще один кукловод. Или я не

прав? Знаете, начиная с дня моего похищения, я строю предположения, и еще ни разу не попал в точку, из чего можете умозаключить, что прогност я неважный, поэтому не бойтесь: сказанное мной – только один из возможных вариантов.

Авдеенко за всю реплику Худова согласно кивал головой и глупо улыбался: возражать тут было трудно, у него самого нет-нет да и возникали нехорошие предчувствия, которые, однако, затушевывались эйфорией не самого обычного труда, но когда вот так с ходу человек воплощает их в слова – это не может не сбить с катушек.

– Продолжайте, продолжайте. Если мы с вами скиснем и не выдадим продукции, нам точно крышка. Не тушуйтесь, – подбодрил в общем-то неплохого с виду парня Худов. – За работу.

– Да-да, конечно. Вы немножко сбили меня с линии, извините, но, действительно, продолжим. Я вам все это напишу, когда мы согласуем, годится?

– Годится, годится, я вас внимательно слушаю и обещаю не перебивать.

– А вот это как раз зря, потому что мы должны с вами выработать такую легенду, которая будет реальна и непротиворечива, так что нуждается в критике. Словом, я начинаю. Дату, год рождения мы решили не менять, а вот с новым местом рождения придется свыкаться. Это будет Саратов.

– Саратов? Был я в Саратове, с лекциями, лет эдак десять назад. Нет, больше, где-то в середине восьмидесятых. Волга там хороша. Вы сами-то были?

– Да, осматривали.

– Серьезно же вы готовились. Ладно, пусть будет Саратов.

– Я потом вам даже фотографии тех лет продемонстрирую.

– Слушайте, я напоминаю себе разведчика, резидента.

– О-о, у нас, пожалуй, будет покруче. Ваш отец – Тушин Николай Максимович 1910 года рождения, военный инженер; мать – Тушина Мария Андреевна, в девичестве Егорова, 1913 года рождения, домохозяйка. Мы стараемся сделать их потусклее, чтобы никто не стал вспоминать, были ли такие в действительности.

– Неужели кто-то полезет в генеалогию президента? – удивился Худов.

– Еще как полезет! – ответил писатель со знанием дела, будто уже не раз выдумывал биографии. – В каждую щелочку залезут, будут искать у нас компромат. Они, конечно, не смогут предположить, что мы вас, так сказать, целиком сочинили, извините, но нестыковки искать будут, потому что, может быть, в этих нестыковках вы скрываете такое, что дискредитирует вас в лице общественности, а этого только им и надо.

– Позвольте, вероятно, и мы у наших соперников блошек выискивать станем?

– Без этого нельзя. Взялся за гуж – полезай в кузов. Я продолжаю? Ваш отец был военный, а значит, долго не оставался на одном месте. Дослужился он всего до подполковника, подполковников всех разве упомнишь? Вы колесили по стране, после Саратова поехали в Воронеж, в школу пошли во Пскове, с пятого по седьмой класс – Арзамас, потом – Тула. Учиться вы поехали в Горький, в Горьковский государственный университет, жили в общежитии, человек вы

были замкнутый, увлеченный, занимались себе наукой, на вечеринки не ходили, друзей особо не было, друг – тоже...

– Это плохо, – перебил Худов.

– Почему? – удивился писатель.

– Человек должен быть включен в систему отношений. Будете ли вы довольны, если вам представят человека как такого буку, который ни с кем никогда не водился? А тем более, если речь идет о президенте, о публичном политике? Мы же создаем имидж публичного политика, я так понимаю?

– Да.

– Тогда должны быть и друзья, и подружки, а то, извините, не по-людски.

– Наверно, вы правы, – задумался Авдеенко. – Без друзей было бы проще, вот в чем загвоздка.

– Проще! Речь ведь не о простоте, а о реальной, как вы называете, легенде, вот и давайте делать нашего Тушина нормальным человеком.

Авдеенко немного помолчал.

– Понимаете, – неуверенно продолжил он, – предположим, Тушин был нелюдим, тогда легко объяснить, почему его никто не помнит. Но если были друзья и подружки, то почему и их никто не помнит, если мы их придумаем, или почему они не помнят вас, а вы, кстати, их, если они реальные.

– Не нужно ведь приглашать целую армию, пусть будет хотя бы один друг – этого довольно. Мы показываем – вот Вася Иванов, друг детства или со студенческих лет. Но я все-таки сомневаюсь, чтобы стали докапываться, вы, вероятно, перестраховываетесь. Впрочем, вам видней.

Писатель с благодарностью покивал головой:

– Я тронут вашим участием и заинтересованностью, Павел Николаевич, я подумаю над тем, что вы мне сказали, но давайте продолжим. Итак, вы учились, потом защитили диплом, если не возражаете, тему мы потом с вами обсудим, а так как вы были на хорошем счету в институте, то вас пригласили сразу же работать на закрытый объект, где в вашу обязанность входила координация социологических служб.

– Что за закрытый объект? – поинтересовался Худов.

– Это могло быть что угодно связанное с обороной, с космосом, с разведкой, наконец.

– Может, все-таки уточним?

– Не стоит. Вы совершенно не обязаны раскрывать карты, потому что это может быть государственной тайной еще до сих пор.

– Логично. Значит, я должен был еще в институте вступить в партию, иначе никаких закрытых объектов мне не видать.

– Точно! – хлопнул себя по лбу Авдеенко. – Как же я сразу об этом не подумал. Это ведь важно, нужно подготовить документы.

– Какие? – не понял Худов.

– О вашем членстве в партии. Павел Николаевич, если наша легенда не будет иметь под собой солидной документальной базы, то нас расколют в первую же неделю. У нас есть целая служба, которая вот этим занимается.

– Фальсификацией? – спросил Худов.

– Зачем же так? – с обидой в голосе возразил писатель. – Назовем это исторической поддержкой.

– Да тут хоть горшком назови, а подделка останется подделкой. Ладно, вон целая гвардия разведчиков по миру с подложными паспортами слоняется, а тут всего-то президент. Он же один, сойдет. Валяйте, травите дальше.

Авдеенко плохо понимал Худова, и разговаривать ему было тяжело. То его персонаж откровенно играл в масть, то вдруг, как сейчас, становился на дыбы, унижал партнера, то казался совершенно равнодушным к происходящему, причем изменения настроения случались с частотой перемены погоды на балтийском побережье. «Насколько проще с неживыми», – поймал себя на мысли писатель, с ностальгией вспоминая минуты привычного беллетристического труда на кухне, когда хоть рога ему пририсуй, он стерпит...

– Так, значит, вы попадаете на закрытый объект. Сразу оговорюсь, Павел Николаевич, это не обсуждается, поскольку тут такая работа проведена, что мало не покажется. Скажу по секрету, целый липовый почтовый ящик под это дело задокументировали, во как.

Он посмеялся, мол, оцените, но Худов не оценил, продолжал сидеть с серьезной миной.

– Там вы не только практик, но и работаете над диссертацией, сначала над кандидатской, а потом – над докторской.

– Позвольте, – в глазах Худова тотчас же при упоминании о диссертации блеснула искорка, он будто бы пробудился от дремы. – Позвольте, а диссертацию вы тоже, как вы выражаетесь, задокументировали? И если не секрет, то кем же сей труд был выполнен?

– Нет, Павел Николаевич, тут мы пошли другим путем. Поскольку объект секретный, то ваша деятельность не должна была выходить за определенные рамки. Диссертация была, но ознакомиться ни с самим текстом, ни с авторефератом в публичных библиотеках нельзя.

– А монография? – не унимался Худов. – Как же докторская без монографии? А статьи?

Про монографию Авдеенко не сказал ни слова, а вот статьи...

– Тут мы одну хитрость, Павел Николаевич, придумали. Статьи есть, они опубликованы под вашим новым именем, хотя вы об этом до настоящей минуты не знали.

– Кто же их написал?

Авдеенко хитро улыбнулся, выждал паузу, во время которой Худов, не дождавшись ответа, выпалил:

– Вы? Это вы написали?

Надо знать ученых хотя бы немножко, чтобы представить себе всю ту ярость, которая возникла на лице Худова, выражавшем буквально следующее: «Как вы, жалкий писателишка, позволили себе накропать нечто под моим, пусть новым, но моим, профессорским именем?»

Авдеенко сразу же ретировался:

– Нет, Павел Николаевич, я за вас ни строчки не написал. Как я мог?

– Тогда кто? – наступал профессор.

– Да вы.

– Я?

– Да, вы и написали.

Этот диалог, напоминавший объяснение Порфирия Петровича с Родионом Романовичем, остудил пыл Худова, почувствовавшего, что кто-то из них, либо он, либо писатель, не в себе. «Наверно, на кафедре рылись или в ящике, – подумал он, но тут же осадил себя: – Как же это? Опубликовать работы Худова под фамилией Тушин? Афанасьев не допустит».

– Поясните, – попросил он.

– Все очень просто. Извините, эта наша задумка была не очень красивая, конечно, но мы предлагали вам писать курсовые...

– Вы их опубликовали? – ахнул Худов.

Авдеенко утвердил покачал головой.

– Идиоты! – выругался Худов.

Впрочем, Худов был профессор, ученый, а поэтому умел держать язык за зубами и знал, что и когда можно говорить. Нет, не прошли даром бесконечные защиты, советы, заседания! Бывало, так хочется задать вопрос или выпалить в лоб обидное слово умному коллеге, но чувствуется, что еще не время, что надо выждать, пропустить вперед себя других, невыдержанных, импульсивных, но и медлить нельзя, чтобы не прошляпить того самого пикового момента, когда твое слово остро отточенной стрелой вонзится точно в яблочко и доставит твоему оппоненту наибольшие неприятности. Вот и сейчас Худов был готов раскричаться, разволноваться, размазать писателишка по стенке, но... «Значит, весточка дошла, – пронеслось в сознании Худова, – но дошла в тот момент, когда стало уже поздно. Если б не прошла эта дурацкая операция, если б я не знал всей подноготной, мне было бы это на руку, но теперь идентификация Худов – Тушин не нужна, и даже опасна. Сказать? Нет! Теперь надо хранить тайну особенно ревностно!» Однако, чтобы у Авдеенко не возникло подозрений, Худов продолжил:

– Идиоты! Они же совсем не выверенные, писались в спешке, да еще и в расчете на курсовые. Как вы могли?

– Простите, Павел Николаевич, но выхода другого просто не было.

– Другого выхода! Что же теперь скажут в научном мире? Некий профессор выходит из тени и вступает с такими беспомощными опусами! Кто же удержится от того, чтобы не покритиковать человека, имеющего к тому же президентские амбиции! Нет, Владислав, вы положительно поторопились. Надо было согласовывать! Надеюсь, это единственная ваша оплошность.

Писатель скис, определенно скис. Да, это тебе не газета, где редактор стоит буквально с секундомером, отсчитывая время, которое остается у тебя на окончание статейки, и тут не до художественных деталей: материал должен пойти в номер – кровь из носу! Видно, у них, у ученых, иначе, что бы тогда этому профессору ерепениться!

Справедливости ради добавим, что Худов не настолько уж был неискренен в своем эмоциональном выпаде: естественно, ему было далеко не все равно, с какой миной войдет в научный мир никому не известный профессор Тушин, доктор наук, просидевший бог знает сколько лет где-то на закрытом объекте. «Надо срочно делать что-то новое», – думал он, уже прикидывая, какую тему мог бы сварганить вот так, с налету.

– Может быть, я продолжу? – пролепетал писатель, прерывая художеские рассуждения.

– Да, пожалуйста.

– Теперь семья...

Худов снова рассмеялся.

– Послушайте, все-то у вас продумано! А вот цвет авоськи, с которым Тушин ходил в ближайший магазинчик за баночкой шпрот, не нашел отражения в вашей фантазии? Ну-ка, ну-ка, что же там у нас с семьей? Это интригует!

– Не иронизируйте, Павел Николаевич, – смутился писатель. – Вы же понимаете, что это теперь наша общая работа. Что же делать? Мы действительно продумывали целый ряд моментов, среди которых семья. Я полагаю, что мы должны сохранить образ президента, что называется, отличного семьянина. Итак, у вас есть жена, с которой вы прожили душа в душу много лет. Что касается детей, то давайте выберем один из вариантов: либо ваше чадо уже окончило институт и работает, либо вы вообще бездетны. Тут бы я остановился на втором, чтобы не морочить голову... Хотя... Как вы считаете?

– Знаете, трудно ощущать себя богом, который вот так кроит собственную биографию. Кстати, как этот вопрос решается в богословии? Бог кодирует сам себя или это выходит за рамки ему дозволенного?

Авдеенко хотел было ляпнуть: «Да вы философ, Павел Николаевич!» – но вовремя поймал себя на мысли, что ведь Павел Николаевич и вправду философ, и тогда Авдеенко подумал, что с ним совсем тяжело работать. Впрочем, Худов продолжал:

– Вы забегаете вперед, Владислав. Вы спрашиваете меня о частных вещах, не выяснив основного: а как я сам отношусь к этой семейной теме. Вы обошли стороной такую существенную проблему, как жена. Хотелось бы ясности.

– Я оставляю вам фотографии. Вы выберете.

Худов оторопел:

– Позвольте, чьи фотографии?

– Женщин, одна из которых могла бы стать женой президента.

– Откуда же они берутся? Такие же похищенные?

– Нет. Им предложили работу за очень большие деньги.

Худов закрыл глаза и сидел так с полминуты.

– Какое кощунство! Владислав, вы не боитесь гореть в аду, в самом страшном круге ада, куда вас непременно поместят, когда наступит срок? Вы не слышали никогда, что браки совершаются на небесах? А тут вы, или мы с вами, берете на себя роль этих небес. Когда раскроется грех, его не смогут отпустить

даже все вместе собравшиеся священнослужители нашей брэнной планеты. Значит, вы хотите сказать, что я тыкну пальчиком в фотографию женщины – и она автоматически становится мадам Тушиной, готовой разделять все тяготы президентской жизни, стряпать любимые блюда и ждать его в постели? А как же чувства? Понимаете, я вижу нашу миссию несколько более долгой, чем месяц (это срок, в который укладывается отпускной роман, когда не так уж важно, кто с тобой, лишь бы подходящего пола), а тут одна внешность не пройдет. Как же быть?

Авдеенко покраснел:

– Психологи изучали ваши пристрастия...

– Ага, так вот зачем были нужны девочки! На месте психологов для выполнения такой задачи я бы выбрал кого-нибудь постарше. Или моей супруге будет двадцать лет?

– Нет. Им от сорока до пятидесяти.

– В самом соку. Дама ягодка опять. Это сумасшествие, Владислав. Так-то вот. Это сумасшествие. С каждым днем мне все меньше и меньше верится в истинность происходящего. Ущипните меня, что ли. Впрочем, что мне до щипков. Я марионетка. Была такая песенка. Вы придумаете судьбу. Женщина придумает судьбу. А все вместе мы поведем Россию к светлому будущему. Но мы, измазавшиеся в дерьме, поведем ее на запах, на этот полюбившийся нам запах. Страшно, мальчик мой, страшно. Вы еще совсем юны, а уже запятнали себя, так запятнали себя. Павел Сергеевич Худов был далеко не праведник, но такое ему было в дикость. Когда пойдете назад, подумайте, что говорил вам умудренный опытом философ, и решите, готовы ли вы брать на себя такой грех, в который вас вовлекают.

Нет, мой дорогой читатель, ты ошибаешься: после разговора с писателем Авдеенко профессор Худов не накинул себе на шею веревку, не пошел в горы, чтобы отчаянно броситься вниз с высоты, не взрезал вены остро отточенной бритвой: весь вечер он провел, лежа на кушетке и рассматривая принесенные Авдеенко фотографии, изображавшие женщин, по словам автора сюжета готовых стать новой женой Худова. Или Тушина? Полная неразбериха! Фотографий было много, штук пятнадцать, цветных, хорошо выполненных, и с каждой из них смотрели женщины, женщины, женщины, словно сдавшие свои изображения для журнала брачных объявлений. Фотографировались по-разному: кто крупным планом представлял свое лицо, кто, видно, просил камеру поставить чуть выше, чтобы в кадр попало эффектное декольте, кто в узких брюках и на высоких каблуках демонстрировал безупречно стройную фигуру, на нескольких снимках сидели женщины, игриво скрещивающие ноги, едва прикрываемые короткими юбками... Вначале профессор пролистал всю пачку и откинул ее в сторону, но спустя некоторое время почему-то взял снова. Его привлекло красивое лицо темноволосой женщины, возможно украинки, с большими черными умными глазами, с гладким красивым лбом, со щеками, пышущими здоровьем, такое лицо, которое через десять – пятнадцать лет если и

начнет терять красоту, то ни в коем случае не потеряет ее следов, и вплоть до старости она будет ловить на себе масляные мужские взгляды. «Может быть, эта?» – подумал Худов, усмехнулся и машинально перевернул фотографию, где обнаружил тонким карандашом написанное «Света». Это подстегнуло его еще раз перебрать всю пачку, чтобы сопоставить образы с именами. Странная вещь имя – стоит ему появиться, как совсем иначе видится безымянный человек. Вот эта дамочка, строящая глазки неизвестному, который будет смотреть на ее неподвижный портрет, оказывается Розой и отталкивает от себя: Худову не нравится имя Роза. А вот эта, в серенькой кофточке, совсем невзрачная, обыкновенная – Саша, и Худов проникается к ней симпатией. Елена сидит на высоком стуле и смотрит со снимка бесстрастным взглядом; у нее тонкая талия и длинные пальцы, строгое сухое лицо с четко обозначенными скулами; волосы забраны назад. Худов отложил ее фотографию вместе с фотографией Светы в левую стопочку. А вот Ира, держащаяся одной рукой за сервант, а другой приподнимающая и без того короткую юбочку, чтобы продемонстрировать стройные ножки в прозрачных чулках, представилась Худову слишком несерьезной – и ушла вправо. Туда же направилась Надюша, как по-домашнему назвала себя полноватая простушка с широкой улыбкой, ценная штучка для любителей ямочек на щеках, и Анфиса – не потому что нехороша (голубые глаза, светлые волосы, тонкие черты лица), а потому что Анфиса, имечко подвело. А Татьяна? Сперва ей было суждено уйти вправо, но после Жанны, слишком полной и, наверно, вульгарной, Худов вернулся к ней. У Татьяны была очень добрая улыбка, которая не могла не тронуть. Больше, вроде, и говорить не о чем, а вот улыбка – это да. И Худов дольше, чем на кого бы то ни было, смотрел на эту милую женщину. Ему показалось, что у нее должны быть дети, наверно один сын, с которым они живут вдвоем после ухода мужа, и теперь, когда ей сорок или скоро-сорок, Татьяна решилась наконец на последнее – найти себе кавалера любым способом, лишь бы не коротать век вот так в одиночку среди дешевенькой мебели шестиметровой кухни... Итак, вскоре фотографии заняли свои места в большой правой стопке, куда рукой будущего кандидата в президенты были отправлены курносая Алла, глазастая Нина, неприятно нахмурившая брови Люся, еще несколько женщин, и в левой, которую Худов взял в руки, как берут игральные карты. Света, Елена, Татьяна. Это напоминало глупую игру, но Худов успел привыкнуть ко многим чудачествам, а поэтому спокойно выбирал, с какой их трех женщин он смог бы соединить свою жизнь. Татьяна подкупала добротой, но была явно неглубокой. Худов вспомнил чье-то изречение, что, выбирая себе партию, подумай, найдется ли о чем поговорить через 10 лет. Именно здесь Татьяна проигрывала: пусть это только фотография, но она выдавала надежную жену, которая будет покорно стоять у плиты и варить, жарить, печь, но ведь этого мало, так мало в жизни... Елена была положительно умна. Худов даже узнал в ней тип аспирантки, с которыми судьба сводила его всю профессиональную жизнь, такой аспирантки, которые ходят по библиотекам, пишут диссертации в ущерб личным отношениям, защищаются, а потом обнаруживают, что наука, увы, далеко не единственная ценность в мире, а

диссертация не так уж хороша, как казалось попервоначалу, и судорожно ищут свое место совсем в том быту, который был незаслуженно забыт ими, иные находят, а кто-то... К кому же отнести Елену? Наверно, это скорее неудачница. Нет, не она. Оставалась Света. По большому счету внешность этой женщины более других располагала к себе, но и более других таила в себе загадку. То ли Худов был неважным физиономистом, то ли действительно лицо Светы могло выражать что угодно. Оно с равным успехом принадлежало бы доброй, верной, преданной жене или лживой, носящей фигу в кармане, имеющей несколько любовников на разные случаи. Света могла оказаться умной, а могла лишь производить впечатление интеллекта. Она могла стать опорой, а могла тяжелой ношей лечь на плечи мужу. Худов снова посмотрел на три отобранные фотографии, посмотрел – и убрал Свету и Татьяну в правую стопку, оставшись один на один с Еленой. «Возможно, это судьба, – подумал он, – а рыбак рыбака видит издалека». Надо сказать, он ни капли не сомневался в своих предположениях относительно этой женщины. Она привлекала его тем, что он понимал, чего она хочет и как с ней жить. Он понимал, что сойтись с таким человеком непросто, но ведь и он такой же непростой ученый, пусть неожиданно и выбывший из своего цеха, куда его тянуло, тянуло, особенно после рассказа Авдеевко. Как выяснилось, на кафедре произошли события, которые не смогли бы не затронуть судьбы Худова – останься он там: прямо перед новым годом скоропостижно скончался Григорий Иванович Твердохлеб, бессменный завкафедрой, занимавший это кресло уже в тот момент, когда в институт на кафедру философии пришел Худов. Твердохлебу было под восемьдесят, все понимали, что рано или поздно это должно случиться, поговаривали даже, что Григорий Иванович и сам собирался на пенсию – вещь немыслимая в большой науке, но подчас случается и такое. Григория Ивановича не стало. У Худова защемило в груди. «Вот, – подумал он, – и те события, которые происходят без меня. Вот и выключен я, вычеркнут из моего прошлого, как вычеркнут из списка кафедры, это факт». И Худов был прав, потому что на похоронах не у одного возникла мысль: «Страшный год! Сначала Паша, потом Григорий Иванович!» Но Паша, как мы знаем, и не думал уходить в мир иной, хотя и сохраненным для мира привычного его тоже считать не приходилось. Исполнять обязанности назначили Афанасьева. Кого же еще? Если бы Худов оставался на свободе, может быть, кафедру предложили бы и ему и друзьям предстоял бы нелегкий выбор: уступить или надломить дружбу, но все решилось куда проще – и дружба не пострадала, и спорить Афанасьеву было не с кем. Худов так и представлял себе, как Сергей сел на желанное кресло лицом к двадцати своим коллегам, предложил почтить память Твердохлеба, а потом сделал небольшой доклад, предварив его словами, что, мол, генеральная линия кафедры останется прежней, а потом показав, что пойдем мы совсем другим путем. Каждый из кафедралов присматривался к Афанасьеву в новой роли, чтобы потом в курилке развернуть открытую дискуссию, авторитетно взвешивая за и против. Худов позавидовал другу, потому что роль заведующего маленькой

кафедрой прельщала его куда больше, чем роль президента огромной страны, но так ложилась карта, и Худов, поразмыслив, решил заняться делом.

Нет, читатель, дело – это не разглядывание женских фотографий, с целью выбрать одну. Разве это дело? Дело таилось в принесенном Авдеенко ноутбуке, где сгрудилась вся информация по «Партии 10 сентября». Задача была поставлена конкретная: ознакомиться со всеми материалами, так как скоро у Худова появится Шамшин, «Виталий Васильевич Шамшин, ваша правая рука, Павел Николаевич». Худов понимал, что разговор с правой рукой пойдет далеко не о женщинах, поэтому включил, соблюдая данную писателем инструкцию, компьютер и принялся за работу. Справедливости ради следует сказать, что хотя Худов и был жадно охоч до женского полу, но умная мужская работа была ему сейчас куда как более по душе, поэтому он самозабвенно погрузился в таинство нового дела.

Файлов оказалось на редкость много, и были они калейдоскопически разными. Будь Худов юристом, он начал бы с многочисленных документов, необходимых для регистрации «Партии 10 сентября» как политической партии, но Худов был философ, ученый, а поэтому, приученный брать быка за рога, открыл сразу «Концепцию деятельности партии» и принялся внимательно читать. Его раздражало, что перед ним не лежал бумажный вариант, в котором можно было бы делать пометы, как при чтении диссертации (Худов, надо сказать, читал и работы собственных аспирантов, и рецензируемые, в отличие от многих своих коллег, ограничивающихся, скажем, авторефератом), а светился экран, где на полях не чиркнешь что-нибудь этакое, эмоциональное. Публицистическая часть Концепции содержала громкие фразы о том, насколько назрели политические перемены в стране, насколько важно не пропустить тот момент, который позволит вывести государство из затяжного кризиса, насколько существенно, какие политические силы выйдут на арену в этот самый исторический момент. Естественно, ни одна из существующих партий не способна на решительные действия: они либо дискредитировали себя, либо погрязли в коррупции, либо просто слабы и бесперспективны. Далее следовало то, что можно было бы назвать исторической справкой, где с достаточной долей пафоса говорилось о той роли, которую играла интеллигенция в жизни России на протяжении последних полутора веков; эта часть показалась Худову наиболее интересной и удавшейся в отличие от последующей, названной «Исторические задачи интеллигенции на современном этапе», откуда следовало, что интеллигенция – это панацея, стоит ей взять власть, как все беды сразу улетучатся, а народ заживет радостно и счастливо, как при несостоявшемся коммунизме. По этому поводу Худов написал: «Выводы не следуют из предшествующего исторического обзора. Не учитывают они и реального расклада сил. Полагаю, что интеллигенции предстоит еще доказать обществу свою состоятельность, прежде чем она начнет выполнять хотя бы некоторые из программных требований. Все это пахнет утопичностью и дилетантизмом». Далее авторы приступили к принципам формирования партии со сложной структурой, с претензией на колоссальную общественную силу. Принцип

устройства партии был исключительно территориальным: партячейки, первичные организации, объединялись в «территориальные блоки», из которых строились «региональные блоки». Во главе каждой структуры стояли советы, возглавляемые председателями. Подробным, скрупулезным образом было прописано представительство меньших объединений в больших, причем получалось так, что сверху очень удобно манипулировать меньшими структурами. Особенно явственно это проявлялось на самом верху. От каждого «регионального блока» делегируется по одному члену на съезд партии, который избирает Центральный совет. Во главе Центрального совета стоит Председатель, избираемый самим советом, рядовой член партии не имеет доступа к выбору не только Председателя Центрального совета, но и региональных и территориальных советов. «Вы здорово изучили опыт КПСС, – писал в своей заметке Худов. – От вашей Концепции веет неприкрытым демократическим централизмом, рожденным конспиративной природой первых коммунистических партий. Но зачем это сейчас? Почему вы так принижаете роль рядового члена партии?»

Обязанности члена партии напоминали Устав КПСС или ВЛКСМ, не хватало разве что пафосного «горячо любить свою Родину». Худов пробежал их глазами, будучи уверен, что все равно придется переписывать, а вот следующий раздел «Цели Партии», размещенный почему-то после обязанностей, стал читать внимательно. Худову сразу показалось, что эту часть опять же писал кто-то другой, скорее всего тот же человек, кто давал историческую справку. Интересы Партии, как следовало из Концепции, лежат вне ее деятельности, это принципиальный момент, то есть Партия не склонна выделять интеллигенцию из общества, противопоставлять их, цель Партии – общественная. Интеллигенция рассматривается в качестве инструмента, который будет использован для достижения высших целей – построения высокоразвитого в технологическом и социальном плане общества, основанного на общечеловеческих ценностях. Конкретные задачи виделись авторам, с одной стороны, банальными и простыми, а с другой – чрезвычайно важными. Так, Худов счел правильной работу по повышению классового самосознания интеллигента, который, осознав свою общественную роль, включится в деятельность по восстановлению общественных ценностей. Без этого, считали создатели, нельзя добиться следующего – осознания роли интеллигенции другими слоями общества, что необходимо, если рассматривать интеллигенцию как ведущую силу. Далее значилось всемерное изучение общественной ситуации и выдвижение конкретных программ по улучшению ее. Дальше Концепция не двигалась, из чего следовало, что Худов держал перед собой программу-минимум.

Следующий большой раздел говорил о руководстве «Партией 10 сентября», в том числе о правах и обязанностях Председателя Центрального совета, коим и должен был осознавать себя Худов. Тут все выглядело крайне хитро: у Председателя прав было хоть отбавляй, однако по целому ряду пунктов Председатель мог принимать решения только при согласованности с

Центральным советом, состоящим из 6 членов, не включая Председателя, за счет чего, видимо, создавалась нечетность. Председатель не мог влиять на персональный состав совета, избираемый съездом, он вправе лишь посоветовать, высказать свое пожелание. «Хитро, – подумал Худов. – Пока Председатель не стал Президентом, им управляют только так. Глядишь, и потом ниточки останутся. Павел Сергеевич, в авантюру ты попал, а выбраться никак». Потом Худов поймал себя на мысли, что снова поверил в свое президентство, надо же, даже стал примеряться к тому, как соотнести эти две должности... А ведь по большому счету, ни одной нет, ни другой... Приученный дочитывать тексты до конца, Худов пробежал глазами главы, касающиеся членских взносов, изменения устава и роспуска Партии, нашел их стандартными, не отличающимися от многих известных ему документов и вынес последнее решение, что устав в целом удачен, хотя некоторые положения нуждаются в доработке и даже переработке.

Худов встал из-за стола, потянулся, как, бывало, в библиотеке, когда несколько часов кряду читал большую мудреную книгу, и подошел к зеркалу.

– Кажется, я принимаю их правила игры, – сказал он тому, кто смотрел на него в упор.

В нем было много от Худова, но это был не Худов, это был Тушин, который работает с документами «Партии 10 сентября» и верит в то, что все это правда, который выберет себе женщину по фотографии, как это делает отчаявшийся холостяк, когда открывает газету с брачными объявлениями, который замахнулся на такое, что Худову и не снилось.

– А может, так и лучше? – снова вслух сказал Худов. – Павел Сергеевич, ты снимаешь с себя всякую ответственность. Ты заразился вирусом, в тебе живет новая сущность, ее обозвали Тушиным, она будет творить всякие гадости, а ты ни при чем, ты остаешься старым добрым Худовым, с его достоинствами и недостатками, только теперь серьезно больным. Кстати, не это ли называют раздвоением личности? Ты, кажется, скоро доиграешься, батя.

Однажды, сидя с Афанасьевым у кого-то в гостях на кухне (это было давно, когда оба еще по молодости могли горячо спорить часами), они завели разговор о том, насколько имя человека предопределяет его судьбу, то есть был бы, скажем, Ленин Лениным, если бы его назвали не Владимиром, а, скажем, Федотом. Худов отстаивал радикальную точку зрения, что иначе и быть не могло хотя бы потому, что (глупость, конечно) иное время затрачивалось бы на произнесение имени, были бы другие клички, прозвища, дразнилки, да и само отношение человека к своему имени не могло бы не оказать влияния на его жизнь. Афанасьев же, кое в чем соглашаясь с Худовым, утверждал, что это воздействие было бы минимальным, касающимся разве что самых незначительных сторон его жизни. Однако ни Худову, ни Афанасьеву не могло тогда прийти в голову, что один из них станет участвовать в безумном эксперименте, в котором изменится не только имя, но и внешность...

Наступил день, когда в распахнувшуюся дверь палаты вошел Кочетов с интересным мужчиной, в дорогом костюме, с маленькой бородкой в стиле меньшевиков-эсеров, в очках и с, кажется, старомодной папкой под мышкой. Кочетов пропустил его вперед и представил Худову:

– Шамшин Виталий Васильевич, ваша правая рука.

Правая рука охотно протянула Худову свою правую руку и покорно склонила голову, видимо, показывая, что готова подчиняться вновь обретенному шефу.

Худов предложил садиться, а Кочетов, как обычно, с ходу завел разговор.

– Павел Николаевич, я докладываю, что подготовительный период нашей операции переходит в заключительную стадию. Завтра вы выписываетесь из клиники, и мы переезжаем в снятый неподалеку дом, чтобы закончить все приготовления. По плану нужно недели три, чтобы вы смогли полностью адаптироваться к новой роли. Вас ждут самые разные мероприятия, но сразу хочу предупредить, что график будет жесткий. Впрочем, любой государственный деятель жертвует личным ради работы, так что Америки тут не открываем. От вас требуется перейти от созерцательной к руководящей деятельности, которой доселе занимался в большей мере Виталий Васильевич. В течение указанного срока вам надлежит ознакомиться с его работой и, так сказать, взять огонь на себя. После этого мы возвращаемся в Москву. А вот там уже игрушки кончатся. Скоро предвыборная. Поэтому, говоря по-военному, роем окопы, в которых придется воевать. Мне Слава рассказывал о ваших встречах. На мой взгляд, они были продуктивны и полезны для нас. Я сам, наверно, вас лучше узнал, хотя и все равно понаслышке. Но вот теперь настало время очень важного разговора, который касается не только вас, меня, вот Виталия Васильевича, а всей партии, поэтому мы вдвоем и приехали.

Шамшин, во время всей речи Кочетова сидевший практически неподвижно, теперь заерзал на стуле, потянулся к своей папке, которую почему-то положил на пол, вытащил из нее бумаги и посмотрел на Худова взглядом, содержащим вопрос, мол, можно ли приступить к докладу. Худов то ли случайно, то ли умышленно глазами показал, что можно, и Шамшин приступил.

Однако предмет разговора оказался иным, нежели представлял себе Худов. Шамшин начал не с документов, а с той «объективной ситуации», как он выразился, которая сложилась вокруг партии в России.

– Наблюдается двойственность, – говорил он. – С одной стороны, партия очень мало известна, и требуется большая работа по ее популяризации, что представляется архинеобходимым. С другой же стороны, если взять число наших сторонников и даже членов в благоприятных регионах, какими прежде всего являются крупные научные и культурные центры, такие как Москва, Питер, Нижний, Екатеринбург, Новосибирск, то вполне можно ожидать, что нам хватит голосов для выдвижения вас, Павел Николаевич, кандидатом. Вот здесь (он передал папку) данные по регионам, собранные в таблицы. Вы все сами увидите, но очевиден разброс: где-то нас совсем не знают, а где-то есть поддержка. Работаем над расширением сети региональных ячеек.

– Активнее надо, Виталий Васильевич, – перебил Кочетов. – Одной поддержки нам мало. Нам надо на этих выборах победить. Раскачиваться нельзя – или пан, или пропал. Вы какого мнения Павел Николаевич?

– Вы имеете в виду, что выборы надо выигрывать сразу, как только партия станет известной?

– Вы меня поняли. Именно так. Мы ошеломят народ, не дадим времени на раздумья, на анализ, что называется, возьмем быка за рога, а иначе проштрафимся, как и все.

– Мы предлагаем тактику удара, – продолжал Шамшин. – В недрах страны зреет масса ячеек, а когда наступает срок, то есть когда мы подходим к моменту начала предвыборной, происходит легализация, выброс критической массы, общество понимает, что, цитирую, есть такая партия и есть такой кандидат, которого все давно ждали. Я готов доложить, и вам, Виктор Иванович, тоже, что мы активно работаем с руководителями ячеек, которые видятся нам основой нашей гвардии. Чем ближе, так сказать, к народу, тем действеннее. Не так ли?

– А кто видится вам нашим избирателем? – задал вопрос Худов, подумав, что уже объединил себя с этими людьми словом «нашим».

– Все, все без разбору, – ответил Шамшин. – Мы хоть и называемся интеллигентской партией, не имеем права делать ставку только на интеллигента. Вы же читали наши программные документы. Мы для всех.

– И все для нас, – попытался было сострить Худов, но собеседники иронии не приняли, а будто бы просто не заметили его реплики.

– Мы должны так построить нашу работу, – продолжал Шамшин, – чтобы у каждого человека как минимум возникла мысль, а не проголосовать ли за наше «10 сентября». Это уже много. Если хоть небольшое сомнение в другом кандидате возникнет, значит, мы свой хлеб едим не зря, значит, мы имеем шансы перетянуть мнение этого человека в нашу сторону, чтобы он взял бюллетень и оставил там фамилию «Тушин». И мы в это верим, это вполне вероятно.

– А дальше?

– Дальше? Дальше мы сделаем то, что обещали. По крайней мере постараемся сделать. Вы же понимаете, что обещания каждого кандидата – это только обещания, а насколько он намерен их выполнять, никто не говорит. Ведь возникают и объективные причины, по которым какой-то из пунктов не выполнится. Мы же не скажем, что доведем доход каждого до тысячи долларов в месяц, а если назовем какую-то цифру поближе к реальной, то, может быть, и клюнут. Но ведь вы, как президент, будете заботиться о возрастании жизненного уровня. И где тут правда, где тут ложь, сам черт не разберется.

– Ловко. Ловко и верно. Действительно, не подкопаешься. Но разве другие не будут говорить того же?

– Естественно, будут. А вот тут вступит в силу другой аргумент – кому верить. Согласитесь, интеллигент в последнее время с политической арены куда-то исчез. Я имею в виду чистого интеллигента, не бизнесмена, не политика-

профессионала, того интеллигента, который оказался, так сказать, не менее угнетенным лицом, чем все остальные, кого называют «простыми» людьми. Это учитель, ученый, как вы, писатель, как Слава, врач... Где они? Их как бы и нету, и вот они возникают и говорят, мол, граждане, нас что, зря учили, мы что, другие, нам что, меньше хочется быть обеспеченными и сытыми? Нет. Мы знаем, куда повести страну, чтобы жизнь стала улучшаться. Златые горы? Не верьте тем, кто обещает златые горы. Довольствуемся пока малым, а там и большое придет. Мы оказались вытеснены, но мы не уехали в Америку или в Израиль, а жили вместе с вами, среди вас, а теперь поняли, что кто же, если не мы. Мы и коммунистов перетащим на свою сторону, потому что кто, скажем мы, был идеологом Октябрьской революции, как не все те же интеллигенты? И вот приходим мы, чтобы возродить идеи социального равенства и справедливости. Что требуется от вас? Придите на избирательный участок и проголосуйте за нашего кандидата, потому что мы отказываемся от насильственной борьбы, поскольку полагаем, что именно в этом крылась ошибка наших предшественников коммунистов.

К концу своего монолога Шамшин так занервничал, что стал похож на оратора во время митинга, он даже покраснел и по виду ждал аплодисментов, овации.

– Это только теория, Виталий Васильевич, – осадил его Кочетов спустя какое-то время, пока все трое молчали. – Это идеальный газ, а на деле надо работать, работать и работать. Вы согласны со мной, Павел Николаевич?

Худов в знак согласия кивнул головой.

– Насколько я понимаю, мы несколько ограничены во времени? – спросил он.

– Не то слово, – ответил Шамшин. – Выборы не за горами, а у нас конь не валялся. Вернее, валялся, но еще как следует не вывалялся. Я полагаю, что нам в ближайшие дни необходимо четко определиться с курсом, отклоняться от которого мы не имеем права, чтобы дальше приступить к решению тактических задач.

– Еще один вопрос. Я полагаю, что могу задавать любые вопросы? – состорожничал Худов, чем заставил несколько встревожиться обоих гостей.

– Да, – подтвердил Кочетов.

– Насколько мы свободны в своей стратегии и тактике?

Еще на мгновение воцарилась тишина, Шамшин посмотрел на Кочетова, показывая тем самым, что не уполномочен отвечать на такие вопросы, а Кочетов заговорил вполне спокойным голосом:

– Вы же философ, Павел Николаевич, и понимаете, насколько относительна свобода. Покажите мне человека, который приходит в большую политику, в такую большую, о которой вы полгода назад не могли еще и мечтать, не выполняя ничьего заказа. Это все, что я вам скажу.

– Я понимаю. Собственно, нечего было и спрашивать. Будем считать, что вопрос носил риторический характер. Равно как и ответ.

– Продолжим, – предложил Шамшин.

Мой читатель, я избавлю тебя от рассказа о том, что происходило в палате у Павла Сергеевича Худова дальше, ибо все трое принялись обсуждать документы, принесенные Худову ранее, с педантичным пристрастием, статью за статьей, положение за положением. Оговоримся лишь, что собеседники выказывали должное почтение в отношении друг друга и по целому ряду пунктов пришли к консенсусу, чем порадовали обе стороны. Уходя, Кочетов как бы невзначай спросил Худова:

– Да, вы выбрали себе подругу жизни?

Худов показал фотографию, собираясь с мыслями о том, чем мотивировать свой выбор, но Кочетов не церемонясь взял фотокарточку из рук и со словами: «Губа не дура», – убрал ее во внутренний карман пиджака, на чем они и расстались.

Что было еще? Еще ночью Худов вышел из номера к дежурившей Йоланте и попросил у нее прощения:

– Пани Ёлька, не держите зла. Может быть, я не так плох, как могли бы вы обо мне подумать. Спасибо вам за все. Вы хороший человек.

Йоланта что-то буркнула в ответ, кажется, по-польски, Худов не понял и пошел прочь.

Дом был шикарный, похожий на замок, хотя и видно было, что это очень поздняя стилизация. Снаружи его окружала чугунная витиеватая ограда с огромными воротами, куда и въехал уже знакомый нам черный джип, не спеша пробираясь по узкой аллейке, образованной фруктовыми деревьями, прямо к парадному крыльцу, на котором стояли Авдеенко, Шамшин, еще несколько мужчин в костюмах. Как только автомобиль притормозил и остановился, к нему подбежал здоровенный парень, чтобы открыть дверь и выпустить на свет божий Худова и сопровождавшего его Кочетова.

– Вот, Павел Николаевич, наше временное пристанище, – протягивая в приветствии руку Худову, сказал Шамшин. – Впечатляет?

– Да, – не покривил душой Худов. – Грандиозно

– То ли еще будет, – как всегда, без эмоций прибавил Кочетов. – Идемте.

Оказавшись внутри, Худов подумал, что попал на съемки западного фильма, до того все было роскошно, красиво, блестяще до безвкусыя, совсем не по-нашему. Мраморная лестница вела наверх, где расходились под разными углами несколько коридоров, так, что заблудиться, видимо, было совсем не мудрено. Худова проводили в один из них, довольно темный, где за красивой белой резной дверью спрятались его апартаменты. Распоряжался Кочетов:

– Здесь вы можете отдыхать, а кабинет рядом. Получаса вам хватит обосноваться? Я зайду.

«И снова как в кино», – подумал Худов. Спальня, а именно сюда привели будущего президента, не отличалась гигантизмом и приглянулась Худову: небольшая и очень уютная, хотя изысков и тут хватало. На кровати лежало такое тонкое покрывало, что на него не то что садиться, смотреть было страшно. Кресла тоже укутаны то ли шелком, то ли какой-то другой дорогой тканью.

Небольшой столик с мозаичной лакированной столешницей напоминал экспонат из музея, даром что отсутствовало дежурное «руками не трогать», всю жизнь удивлявшее Худова: «А чем же еще?» За розоватыми портьерами открывался вид, достойный фильмов Гринуэя: статуи, аллеи, фонтан... Но самое главное... Самое главное... Худов осознал это не сразу, чуть погодя, постепенно всматриваясь во все *это*... Он перестал чувствовать себя пленником. Не дай бог оказаться взаперти, мой любезный читатель. Пусть плен твой выглядит раем земным, не дай бог оказаться взаперти. Все равно ты будешь смотреть на волю с тоской, так, как смотрел Худов; все равно будешь рваться на волю, все равно будешь говорить себе: «Пленник, пленник, пленник...» И вот сейчас, в этой чудной, нереальной, кинематографической спальне Худов ощутил, как с него слетели путы, сдавливавшие его так долго, так больно, так сильно, и он не задался вопросом, чем платить за ту благодать, которую вот так неожиданно подкинула судьба, он просто разделся, утонул в кресле и сидел, наслаждаясь мгновением, которое поистине было прекрасно.

Ровно через полчаса дверь распахнулась.

– Идемте.

Худов в сопровождении Кочетова проследовал в небольшую гостиную, где стоял круглый стол, за которым уже расположились люди, поднявшиеся со стульев, едва Худов переступил порог. Из присутствовавших знал он только Шамшина, остальные шесть человек были ему незнакомы; Кочетов, к его удивлению, из гостиной вышел и в совещании участия не принимал.

– Приступим, господа, – начал Шамшин. – Итак, сегодня мы знакомимся с человеком, которому суждено вести нас к цели. Я рад представить вам Павла Николаевича Тушина, философа, ученого, профессора, доктора наук, который руководил нами издавна, так как работал на секретном объекте, и вот настал момент, когда мы можем, так сказать, очно познакомиться с Павлом Николаевичем и выступить под его руководством. Я со своей стороны благодарю членов Центрального совета, который мне временно пришлось возглавлять, за поддержку, понимание и доверие. Мы все отдавали себе отчет в том, что отсутствие Павла Николаевича – временное и вынужденное состояние, но историческая обстановка не позволяла нам действовать иначе, поэтому примем все как данность и без промедления продолжим нашу работу. Позвольте, Павел Николаевич, прежде всего познакомить вас с членами Центрального совета. Дементьев Игорь Львович, председатель Питерского региона. Доктор экономических наук, наш главный идеолог в области экономики, надеюсь, вдохновитель реформ. Пазуха Семен Никитич, из Екатеринбурга, инженер, блестяще знает ИТР, за ним идут не размышляя. Сотсков Андрей Максимович, доктор психологических наук, наш с вами земляк, разрабатывает пиар. Левитин Петр Маркович, кандидат исторических наук, блестяще знает историю и чувствует настоящий момент с позиций ее движения. Бородач Михаил Михайлович, кандидат исторических наук, генерал-майор, наш человек в армии, потому что пользуется непререкаемым авторитетом. Игнатов Роман Дмитриевич, самый молодой, но один из самых отчаянных членов

Центрального совета, пишет диссертацию по социологии, по работе с молодежью. Вот такая у нас гвардия. Впечатляет?

– Да уж, пожалуй, – проговорил Худов, понимая, что теперь его черед. – Позвольте поприветствовать вас, господа, и поблагодарить за то высокое доверие, которое оказано мне и в части председательствования на столь высоком собрании, и в части доверия по выдвижению меня на высокий и ответственный пост. Работы в одиночку я не мыслю, не вижу и не приемлю. Я убежден, что у нас собралась команда единомышленников, которая ищет прежде всего не личной выгоды, а болеет душой за наше государство и за наш народ. Я очень рад, что интеллигенция наконец перестает быть пассивной массой, которая в лучшем случае собирается на кухне, как это было когда-то давно, а то и просто с болью в сердце наблюдает за происходящим, не предпринимая усилий по изменению существующего положения. Роль интеллигенции в истории России была совершенно иной, не вам мне это рассказывать, интеллигенция была и должна оставаться той частью общества, которая ведет за собой... Хотел сказать *в бой*, но, наверно, вовремя остановился, потому что боев как раз бы не хотелось. Было бы правильно, если бы на этот раз мы победили мирным путем, демократическим путем честных выборов. Так сложилось, что я с вами оказался не сначала, но это не принципиально. Постараемся работать не так, как бывает при приходе нового руководства, когда говорят, что все будет по-прежнему, а на деле начинают мести совершенно новой метлой, сметая достижения прежнего руководителя. Я надеюсь, что мы продолжаем начатое Виталием Васильевичем и всеми вами, что вы позволите мне в течение некоторого время с вашим личным участием изучить сделанное, чтобы лишь после этого приступить к принятию каких-то решений. Вчера я имел крайне полезную для себя беседу с Виталием Васильевичем, который ввел меня в курс дела, и нашу сегодняшнюю встречу я склонен рассматривать как продолжение того разговора. Я бы просил, чтобы Виталий Васильевич председательствовал сегодня, поскольку заседание планировал он, а я готов ответить на возникшие вопросы... Или, может быть, лучше в конце?

Члены ЦС закивали головами, а Шамшин был явно доволен тем, как повел себя Худов, тем более что заранее это не оговаривалось. Худов же чувствовал себя вполне на месте, еще бы, сколько раз приходилось брать на себя обязанности председателя диссертационного совета, когда старый профессор Александриди очередной раз заболел и присутствовал лишь номинально, а сама публика очень напоминала тех, кто метал белые и черные шары перед лицами зашуганных соискателей искомых ученых степеней. А вот Шамшину этого опыта явно не хватало: Худов почти сразу заметил, что он только учится вести собрания, не чувствует, кого из выступающих нужно одернуть, кому дать возможность высказаться до конца, кому дать слово, кто может подождать, так что заседание шло несколько неровно. Из этого Худов делал два вывода: во-первых, он мог завоевать авторитет именно на фоне неумелого Шамшина, причем очень быстро и дешево; во-вторых, ситуация в партии представлялась не совсем ясной.

На бумаге все выглядело куда как гладко и понятно, на деле же согласия, как показалось из заседания, не вырисовывалось. Худову не было понятно, почему почти все время молчал Дементьев, даже тогда, когда речь заходила об экономике: то ли он держал всю свою концепцию в голове (или даже в тайне) и не хотел вываливать вот так сразу, то ли ее вовсе не было, кроме каких-нибудь идей, прожектов. А вот Игнатов встревал постоянно, в ряде случаев не стеснясь высказывать свой юношеский дилетантизм, чтоставляло его совсем в невыгодном свете. Интереснее других Худову показались Пазуха и, как ни странно, генерал Бородач, к которому, как к военному, Худов сначала отнесся с особым пристрастием, но некоторые весьма умные и даже остроумные заявления генерала быстро заставили переменить первое мнение на диаметрально противоположное. В целом же Худов понял, что Шамшин допустил одну ошибку: он заставил членов ЦС высказываться при всех, вместо того чтобы дать Худову вначале поговорить с каждым наедине и тем самым составить свое видение проблем, так что ему пришлось постепенно войти в дискуссию, аккуратно отстранить Шамшина от ведения заседания, которое к тому же начало затягиваться, и предложить каждому в ближайшее время встретиться с Худовым с коротким докладом о видении решения стоящих перед ним проблем. Худову показалось, что люди были довольны, даже Шамшин вроде бы воспринял все как должное, только подсунул Худову под руку записку: «Не назначайте встреч, пока не согласуете ваш график с Кочетовым». Это вполне сочеталось со вчерашним разговором об относительности свободы. На этом и разошлись.

Кочетов ждал в коридоре.

– Вас с боевым крещением. Идемте в ваш кабинет, составим график работы.

Кабинет был рядом со спальней Худова, но дверей из одного помещения в другое не было, идти нужно было через коридор. Сам же кабинет оказался совсем маленьким, в нем помещался письменный стол с компьютером и было несколько стульев, чтобы беседовать с посетителями. Поражало отсутствие книг. «Но ведь это временно», – подумал Худов, хотя определенная доля разочарования все-таки осталась.

– Итак, процесс пошел, – сказал Кочетов, когда они оказались одни за закрытой дверью. – Ваше впечатление от команды, если позволите?

– Пока рано говорить, – ушел от ответа Худов. – Полтора часа разговоров – не время.

– Конечно. Я вам дам несколько советов, потому что я их знаю, я сам их подбирал. Можете относиться к моим словам как угодно, это лишь советы, чтобы не наступать на грабли. Как вы нашли Дементьева?

– Он молчал.

– Да, этот из неразговорчивых, но человек умнейший. Постарайтесь расположить его к себе. С виду-то он колюч, но дельный, преданный, с таким в разведку милое дело. Иногда кажется, что у него в кармане фи́га, но я полагаю, что это только внешнее проявление. Я в экономике не спец, но люди

характеризуют его как великолепного практика. Убежден, что вам приглянулся Пазуха, инженер. Блестящий мужик. Будьте к нему поближе, этот точно не продаст. Я с ним знаком не один год и готов поручиться. Толковейший человек, толковейший. С Бородачом выпейте водки, но не увлекайтесь, он цистерну в себя вольет – не крикнет, но не пейте с ним, когда есть незнакомые, помните, что у Бородача от водки развязывается язык и он начинает выкладывать все, что знает. Понятно? Значит, если есть тайна, то от него лучше хранить, естественно если она не касается его ведомства.

– Странно, военный, а трепло.

– Ничего, вы увидите, что выбор не из плохих. Каждый становится идеальным, когда начинаешь видеть его недостатки и учитывать их в работе. Самый сложный Шамшин. Собственно, он ведь не собирался быть председателем, мы его уломали, заплатили денег. У него не очень и получилось, поэтому он ждал вашего прихода как манны небесной, но власти вкусил, так что как себя поведет, пока неизвестно. Будьте с ним поосторожней. А вообще, не очень откровенничайте, если надо, приходите лучше ко мне.

Худов усмехнулся.

– А какова же ваша роль во всем этом предприятии? Мы же можем задавать друг другу прямые вопросы, Виктор Иванович?

– А у меня роль серого кардинала. Меня радует степень открытости нашей беседы. Помните, Павел Николаевич, только мы с вами знаем о существовании заказчика. Остальные думают, что все это на партвзносы. Только мы втроем знаем о вашем прошлом. Это не шантаж. Это необходимо для того, чтобы вы четко уяснили, кто здесь будет заказывать музыку. Вы должны ощутить себя ведущим в нашей упряжке. Все, кого вы сегодня видели, обязаны подчиняться вам. Они не будут принимать решений выше того уровня, какой вы им отведете. Это альфа и омега любого руководителя, тем более лидера партии или президента. Все самое главное решаем мы, согласуя с заказчиком. Если вы почувствуете необходимость, с вами встретится тот человек, на деньги которого мы гуляем, но пока я не вижу надобности. У нас договоренность, что мы делаем свое дело, а он нам не мешает. Эти думают, что я, так сказать, завхоз, и пусть думают, я не против. Но реальность совсем другая. Нет, Павел Николаевич, не считайте, что я их стараюсь принизить, опустить, я их уважаю, без них мы ничего не сделаем, но они практики, а мы мозг, даже Дементьев будет выполнять наши указания по тексту экономической реформы, такой, какую мы будем придумывать. Вы осознаете меру вашей ответственности? И не думайте, что мы тут только прикрываемся демократией. Демократия не власть народа, а власть для народа. Власть народа – это новгородское вече, пройденный этап. Мы же будем пробовать построить такую власть, которая в наибольшей мере отвечала бы чаяниям того же народа. Это ли не цель? Ладно, довольно пафоса. Перейдем к делу, вот график нашего пребывания здесь.

Кочетов развернул перед Худовым большой лист бумаги, сопоставимый по размеру с географической картой, где были расписаны те мероприятия, которые должны были пройти в течение ближайших трех недель. Оказалось, что

члены совета пробудут здесь всего два дня, потом они уезжают на родину выполнять полученные указания. Даже Шамшин уедет. Худов же должен заниматься легендой, спортом, изучением документов вместе с Авдеенко и Кочетовым, после чего – Москва. График был более чем плотным, но после долгого безделья Худов был готов на все, чем, безусловно, радовал Кочетова.

– Еще один момент, Павел Николаевич. Я полагаю, что через неделю максимум журналисты пронюхают, где мы, и заявятся. Им интересно. Вообще, наша партия уже успела попасть под объектив, и их крайне интересует, почему лидер так долго находится в тени. Я попрошу, чтобы вы вместе со Славой продумали возможные ответы, потому что ребята могут нагрянуть в любую минуту и застать врасплох. Привыкайте, вы становитесь публичным политиком. Хорошо, десять минут отдыха, обед, а потом принимаете членов ЦС. Успеха вам.

Кочетов нравился Худову все больше и больше: под маской циника и брюзги скрывалась совершенно незаурядная личность. В ней была и честность, и открытость, и разумность, и уважение. Худов уже не в первый раз чувствовал, как Кочетов ставит его на место, ведь даже сегодня он не столько рассказывал о других, сколько помогал разобраться в его, худовских, собственных оценках. Нет, с Кочетовым определенно можно было работать.

После обеда началось то, что подходит под определение текучки: по установленному графику к Худову стали приходить члены ЦС. Шамшин спросил, нужно ли его присутствие на этих встречах, Худов, тактично извинившись, попросил пока оставить его наедине с коллегами, а если понадобится, то он Шамшина пригласит. Отказался Худов и от диктофона, потому что не думал, что у него будет время, да и необходимость прослушивать разговоры позднее, и был прав.

В течение первого дня Худов встретился со всеми шестью членами совета, исключая Шамшина. Последний, Дементьев, вышел из кабинета лидера около одиннадцати вечера после полуторачасовой беседы. Сам Худов, смертельно уставший, отказался от ужина в столовой и попросил принести ему в спальню. Впечатление от визитов было самым противоречивым. Он убедился в том, что партия пока лишена главного – порядка и четко обозначенной цели, так как президентство – это не единственная цель. Она может быть единственной для него, для того неизвестного (что изменилось с тех пор, когда еще был плен?), на которого Худов теперь работает, для странного и не до конца понятного окружения, но отнюдь не для тех, кто будет голосовать на выборах за Худова (Тушина?), чтобы поддержать эту самую партию. Всем было ясно только одно: интеллигенция есть та сила, которая способна вывести страну на высоту мирового уровня. Но вот почему именно интеллигенция, а не кто-то другой, в соединении с какими силами, каким образом будет это делать, не мог вразумительно ответить ни один из членов команды, из чего Худов готов был сделать вывод, что перед ним не что иное, как догма, вдолбленная в головы этих далеко не глупых людей, как в свое время вдолблялись постулаты коммунизма...

Сон был некрепким, тревожным, прерывистым; даже ночью Худова не покидала мысль о том, что все здесь шито белыми нитками, что никаких серьезных наработок нет, что ближайшие дни не внесут никакой ясности, но наутро (может, оно и вправду мудреней?) пессимистические настроения уступили место неизвестно откуда взявшейся бодрости. «Хорошо, – говорил сам себе Худов, – кто тебе, Павел Сергеевич, обещал, что ты придешь на все готовенькое? Да ведь так еще лучше, когда начинаешь с нуля, потому что переделывать всегда сложнее, чем делать заново. Судьба распорядилась тобой? Ничего поделать не можешь? Значит, живи этой, новой для тебя жизнью, только не хандри. Радуйся, что жив, дурак!» И целое утро Худов встречался со своими новыми коллегами, пытаясь выяснить их позиции, взгляды, интересы, навязывая свое мнение...

Все изменилось после обеда, когда Худова попросил зайти к нему Кочетов. Худов зашел. Кочетов был не один. Рядом с ним сидела женщина. Худов узнал ее сразу. Это была та самая Елена с фотографии, отобранной совсем недавно. На вид ей было столько, что она должна была кокетливо улыбаться вопросу: «Вам ведь еще нет сорока?» Она смотрела на Худова своими умными глазами и улыбалась ехидной, еле-еле заметной улыбкой так аккуратно и тактично, что иной бы и не разглядел всей многозначности в лице женщины. Впрочем, как потом рассуждал Худов, она не была из тех, которая готова подавить и сделать своего мужа таким подкаблучником; она готова была подчиняться, но тому, кто найдет в себе силы подчинить ее.

– Познакомьтесь, это Елена Михайловна, – Кочетов встал и, взяв женщину за руку, предложил ей тоже встать, что она и сделала. – Узнаете?

– Пожалуй, – ответил Худов и приложился губами к холеной, чуть холодной (хотя было тепло) руке Елены Михайловны.

– Это, как вы понимаете, Павел Николаевич, человек, прямо скажу, неординарный. И не только потому, что ординарные в президенты не ходят, а потому что он вот такой. Впрочем, вы сами поймете. Хорошо, к делу. И Вы, Елена Михайловна, и Вы, Павел Николаевич, введены в курс дела, поэтому, надеюсь, понимаете, что свидание Ваше носит конфиденциальный характер. Обязательств никаких нет – пока! – так что можете принимать любые решения. Не понравится – милости прошу, но только чтобы не трепать языком. Я полагаю, что Вы люди порядочные, а потому избавлю Вас от соответствующих бумажных дел. Я надеюсь душу дьяволу никто не продает. Ладно. Я предлагаю Вам посидеть в гостиной и поговорить, а там видно будет.

Если для Елены Михайловны эта встреча была запланированной, то есть она знала, что едет встречаться с человеком, жену которого ей, возможно, придется изображать, то Худову внезапное свидание показалось целым сугробом, таинственным образом завалившимся за шиворот. Однако по пути в гостиную (очень небольшому, надо заметить) думал совсем не о том: он прикидывал, насколько откровенным можно быть с этой кандидаткой на его руку и сердце. Кочетов шел рядом, но отвести его в сторону и начать спрашивать было совершенно невозможно. «Значит, принимаю решение сам, –

подумал Худов и даже сам удивился мысли, возникшей у него, будто он был разведчиком: – А что если это проверка?» Действительно, почему бы не проверить Худова, насколько он надежен, тепло он или нет, а то ведь неровен час сбежит, расстроит всю операцию...

На маленьком столике стояли две чашки с дымящимся кофе, лежали пирожные, что значительно упрощало ситуацию знакомства, ведь Кочетов вышел и оставил «молодых» наедине.

– Надо сказать, я впервые в такой ситуации, – начал Худов, когда и он, и его дама уже сидели за столиком. – Не знаю, как знакомятся по объявлениям?

– По объявлениям? – переспросила женщина; это были первые произнесенные ею слова, и Худов отметил, что она обладательница приятного, довольно низкого голоса.

– Да. Это явление того же порядка, вы не находите? Впрочем, вот, кажется, и началось.

– Что?

– Знакомство. Итак, вы Елена Михайловна? Живьем вы интереснее, чем на фотографии.

– То есть я не фотогенична?

– Отнюдь. Любая фотография отнимает живость, а вам она так к лицу.

– Это комплимент?

– Конечно. Едва знакомые люди общаются комплиментами, не так ли?

– Может быть, я не спорю. В таком случае, вы тоже производите весьма приятное впечатление...

Худов деланно улыбнулся. В комнате воцарилось молчание, которое прервала Елена Михайловна.

– Мне сказали, что я могу быть с вами предельно откровенной.

– Мне ничего не сказали, – ответил Худов, – так что откровенничайте.

– Что вы хотите узнать?

– Что-нибудь о вас, я же видел только вашу фотографию – и все, а мне, признаться, небезынтересно, с кем я провожу эти приятные минуты.

Елена Михайловна, получив позволение, пустилась в рассказ, да такой складный, что Худов был готов спросить прямо в лоб, уж не подготовленную легенду выкладывает ему собеседница. Впрочем, что такого удивительного? Худов должен жить по легенде Тушина. Вполне вероятно, что эта Ирина Сергеевна живет по легенде Елены Михайловны, которую и выкладывает в подробностях, подготовленных с местным сочинителем Славиком Авдеенко, которому за его живой спектакль платят деньги. Суть легенды (или все-таки истории) заключалось в следующем: Елена Михайловна родом из Свердловска, училась там на какого-то инженера, но вышла замуж за москвича, забредшего в нынешний Екатеринбург на практику, влюбившегося по уши в Елену Михайловну и перетащившего ее вскорости из столицы Урала в настоящую столицу, где прожили они душа в душу десять лет, пока муженек не загулял и не нашел себе новую, которая была старше и куда непригляднее Елены Михайловны, однако судьбе было угодно распорядиться так, чтобы Елена

Михайловна была брошена мужем. Худов обратил внимание на то, что первая часть легенды рассказывалась Еленой Михайловной в подробностях, в то время как вторая (более приближенная к настоящему времени) – бегло и неуверенно. Худов подумал, что сюда Авдеенко должен вписать Худова, ведь не накануне же познакомился первый человек государства с его первой леди, должна быть история. И когда он рассказывал Елене Михайловне свою легенду, почувствовал, как западают в ней последние годы, в которых чего-то не хватает, вероятно вот этой самой женщины, которая сидит перед ним и всем своим взглядом показывает, что она не верит ни одному из худовских слов, потому что сама только что гнала полную туфту, но согласилась играть в игру, правила которой не устанавливает ни она, ни Худов, поэтому говори, товарищ дорогой, отыгрывай свою роль по полной, чтобы те, за сценой, за стеной были довольны. И вот этот именно взгляд купил Худова со всеми потрохами. Он уже готов был нарушить все заповеди и спросить женщину, почему она-то оказалась здесь, что ее привело в этот странный театр, но спросить это означало бы завалить проект полностью, так что Худов молчал и сыграл все как по нотам вплоть до той самой минуты, когда им обоим на первый раз показалось достаточно и они, не сговариваясь, встали и разошлись каждый по своим делам.

– Господа, я полагаю, наши встречи были плодотворны и для вас, и для меня, и для нашей партии, и для нашего общего дела.

Так Худов закончил свою речь на последнем заседании Центрального совета партии. Говорил он долго, минут сорок пять, и остановился, как ему показалось, на самых актуальных и важных вопросах.

– Главное, что они должны понять, – наставлял Худова перед заседанием «серый кардинал» Кочетов, – это неизбежность вашего избрания в президенты и для успешной деятельности партии, и для воплощения в жизнь всех наших идей. Иначе говоря, Павел Николаевич, разыгрываем президентскую карту. Без нее никак. Ясно?

Впрочем, это Худову было ясно и понятно и без Кочетова. Неужели тот, кто затеял всю эту непростую махинацию, заинтересован в какой-то партийной идее? Естественно, нет. У него один-единственный интерес – получить в свои руки президента-марионетку, а для достижения этой цели он выбрал весьма нестандартный путь, потому-то она и казалась вполне достижимой.

Говорил Худов неторопливо, вдумчиво, куда более грамотно, чем на первом заседании, где сказывалась неподготовленность, волнение, новизна, все что угодно. Нет, теперь, даром что прошла всего пара дней, Худов чувствовал себя совершенно иначе. «Вот лидер», – отметил про себя Пазуха, хотел даже шепнуть что-то Игнатову, но именно в этот момент – совершенно случайно – Худов посмотрел на него, и Пазуха не передал своего суждения молодому коллеге. Основной пафос выступления был в том, что успех может быть достигнут только в одном случае – если они покажут себя как команда единомышленников. «Мы должны быть предельно открыты друг перед другом, – говорил Худов, даже не чувствуя, что по сути лицемерит, – честно

признаваться в своих ошибках, не скрывать намерений, не затаивать обид, иначе нам грозит распад и проигрыш. Помните пословицу, что рыба тухнет с головы, так вот нашу голову мы должны держать в холоде, по заповеди Суворова, чтобы не протухло все наше дело». Значительно приправляя свою речь публицистикой, Худов между тем не утонул в ней, а, как ему казалось, четко определил задачи каждого. В разговоре с Кочетовым они решили делать ставку прежде всего на Сотскова как на пиарщика, который становится наиболее ценной и заметной фигурой в преддверии выборов.

– С ним придется быть откровенным, – говорил Кочетов. – Относительно, конечно, но он будет знать больше, чем остальные.

– Он подобран с этой установкой, – спрашивал Худов.

– Обижаешь, Павел Николаевич, – Кочетов легко, по-партийному переходил на ты, – как же можно иначе? Кстати, Славиков кадр, но я сам проверял, убеждался. Мужик серьезный, положиться на него можно.

Кочетов слушал выступление Худова в соседней комнате (нет, не тайком: Худов был предупрежден и не возражал) и радовался тому, что и с этим кадром, как видно, не промахнулся. Кочетова поражало то, что Худов в некоторых вопросах действовал явно самостоятельно, но грамотно и правильно, так, как и следовало бы действовать, будто бы и он в течение нескольких месяцев разрабатывал этот странный план, а не был новичком, брошенным в воду, дабы в одно мгновение научиться плавать.

Члены Центрального совета тоже поняли, что их лидер не лыком шит, потому что каждый получил вполне конкретное задание, причем это задание следовало выполнять, ведь обозначены сроки и виды отчетов. И говорил Худов (для них – Тушин) таким тоном, что не забалуешь, а козырнешь, как коллега Бородач, и скажешь: «Есть!»

После обеда наступило время разъезда. Члены Центрального совета собрались на крыльце, где совсем недавно встречали никому не известного Председателя, а теперь он сам пожимал им руки, почему-то оставаясь еще недели на три в этой заграничной резиденции, и напутствовал, выглядя при этом самым настоящим начальником. Прощание было недолгим. Небольшой автобус быстро заглотнул уезжавших и покатыл в аэропорт, чтобы к вечеру вся верхушка партии высадилась в Москве.

– Поздравляю, – Кочетов пожал Худову руку, когда они остались вдвоем. – Вы с честью справились в первой задаче, отнюдь не самой простой. Знаете, а мне кажется, что они в вас поверили. Слово старого волка, они в вас поверили. А вы себе и представить не можете, как это важно. Послушайте, Павел Николаевич, откуда у вас этот опыт руководителя? Насколько я понимаю, вы же все время проходили в подчиненных?

Худов пожал плечами:

– А я и сейчас вполне ощущаю себя подчиненным. Вы же мне определенно сказали, что я должен делать, я это и делаю, и ничего иного, не так ли?

– Э-э, нет, мой дорогой. Подчинение подчинению рознь. Вы умудрились их организовать. Вы повели вашу собственную линию в отношениях с ними, а это и есть признак руководства. Вам никогда не предлагали в вашей прежней жизни стать деканом или завкафедрой? Нет? Они прогадали, вы отличная кандидатура. У вас бы получилась. Впрочем, прошедшее время не уместно, потому что вы станете руководителем куда большего масштаба.

– Погодите, вы меня знаете так мало.

– У меня наметанный глаз...

– На президентов?

– Зачем? На людей. Президент тот же человек, он действует по заданной модели, а таких оригиналов, чье поведение не просчитаешь, единицы, и в большинстве своем это люди не совсем здоровые, шизофреники и прочая, так что вам придется мне поверить. Пока только поверить, а потом сказать, что, мол, ты не ошибался, Виктор Иванович, не ошибался. Ладно, в качестве премии за отлично проведенную операцию вам предоставляется часовой отпуск, после чего продолжаем занятия по установленному плану. Сегодня, кстати, еще катаемся на велосипедах, это для физической тренировки, словом, график по-прежнему напряженный, а пока час одиночества, не возражаете?

Худов не возражал. Он с удовольствием уединился в своей спальне, куда за последние дни приходил только поздно вечером, когда ноги уже отказывались ходить, а голова думать от усталости, и утонул в шикарном кресле. Оно стояло ровно напротив зеркала, из которого на Худова посмотрело его новое лицо, все еще непривычное и чужое. Худов старался избегать зеркал, чтобы не пугаться этого отображения, даже брился, концентрируя взгляд на бритве, пытаясь не заглядывать непохожему двойнику в глаза, теперь же он, кажется, намеренно уставился на того, нового, чтобы мысленно побеседовать с ним. Впервые лицо выглядело усталым. Оно немного осунулось, под глазами вырисовывались темные мешки, но сами глаза, то единственное, что досталось этому лицу от прежнего, излечивались от пессимизма и возжигали пока еще едва заметный, но столь необходимый для жизни огонек.

Худов потянулся в кресле и мысленно оглянулся назад. Забавно, но этот взгляд не побежал так далеко, как можно было бы ожидать, он дотянулся всего лишь до Веры, которую он бросил не по своей воле и так неожиданно. Худов решил посчитать, как давно они расстались, и ужаснулся несовпадению той неожиданно малой цифры прошедших дней и непомерного количества событий, произошедших в его жизни. Странно, но встреча с Верой казалась ему теперь светлым пятнышком, так внезапно возникшим и так быстро прошедшим, что с трудом тянуло на статус реально бывшего. «Удивительно, – думал Худов. – Это был тот самый плен, оказаться в котором так страшно, но я вспоминаю мою маленькую хозяйку с теплотой, нежностью, что греха таить, с любовью, я жалею о том, что не смогу с ней встретиться, никогда не смогу с ней встретиться, как бы этого ни хотел». Худов отгонял от себя мысль о том, не сделали ли эти всемогущие с Верой и ее подружкой (или сослуживицей) чего-то дурного, как старался не думать и о неискренности девушки, которая вполне могла бы

оказаться попросту отличной актрисой, с достоинством сыгравшей свою непростую роль. Еще он вспоминал свой дневник, свой незавершенный труд, в который он вложил столько души и сил, что потерять его было обидно, но и здесь не оставалось ни малейшей надежды на его спасение, ибо он содержал самый жесткий компромат на возможного президента. Даже под псевдонимом публиковать такую работу было нельзя. «Словом, – суммировал в голове Худов, – я пережил две реинкарнации, сначала в пленника, а потом в этого самого Тушина. То ли еще будет, Павел Сергеевич. Или Павел Николаевич?»

Профессор Худов в душе выглядел далеко не так самоуверенно, как могло показаться его новым знакомым. И спал не так крепко, как даже на неожиданной даче, где он находился в плену. Часто просыпаясь, он то и дело снова хотел стать обычным, ничем не выделяющимся профессором, который уже многого добился в жизни, в академики не лез, а поэтому мог не напрягаясь почитать лекчушки в институте, пописывать статейки, давать советы своим аспирантам, которые без труда защищались, потому что профессор и на хорошем счету, да и особых научных идей, требующих защиты собственной грудью, Худов не выдвигал, чтобы иметь какие-то проблемы. Он даже вставал иногда по ночам, подходил к окну, смотрел в чужое польское небо, курил, размышлял. «Наверно, проходит шок, – думал он. – Теперь, когда все начинает становиться относительно на свои места, приходит время оценок, переоценок, крушения и создания ценностей, то, что модно называть словом «ломка». Еще эта баба. Зачем они мне ее подсунули. Нет, я сам ее выбрал, да. Но я-то никого выбирать и не собирался. Жил себе и жил один. На черта мне баба? Я же плохой семьянин. Вот будет фокус, если она сбежит от меня во время президентства, после того как я зафлиртую с какой-нибудь девчонкой из моих секретарш. Или эти козлы думают, будто нашли такого, который не позарится на пухленькую грудку? Или они найдут мне такую корягу, чтобы от нее воротило. Нет уж, господа хорошие, так не пойдет. Господи, Худов, куда ты попал! Ввязался в авантюру, а ради чего? Ради жизни? К чему такая жизнь?» В другой раз: «Нет, это поза, жизнь нужна. Куда без нее? Если это ради жизни, то пусть будет. Баба? Черт с ней, перетерплю, хотя я от нее совсем не в восторге. У меня такое ощущение, будто она меня изучает, пытается что-то во мне понять, что-то сложное и непонятное, хотя я на самом деле ясен как день. Ребята, разве я такой глубокий, что меня надо по-особому изучать? Вранье. Худов прост. Вот меня и раздражает ее анализирующая поза, умница хренова. Мне кажется, он дура, которая хочет казаться, нет, сама себе кажется умной. Самый страшный тип женщин. Попросить другую? А вдруг у них все такие? Ну ее к богу в рай, пусть себе будет».

С Еленой Худову приходилось проводить немало времени. Она возникала обычно внезапно, когда профессор надеялся урвать свободную минутку, чтобы заняться своим, и это еще больше вызывало антипатию к ненужной женщине. Еще он заметил, что Елена деланно улыбается. Нет, Худов был не против кокетства, когда женщина надевает на себя этакую маску легкой неестественности, но тут было не кокетство. Что? Он сам не мог понять.

«Наверно, я ей так же противен, как она мне, – думал Худов. – Во влипли». Впрочем, тут и он преувеличивал. Елена не была ему противна, просто он чувствовал, что абсолютно безразличен к ней, как и она к нему. «Ей что, так хочется стать женой президента? – спрашивал он себя и с издевкой отвечал: – Так это не ко мне. Ошиблись номером, барышня».

Одевалась она хорошо. Одежда была подобрана со вкусом и не отличалась дешевизной. Особенно ей хороши были длинные юбки и обтягивающие брюки, которые подчеркивали ее стройность и делали значительно моложе. То ли Елена это знала, то ли это знали ее грамотные стилисты, но получалось так, что совершенно не сексуальные вещи делали ее сексуальной и привлекательной. И она была бы именно такой, если бы вела себя подобающим образом, но она, дура, умничала и деланно улыбалась, чем всякий раз отпугивала от себя будущего президента профессора Худова. Или Тушина. Черт знает.

Однажды поздним вечером, когда Худов уже лег в постель, раздался звонок телефона, почти все время молчавшего до сей поры – Худов не понимал, зачем он нужен.

– Павел Николаевич? – говорил мужчина, голос молодой, незнакомый.

– Да.

– Извините за беспокойство, корреспондент газеты (Худов не разобрал названия) Евгений Шульгин, вы не возражаете, если я задам вам пару вопросов?

У Худова пересохло во рту. «Вот оно, началось!» О таком звонке его никто не предупреждал. Что делать, он не знал. Бежать консультироваться с Кочетовым? Но что тогда подумает этот газетчик? Если говорить, то как себя вести? Если отказаться, то они напишут, мол, не выходит на контакт со СМИ.

– Алло, Павел Николаевич. Вы меня слышите?

– Да. Пожалуйста, я готов.

– Верно ли, что вы никому не давали интервью? Если да, то с чем связано ваше молчание?

– Верно. Евгений – так ведь? – я работал на секретном объекте и не привык откровенничать.

– В таком случае, спасибо, что вы не отказываете нашему изданию. Вы человек новый на политической арене, но ваша партия набирает обороты. Как вам удастся так успешно работать?

– Я философ, работал в области социологии, – приписывал себе чужие заслуги Худов, но что-то делать надо было, – я представляю себе структуру общества и понимаю, какие политические технологии нужны сейчас.

– Вы ставите на интеллигенцию?

– Не столько на саму интеллигенцию. сколько на тоску по интеллигенции. Так получилось, что интеллигенция в России оказалась самым революционным классом, она хорошо делает революции, но потом сходит с арены. Мы же хотим показать, что есть еще русская интеллигенция, которая способна повести за собой.

– Кажется, Маркс считал иначе.

– Это было давно. К тому же надо учитывать русскую специфику.

– Вы намерены идти революционным путем?

– Тут терминологическая неувязка. Как понимать слово «революция». Для меня любое кардинальное изменение уже революция. Она может быть кровавой, а может...

– Бархатной? – подсказал Шульгин.

– Нет. Это слово тоже так или иначе связано в нашем сознании с насильственными переменами, хоть и без применения оружия. Пусть она будет ненасильственная. Вот этого мы и будем добиваться.

– Не кажется ли вам, что ненасильственная революция – это оксюморон?

– Нет.

– Также позиция. Хорошо. А как вы будете добиваться перемен?

– Только законными мерами.

– Для этого нужна власть.

– Естественно.

– Вы намерены облечь себя властью?

– Да.

– Вы замечательно уходите от прямого заявления. Тогда мне придется самому задать вопрос в лоб. Вы намерены участвовать в президентских выборах?

– Да, намерен.

– Вы считаете, у вас есть шанс на успех?

– Шансы есть у всех. Да и кто признается, что их у него нет? Я надеюсь, что во мне люди увидят того интеллигентского лидера, по которому давно истосковались. К тому же я неизвестен и не успел себя компрометировать.

– Не кажется ли вам, что, объявляя себя интеллигентом, вы скорее рискуете проиграть, потому что отношение к интеллигенту в обществе, мягко говоря, не из лучших.

– Это заблуждение. Если бы сейчас вы объявили, что всю жизнь землю пахали, что не имеете образования, что вы свой в доску, то вот тогда ваш шанс действительно был бы нулевым. Интеллигента ругают до поры до времени, но когда он оказывается на своем месте, то его воспринимают нормально.

– Партия создана для вашего продвижения по лестнице власти?

– Нет. Партия создана для достижения тех целей, о которых я говорю. Не больше. Но президентство не может рассматриваться вне целей нашей партии. Тут не стоит лицемерить.

– Похвально уже то, что политик обещает не лицемерить. Хотя без этого политики нет?

– Я еще молодой политик.

– Вы женаты?

– У вас политическая газета или бульварная?

– Вы не хотите говорить о личной жизни?

– У нас мало поп-звезд?

– Политик не должен распространяться на тему личной жизни?

– У него есть много других достоинств, кроме тех, что проявляются в постели. Извините, я занят, если вопросов по существу больше нет...

– Да. Спасибо за беседу. Я еще раз благодарю за эксклюзивное интервью...

Худов сел на кровати. Свет не горел. Откуда взялся это Шульгин? Худов даже не переспросил, из какой он газеты. В принципе, он просто мог разыграть его. Может, он и не газетчик никакой. Может, это и лучше. А вот если он газетчик и интервью выйдет... А зачем интервью? Чтобы выходить. И что скажет Кочетов? И кто там еще с ним? Худов было дернулся бежать к нему, но остановился. В конце концов, когда они зажигали весь этот сыр-бор, то должны были просчитать участие прессы. Худов кто? Худов – без пяти минут президент. Значит, он должен сам отвечать за то, что делает. Значит, пошел к черту Кочетов и иже с ним. Может, газетчик вовсе и не газетчик. А тогда о разговоре никто и не узнает. А может, это Худова проверяли? Тогда и вовсе все в порядке. Худов сплюнул, хотел закурить, но на ночь... Нехорошо. Читать? Нет. Он лег, отвернулся к стенке и спокойно уснул, спокойно, даже не подозревая того, что уже назавтра Кочетов скажет сакральные слова: «Все, уезжаем» – после чего настанет совсем новая, незнакомая, странная жизнь...

Квартира в Москве была шикарная, четырехкомнатная, с двумя спальнями – для Худова и Елены, с кабинетом, уже полным самых разнообразных книг, с огромной гостиной, где можно было принять целую толпу гостей. Посередине, вопреки привычке расставлять мебель вдоль стен, располагался довольно твердый ворсистый диван, сидеть в котором было настолько удобно, что он вмиг стал любимым местом Худова во всей квартире, даже более любимым, чем специально для него созданный кабинет. Напротив дивана стоял большой телевизор, а поскольку за последние полгода профессор пристрастился к пагубной привычке прожигать время перед светящимся экраном, то телевизор оказался далеко не самым ненужным предметом в его новом и, надо думать, долгом пристанище. Что касается Елены, то ее излюбленной территорией стала спальня, где жена Худова могла проводить без малого по полдня, без удовольствия покидая свое гнездышко, когда, усталый и голодный, будущий президент возвращался с непривычной для него службы. В качестве места общего сбора выступала большая и уютная кухня. Вероятно, раньше кухню от просторной прихожей отделяла стена, однако теперь она была сломана, что придавало кухне ощущение бесконечности, радовавшее Елену и огорчавшее Худова, привыкшего к маленькой, тесной кухоньке, куда могло набиться немало народу, чтобы вести горячие споры под водку с огурцом и сигарету с черным, душистым, по-советски дешевым кофе. А вот овальной формы стол под лампой, низко, по-дачному свисавшей над ним, радовал Худова несказанно. За этим столом можно было читать, заедая чтиво вкусным завтраком или ужином (обедал Худов, естественно, в офисе), который готовила... Нет, читатель, не Елена, Елена так и не пристрастилась к

кулинарному искусству; готовила его Полина Егоровна, совсем не такая старая, как могло бы показаться по ее имени-отчеству, но и не молодушка, что заставило бы напрягаться Елену, несмотря на долгое отсутствие Худова, который бы не преминул возможностью приударить за барышней. Полина Егоровна приходила рано, чуть ли не затемно, приходила тихонько, еле позвякивая замком, раздевалась в темной прихожей, чтобы светом паче чаяния не разбудить хозяев, даром что двери в спальни были не из стекла, надевала на ноги мягкие уютные тапочки, шла по ковру тихо, как кошка, и только в кухне, которая ей тоже не доставляла удовольствия своей безграничностью, зажигала свет и принималась за стряпню, чудесным образом умудряясь при этом ни разу не загромоздить посудой. Готовила она вкусно, по старинке, завтрак получался сытным, душистым, богатым, а сама Полина Егоровна искренне радовалась, когда Худов с Еленой ели, как радуется мать, глядя на лакомящегося ребенка. Худов уходил, а Елена оставалась. Хозяйка Полине Егоровне приглянулась, может быть, даже побольше, чем хозяин, странный какой-то, так ничего, но странный. А поскольку Полина Егоровна была из тех, кто не может ухаживать за квартирой, оставаясь в стороне, она и превращалась в товарку Елены.

– Когда я была девчонкой, школьницей, я подружилась с бабушкой, Анной Антоновной, – рассказывала она Худову.

– Это по легенде? – перебил он.

– Ты сволочь, Тушин. Или циник?

– Да. Продолжай.

– Мы познакомились в булочной. Она просила отсчитать ей деньги за хлеб, а я еще проводила ее до дома. Она рассказала, что живет одна, дочка у нее умерла, внуков, соответственно нет, и оставила телефон. Я на следующий день позвонила, Анна Антоновна пригласила к себе, я купила ей конфеты, пришла. У нее была такая уютная, чистая, ухоженная квартирка, ты бы видел. Мы сидели на кухне, и я рассказывала ей, рассказывала, рассказывала. Я ни с кем не была так откровенна, как с ней. Мама переживала, что у меня подруга ей в матери годится, а я впервые в жизни встретила человека, которому не надо было всего объяснять, она понимала меня буквально с полуслова. Мне кажется, мама даже ревновала меня к ней, хотя это было глупо, мама все равно ведь остается мамой, но я после школы сломя голову бежала к Анне Антоновне, мы пили чай, я с ней советовалась, делилась своими радостями и горестями, а она мне говорила, где я хорошо поступила, где плохо. Она никогда не ругала меня, хотя и не собиралась принимать все как есть. Потом мы разошлись. Это случайно как-то произошло, неожиданно, постепенно. Я стала ходить к ней все реже и реже, а потом и вовсе перестала.

– Почему?

– Не знаю. Подросла, что ли. У меня появились мальчишки, мне стало стыдно рассказывать, что я хожу к старушке. Вот и все. Она умерла, когда я еще училась в школе, в десятом классе. Представляешь, я случайно об этом узнала, спустя полгода. Даже не знаю, где ее могила. Хоронила ее двоюродная сестра, тоже старушка. Найти ее я не смогла.

- Хотела бы?
- Одно время очень хотела.
- А теперь?
- А теперь быльем поросло.

Такие разговоры у Худова с Еленой были большой редкостью, однако оба их очень ценили. Худову вдруг начинало казаться, что его с неожиданной-негаданной женой объединяет гораздо большее, чем он думает, что вот-вот появится повод сойтись и даже перебраться в одну спальню, но следующий день начинался как всегда, Елена снова холодно здоровалась с Худовым, и не потому, что была плоха, а потому, что была такая, и переделать ее, наверно, не представлялось никакой возможности.

Худов переживал. Он скучал по Афанасьеву, с которым не прочь был бы перекинуться фразой – другой за кружечкой пива. Он подумал об этом еще тогда, когда в черном форде ехал из аэропорта – домой. Странно – за окнами была Москва, Москва, которую он не видел больше полугода, но оказалось, что она совершенно не изменилась, осталась настолько своим, привычным, родным городом, что Худов не мог поверить в долгое отсутствие, он чувствовал себя так, будто только вчера, ну позавчера бродил там, где теперь катил форд. Елена сидела рядом, откинувшись на спинку и глядя куда-то вперед; на ее лице тоже не получилось бы прочесть радости или умиления; Худов подумал, что со стороны они выглядят странной парой, совершенно не годящейся для того, чтобы встать под объектив камеры и своим видом лишний раз убедить избирателя поставить галочку против чьей-то фамилии – Тушин.

Именно ради этого на следующий день Худов переступил порог офиса, на котором красовалась табличка: «Партия 10 сентября. Центральный совет».

– Прошу, – Кочетов распахнул дверь в кабинет. – Это ваш, так сказать, командный пункт.

Ничего особенного: стол, удобное кресло во главе, мягкий ковер, жалюзи на окнах, компьютер под боком, российский флажок на столе... Кочетов закрыл дверь.

- Итак, Павел Николаевич, царствуйте.
- Как во сне.
- Простите?
- Нет, ничего. Но это еще не царствование, царствование впереди. Далеко впереди. Не так ли?

– Наша задача приблизить этот желанный для всех нас момент. Будем работать, уважаемый, будем работать. Через полчаса к вам приходит Сотсков, а пока освойтесь.

Спустя несколько дней Худов появился на людях – вылез на экран телевизора. Для него это произошло неожиданно, спонтанно, но он догадывался, что велась предварительная работа, чтобы на некое ток-шоу пригласить председателя «Партии 10 сентября».

– Завтра выступаем. Так сказать, боевое крещение, – ввалился в кабинет Худова под конец рабочего дня Кочетов. – Чуть-чуть задержимся, чтобы обсудить детали.

По словам Кочетова, все было предельно просто и ясно: темой ток-шоу были актуальные проблемы молодежи. Худову нужно было встрять в нужный момент (ведущий предупрежден!), чтобы провести только одну мысль, о том, насколько необходима образованность среди молодежи, чтобы страна не впала в интеллектуальный кризис.

– Эти слова обязательно должны прозвучать, причем, естественно, из ваших уст. Не волнуйтесь, вы поедете не один, с Сотсковым, он поможет в случае чего.

Худова уже начинало раздражать, что ему не дают одному и шагу ступить, но первое появление на телевидении в сопровождении коллеги казалось вполне уместным. Видимо, Сотскова здесь знали, потому что приветливый молодой человек встретил их у дверей и сопровождал в небольшую комнату редактора, где Худов оставил вещи, покрутился перед зеркалом и отправился в студию. Случилось так, что на телевидении он был впервые. Да, читатель, дожил до стольких лет и ни разу не попадал под глазок камеры, поэтому прохладная безграничность, где все не оканчивается двумя стульями на сцене и несколькими рядами кресел, была ему в диковинку. Худов и Сотсков устроились на одном из первых рядов, куда им было указано.

– Ничего, – говорил Худову коллега по партии, – скоро вас пригласят одного, будете командовать парадом, а сразу нельзя, надо постепенно, постепенно.

Вообще говоря, Худов и не рвался. Сам он все ждал, когда же начнется настоящая партийная работа, корректировка программы, выработка генеральной линии, согласование работ на местах... До сих пор же все время занимало лишь то, как он должен себя представлять на людях, что говорить, как отвечать. Это занимало практически все рабочие дни и совсем не казалось Худову интересным, не артист же он, в конце концов. Вот и теперь прошло еще не меньше получаса, прежде чем с огромной свитой появился ведущий, которого Худов любил и не раз видел в телевизоре, сидя у себя в комнатке, в коммунальной квартире, пока Кузьминична что-то стряпала на кухне, чтобы подкинуть и ему кусочек по-соседски в старенькой тарелочке с отбитыми краешками. Публика заплодировала. Зазвучали дежурные слова, произносимые в полной тишине, а Худов не столько слушал их, сколько с интересом разглядывал жизнь, остающуюся по ту сторону (или сбоку) экрана, поражающую своей будничностью, слаженностью, непринужденностью. Вскоре одиночество ведущего размочили двое, приглашенные вступить в спор о проблемах молодежи: писатель Зубов и депутат Парамонов. К своему стыду, Худов не знал ни одного, ни другого. Между тем начался диалог. Писатель Зубов сразу же занял пессимистическую позицию и заговорил о том, как плохо обстоят дела с литературой для молодежи. Сам он, оказывается, написал повесть о студентах, а потому чувствовал себя вправе судить со знанием дела. Впрочем,

те высказывания, которые он отпускал о студенчестве, заставили Худова усомниться в том, что автор книги, даром что сам не так давно покинул alma mater, хорошо разбирается в проблеме. Почему-то он отказывал современному человеку в той пытливости, которая еще так недавно была свойственна нашему человеку, в том неугомонном стремлении к знаниям, в той тоске по неизведанному. Депутат Парамонов кивал головой, пытался поддакнуть писателю, но тот не собирался уступать своему виз-а-ви микрофон, так что пришлось прибегать к помощи ведущего, чтобы остановить неугомонного Зубова. Парамонов несколько не добавил оптимизма; он принялся ругать теперь уже систему нашего высшего образования, которая, как выяснилось, совершенно лишена практицизма, дает сугубо отвлеченное знание, а молодому человеку нужно не столько знать, сколько уметь выполнять элементарные операции (именно так: элементарные операции), необходимые для активной жизни (именно так: активной жизни). Ведущему определенно нравился заданный тон, и он стал обращаться к аудитории, которая с радостью кинулась и на молодежь, и на высшее образование, причем среди критиков было немало представителей этой самой молодежи, вполне готовой к зверскому самобичеванию. Худова бросало то в жар, то в холод, он рвался к микрофону и выхватил бы его, если бы не Сотсков, который сидел со спокойствием сфинкса, всем своим видом показывая, что еще не время. Наконец, ведущий посмотрел на Худова и произнес:

– Я рад представить вам Павла Николаевича Тушина, профессора, доктора философских наук, лидера «Партии 10 сентября», партии, отстаивающей интересы нашей интеллигенции. Павел Николаевич, каково же ваше мнение?

– Мое? Вы знаете, мне показалось, что столь чтимые мной господа, при всем моем уважении к их заслугам, имеют весьма призрачное представление о том, что такое современный студент. И это понятно, потому что для этого нужно взглянуть студенту в глаза не на перемене, а в момент работы, когда идет сложная лекция. Вот в этот момент пропадает весь пессимизм, весь скепсис в отношении к сегодняшней молодежи. Ты видишь перед собой людей, рвущихся к знанию, людей равнодушных, перспективных, энергичных. Естественно, возраст студента таков, что молодой человек не может не улыбнуться, не посмеяться, не поддеть того же лектора, так ведь это и здорово, потому что сам профессор, стоящий за институтской кафедрой становится бодр и молод. Не могу согласиться, господа. У нас замечательная молодежь. Я верю молодому человеку, я готов поделиться с ним не только знанием, но и своими, так сказать, научными полномочиями. Я понимаю, что мой аспирант должен будет сменить меня, профессора, когда моя голова станет работать хуже, чем его, а этот процесс – естествен. Я верю, что наша наука будет такой же передовой, какой и была на протяжении многих лет. Ученые с запада будут приезжать в нашу страну, чтобы учиться у наших ученых и специалистов. Тревожит лишь то, что мы теряем наши золотые головы, которые покидают Россию только потому, что материальное вознаграждение за занятия наукой ничтожно мало. Вот здесь я

вижу большую проблему, о которой говорил недавно в интервью одному из журналов и которую я обозначил как интеллектуальный кризис. Не практицизм образования, а достойная, обеспеченная жизнь ученого – вот какой нужен нам лозунг. Мертва теория без практики, но и практика без теории – ноль. Я и наша партия выступаем за укрепление отечественной фундаментальной науки. Человек интеллектуального труда всегда пользовался в нашем обществе не меньшим уважением, чем рабочий, крестьянин, воин. И мы не должны допустить того, чтобы на ученого смотрели как на чудака, как на одержимого наукой, потому что наука не дает возможности жить в каменном особняке, ездить на престижном автомобиле, наслаждаться всеми прелестями жизни. Давайте стремиться к тому, чтобы молодой человек хотел прийти в науку и двигать ее вперед не в Калифорнии или Англии, а у нас, в России.

Худова встретили аплодисментами. Он извинился, что говорил долго, а ведущий задал вопрос:

– А в каком вузе преподаете вы, Павел Николаевич.

И тут Худов понял, что говорил всю эту речь не Тушин – Тушин нигде никогда не преподавал, он кабинетный ученый, он практик совершенно в другом смысле, он совсем не знает студента, в отличие от Худова. Недаром же Афанасьев позвал жену из кухни:

– Послушай, как голос на Пашку похож.

– А кто это, Сережа?

– Какой-то Тушин. Первый раз вижу. Нет, до чего голосом на Пашку похож.

Худов осекся. Он стал вспоминать что-то из своей новой биографии, чем вызвал иронию со стороны Парамонова, мол, он студента видел не больше нашего, зато говорить умеет красиво. И было Худову необыкновенно обидно, что он не может сказать, что за всю свою жизнь он ничего другого делать-то и не научился, кроме как входить в аудиторию, поворачиваться лицом к студентам и рассказывать, рассказывать, рассказывать...

Кочетов ругался:

– Павел Николаевич, ты, дорогой, чуть всю обедню не испортил. Ты думай сперва, а потом уж говори. Эх, неважный из тебя актер получается. Все импровизировать норовишь. Внимательней, внимательней.

И лежал Худов в своей одинокой кровати, смотря вверх, в непривычно высокий потолок, и думал, как же все-таки ужасно однажды потерять себя самого.

Человек устроен так, что не привыкнуть к изменяющейся обстановке он не может. Вспомнить того же Робинзона – необитаемый остров стал ему домом родным, а иначе как было прожить не один десяток лет вдали от родины, от семьи, от цивилизации. Нет, наш герой оказался в ситуации куда как более пригодной для жизни, чем бедняга Робинзон: ему, напротив, не требовалось думать о том, чем себя кормить, как сделать жилище, не протекающее под струями проливного тропического дождя, где достать пресную воду, и деньги

значили для Худова гораздо больше, чем для единственного (до некоторых пор) обитателя необетованной земли.

Постепенно Худов втягивался в новую жизнь. Он приезжал на работу и уже сам ждал, что объявится какой-нибудь журналист и будет задавать, в принципе, одни и те же вопросы, а Худов ответит ровно так, как отвечал уже не один раз, ибо, учил Сотсков, «повторение – мать учения», потому что разные газеты читают разные люди, потому что наши недруги только и ждут, чтобы найти противоречия в наших заявлениях... Впрочем, где они, эти недруги, Худов пока не знал. Он понимал, что политика сегодня существует в условиях жесткой конкуренции, однако на своей шкуре зубов конкурентной борьбы еще не почувствовал. И, привыкая, Худов начинал испытывать если не наслаждение, то, по меньшей мере, некоторое удовлетворение от того, что делал, потому что полагал, что в целом поставленная перед ним задача выполняется вполне успешно.

– Что вас угнетает как политика, недавно ступившего на эту стезю? – спросила однажды некая радиожурналистка с прокурорным голосом, которой Худов давал интервью по телефону прямо в эфир.

Думать было некогда, поэтому пришлось отвечать честно, то, что наболело:

– Пожалуй, это два момента. Во-первых, отсутствие личной жизни. Я не говорю, что, как телезвезда, нахожусь под дулами фотокамер, но я еще не научился расслабляться и отходить от работы, чтобы предаться каким-то своим любимым занятиям, увлечениям. Во-вторых, и это, как ни странно, связано с первым, я ученый, и мне не хватает полноценной научной деятельности, с публикациями, конференциями, участием в ученых советах. Но достичь абсолюта невозможно, так что я не ропщу на свою судьбу.

Худов хотел добавить еще, что не знает, насколько долго ему удастся продержаться в политиках, но журналистка быстренько свернула разговор, поблагодарив Худова за интервью, а сам он уже понимал, что такие вещи не относятся к числу одобряемых, а потому вовремя осекся.

Впрочем, Худов не сказал главного – его связи с прошлым. Лежа ночами в своей одинокой постели, он все чаще и чаще думал о разведчиках, которые сами, добровольно соглашались жить по чужой легенде. Вначале, когда его только похитили и когда он еще не знал этой странной, нелепой цели похищения, прошлое жило вместе с ним, оно просто замерло, остановилось, оно могло в любую минуту ожить, едва рядом с Худовым появится человек, который скажет ему это короткое слово: «Помнишь?» Потом? Потом был шок. Худов ждал, что однажды эта фанаберия кончится и ему вернут его прошлое. Но она не кончалась. Она все больше и больше входила в его настоящую жизнь, а прошлое становилось сродни книжке, когда-то прочитанной, полюбившейся, куда очень хочется попасть, чтобы жить, как живут ее персонажи, но это невозможно, потому что персонажей в реальности нет, как нет теперь и его прошлого, умершего вместе с фамилией.

– Умершего? – Худов вскочил с постели. – Умершего!

Это случилось весенним солнечным днем. Было воскресенье, и жаждающего сесть в президентское кресло никто не ждал, ему запланировали отдых. Худов подкрался к двери в спальню к Елене и убедился, что она еще спит. Он хотел по такому случаю надеть костюм, но костюм предполагал сесть в машину и укатить по делам, так что Худов надел вещи, которые прибыли с ним еще из далекой Польши, не отвечающие его сегодняшнему стилю. Если спросят, куда он собрался, то можно назвать магазин, рынок, булочную, наконец, куда наши люди на такси не ездят. Худов осторожно, не гремя замком, вышел на лестницу и даже не поехал на лифте: так меньше шума. Внизу сидела консьержка.

– С добрым утром, Павел Николаевич.

– С добрым утром, – сдержанной улыбкой улыбнулся Худов, чтобы не вызвать охоты вступления в диалог, и своего добился.

Во дворе было пусто, если не считать двоих с маленькими собачками, но их Худов не знал. Ему хотелось как можно быстрее убежать прочь, туда, где нет ни одного человека, который может с ним запросто поздороваться, называя при этом Павлом Николаевичем, однако бежать или даже идти слишком быстро было бы тоже опрометчиво – такой человек непременно вызовет подозрение, поэтому Худов шел обычным шагом, не быстрым и не медленным, все дальше и дальше уходя от своего теперешнего обиталища. Последний раз, когда он один гулял по Москве, был прошлой осенью. Мог ли он подозревать, какую злую шутку сыграет с ним судьба? А ведь в тот день он вышел раньше, чем это было необходимо. Почему? Случайно, просто так получилось. Он поехал в метро, но вышел на Маяковской, чтобы прогуляться, пошел влево, мимо театров, пробираясь сквозь многоликую толпу, роящуюся возле бесчисленных дверей, звонкую, хаотичную и несказанно родную для всякого москвича. Ах, до чего беззаботен был он, ленивым шагом идущий навстречу превратностям судьбы. Он глазел по сторонам, не подозревая ровным счетом ничего! Вот две девушки, такие милые, молоденькие, веселые; они почему-то взглянули на него и засмеялись; Худов (тогда еще настоящий Худов) ответил им хитрой улыбкой, отчего барышни засмеялись еще больше. Вот у входа в сад молодой человек вглядывается в лица идущих. Он ждет кого-то, но этот кто-то все не появляется, как ни смотри молодой человек на часы. Вот двое, в дорогих костюмах нараспашку, в галстуках, то и дело впрыгивающих на плечи, идут решительно, с серьезными лицами, видно, обсуждают свой бизнес, готовый принести им безбедную жизнь. Вот интересная женщина выходит из черного автомобиля, у которого никак не сработает сигнализация; она сердится, но автомобиль дорогой, и оставить его открытым никак нельзя... Худов идет и не знает, что пройдет несколько часов – и его, мертвецки пьяного, сунут в чужую машину и повезут бог знает куда, чтобы взамен на странную игру лишить лица, фамилии, прошлого...

Итак, с тех пор Худов впервые в полном смысле остался один. Он осознал это, когда вышел на людную улицу, остановился у витрины, как это делают шпионы в детективах, и попытался понять, не идет ли за ним кто-

нибудь. Нет, хвоста не было, а значит, он временно абсолютно свободен. Возникла ли у него мысль кинуться в ближайшее отделение милиции и рассказать там всю правду? Да, естественно. Но еще лежа в постели и вечером обдумывая план своего утреннего побега, он понимал, насколько это нелепо. Исходов могло быть только два: либо пулю в лоб, либо психушка, потому что у них все схвачено, все куплено, а поэтому его правде противопоставят другую, в которую и поверят, а ему даже не удастся вынести сор из избы. Напротив, он должен показать своим хозяевам, что он лоялен, что ему можно верить, что он не уйдет и если нуждается, то не в привязи, а в свободе. Худов посмотрел на часы. Было около 9. Если не случится ничего из ряда вон выходящего, то трезвонить в такую рань никто не станет, потому что он сам просил не будить Елену, она любит по утрам поспать. Обычно звонили на мобильный. Худов подержал его в руке: выключать или нет? Если выключить, то сразу позвонят по домашнему, разбудят Елену, она пойдет к нему в спальню и так далее. Если не выключать, то спросят, где он, и собьют весь план. Можно не подходить. Предположим, Худов в ванной, а телефон остался в спальне. Тогда снова звонок домой и уже известный сценарий. Худов задумался, что ему важнее – остаться с незапятнанной репутацией или довести разработанный план до конца. Нет, лучше на время пропасть, а потом вернуться, вернуться самому – и он выключил телефон, лишив себя связующей нити со своими начальниками и нарушив строгую инструкцию.

Минуту спустя Худов почувствовал, что действительно свободен. И мимо шли такие же свободные люди, как он. Их было немного – воскресенье, и они не обращали никакого внимания на немолодого человека, который засунул руку в карман, вытащил оттуда скомканную сторублевку и просунул денежку в окошко ларька:

– Пачку «Мальборо» и бутылочку кока-колы.

Он терпеть не мог, когда пьют на улице, но все пили, и он хотел быть как все. И сигареты еще не кончились, но он хотел купить, просто купить что-нибудь. Никто не обратил внимания, когда он вошел в метро, встал на эскалаторе и, проехав примерно до середины, решил оставшуюся часть пройти пешком, чтобы, коли таковой есть и не замечен им, скрыться от хвоста; по этой же причине он сел в последний вагон, в который не садился больше никто...

Трудно представить себе, что москвич испытывает наслаждение, находясь в метро, но это было так. Худов сидел на лавке, вытянул вперед ноги, а по его глазам было видно, что он счастлив. Он сам напоминал себе пьяного, который дорвался до возжеленной бутылки, опорожнил ее и теперь переживает каждой клеточкой своего тела то приятное состояние, когда хмель уже принялся за дело, но еще не стал обременительным. Худов всеми легкими вдыхал с детства знакомый запах, слушал названия родных, до боли знакомых станций, всматривался в лица попутчиков, для которых поездка в подземке была не более, чем утомительная и необходимая процедура. Напротив сидели двое, видимо, муж и жена. Он дремал, она читала. На полу стояли сумки, какие часто увидишь у дачников. Она о чем-то спрашивала, он, не открывая глаз, отвечал.

Худов подумал, будет ли он так же ездить с Еленой или метро как вид транспорта им заказан. И еще: если она попадет, как он сейчас, в метро, ёкнет ли ее сердце? Вообще, сухость Елены не позволяла увидеть, страдает ли она по своему прошлому. У Худова даже складывалось впечатление, что прошлого у нее просто не было, что нечего ей скрывать, недоговаривать, что ее легенда не накладывается на жизнь, прожитую ранее, до этого странного замужества. Да какое это замужество? Тамара совсем другая. Или вот Таня Боровских. Или Вера. С Верой все было бы совсем по-другому. Где она?

Худов пересел с линии на линию. Там народу было больше. Он снова осмотрелся, нет ли хвоста. Хвоста не было. Две станции – и он у цели. Не было десяти часов, когда он снова оказался на земле. У перехода женщины продавали цветы. Худов бы прошелся вдоль всего ряда, приценился, выбрал получше, но было не до того, вот только стянутых красными резинками головок он не признавал.

– Тюльпанчики, молодой человек.

Худов усмехнулся – молодым себя никак не считал.

На асфальте стояло блестящее ведро, полное тюльпанов, вытянувших свои красные ротки к потенциальному новому хозяину.

– Берите, вон какие, не пожалеете.

Худов почувствовал весеннюю нежность, прикоснувшись к одному из цветков, приценился только для виду и купил небольшой букет, отказавшись от прозрачного домика для стайки тюльпанов. Куда же шел наш герой? На свидание? К кому? Разве остался кто-то, кто бы считал его живым? Спустя три минуты Худов вошел в кладбищенские ворота. На центральной аллее былолюдно: воскресный день не был праздничным, но ясная погода призывала к тому, чтобы прийти на могилу после долгого зимнего перерыва. Худов запустил руку в карман плаща, наполнив ладонь звонкой мелочью, которой непременно делился с бригадой кладбищенских нищих, получая взамен слова христианских благодарностей. Кладбище дышало холодком. Листва на деревьях еще не распустилась, и весеннее бледно-голубое небо, глядевшее сверху, развеивало печальное настроение. Худов думал, зайти в церковь или нет, посмотрел на часы, прикинул в уме, что лучше бы побыстрее, но он всегда заходил в церковь, и ноги понесли сами, чтобы через несколько минут внутри, где со света казалось совсем темно, стало светлее на две свечи, поставленные за упокой.

– Обедню не хотите заказать? – обратилась к нему маленькая усохшая старушка.

Худов вздрогнул. Он понял, что боится быть узнанным.

– Нет. Не хочу.

– Свечи за упокой поставили. Надо бы обедню.

– Нет, не нужно, – и вышел на свет.

Люди шли с лопатками, обернутыми газетами, полиэтиленовыми пакетами, газетами, тряпками, с лейками, с маленькими грабельками и совочками; шли родители и дети, старики, старушки, деловые обеспеченные мужики, убогого вида дядечки в беретках и с дырчатыми авоськами образца

семидесятых, женщины вида «глава семьи», шикарные девчонки, которые явно после этого, не заходя домой, в компанию... «Интересно, – думал Худов, – есть ли среди них еще хоть один такой, кто пришел сюда тайком, боясь слежки, потому что рискует быть выпровожен за пределы кладбищенской ограды, да еще получит никогда не приходить сюда под страхом того, что его привезут сюда вопреки воле? Даже вот этот сумасшедший, непременный атрибут погоста, не озирается, как загнанный зверь, как пуганая ворона, которая боится куста. Вот приложила меня судьбина, врагу не пожелаешь». В разные стороны расходились аллеи, и толпа редела. Худову надо было вперед. Повинуясь инстинкту преследуемого, он чуть было не свернул вправо, но сказав себе: «Не доводи до абсурда-то, в конце концов», – пошел прямо. Все было знакомо, ото всего веяло той самой, утраченной жизнью: вспоминались фамилии на надгробьях, ограды, облупленные ангелы плакали, как и сто лет назад, звезды не заменились крестами, кресты – звездами. В некоторых местах, правда, возвышались холмики встревоженной земли, так на то оно кладбище, а не музей, вздыхал наш герой. Вскоре на пути возникло вековое, чуть склоненное дерево, за ним вода (здесьнее название колонки), а потом поворот вправо. Дорожка пока узкая, но вскоре и она сузится, чтобы двоим еле разойтись. Вот могила танкиста с черным бюстом в шлеме, от нее вбок, с трудом протискиваясь мимо оград. Одна, другая, третья, четвертая. Вот она. Худов размотал проволочку (все хотели замок, да не собрались). Худов глянул на черный надгробный камень и ужаснулся. Хотя как могло быть иначе? Он слышал, что некоторые, оставаясь одни, сами заказывали выбить свое имя рядом с именем жены или мужа, оставив чистое для даты смерти. Но все же им было проще: на памятнике под именами Сергея Ниловича и Александры Васильевны значился Худов Павел Сергеевич. Потом Худов обругал себя, что на могиле у родителей первым делом подумал о себе, но тогда он ничего не мог поделать и проговорил вслух:

– А ты пережил себя, Павел Сергеевич. Поздравляю. Долго жить, видно, будешь.

В качестве даты смерти значился прошлый год (дней и месяцев мама ставить не хотела: «Кому надо, тот помнит, а другим – нечего»). Значит, правду они говорили, что похоронили.

Следующее, на что обратил внимание Худов, была чистота на могиле; она явно была убрана после зимы. Он снова стал озираться, в страхе увидеть того, кто бывает здесь – Тамару, Женьку, Кузьминичну... Но потом решил, что напрасно. Хуже было бы, если бы на могиле лежала осенняя листва, тогда вероятность их прихода была бы выше. В баночке стояли успевшие увянуть цветы с обломанными стебельками; баночку завели новую, а ту, которая здесь стояла много лет, наверно, выкинули. Худов привычным движением обломал свои тюльпаны, остатки стеблей вместе со старым букетом отнес в мусорную кучу, активно пополняемую в выходные дни, и вернулся, чтобы сесть на скамейку, которую поставили здесь после смерти матери. Хозяйским жестом он провел по ее поверхности и подумал, что пора красить. Эх, не сообразил

прихватить с собой баночку, а то бы Женька с Тamarой гадали, кому это пришло в голову.

В Худове противоборствовали два состояния: умиротворенности, какое всегда возникает на кладбище, и возмущения от появившейся надписи внизу памятника. Он присел на корточки и стал рассматривать ее, прикидывая, нельзя ли как-нибудь избавить себя от столь неприятного зрелища. Если пойти к мужикам и попросить зашлифовать ее, то едва ли они на такое согласятся. сказать, что это ошибка, что Худов Павел Сергеевич собственной персоной стоит перед их очами, значит, расписаться в собственном сумасшествии, потому что по всем документам указанное лицо почил в бозе и покойся на указанном участке, о чем в книгах сделаны соответственные записи. Заплатить? Во-первых, дорого запросят, а во-вторых, все равно не согласятся. Хоть бы дату смерти забить. Худов огляделся. Рядом с оградой, на дорожке, разлилась небольшая грязная лужа. «То что надо!» – подумал он и, не брезгуя, зачерпнул целую ладонь жижи, которую размазал по ненавистной дате. Ничего не получилось, разве что памятник испачкался: проклятые цифры, выгравированные глубоко, проступали. Тогда Худов подвинул банку с цветами поближе, но обломанные стебельки были малы и не дотягивались даже до последней строчки, под которой оставалось еще место.

– Видно, судьба, – сплюнул Худов и отправился вымыть руки.

У воды выстроилась очередь. Струйка была слишком немощна, чтобы быстро удовлетворить запросы всех, поэтому люди покорно стояли друг за другом, поругивая руководство. Худов попытался попросить пропустить его вперед, он же без емкости, ему только руки ополоснуть, но старичок в шляпе и в костюме никак не хотел уступить и пришлось стоять. Худов даже подумал, а не уйти ли отсюда вовсе, родителей навестил, а скоро проснется Елена, чего доброго искать начнет, но тут здоровый парень взглянул на Худова:

– Иди сюда, мой.

Уходить стало неловко. Худов вернулся и снова сел на скамейку. В конце концов, подумалось ему, это же просто ошибка, это насилие над настоящим. Ничего он не умер, а живой и здоровый сидит вот здесь, разве что имя и отчество поменялись, так пусть они рассматриваются как псевдоним. Родители, если им видно оттуда, узнают его, как бы он себя ни нарекал. Худов рассказывал Женьке, что бабушка с дедушкой ждут их, то же самое говорил про своих родителей Сергей Нилович, когда приводил сюда маленького Худова...

– Простите, пожалуйста, – раздалось вдруг откуда-то сзади.

Худов обернулся: перед ним стоял мужичок лет семидесяти с небольшим, которого он знал давно.

– Мы тут рядом, соседний участок.

Худов посмотрел туда, куда указывал мужичок. За зеленой, давно не крашенной оградой стояла жена, кивком головы приветствующая Худова.

– Такой ужас, мы знали их всех. Сын погиб так нелепо, так нелепо. А вы им кто?

– Я... Знакомый... Я знал Павла Сергеевича...

Мужичок молча покивал головой.

– Нелепая смерть. У меня здесь сестра. Она тоже погибла ужасно, заснула и отравилась газом. Еще в семьдесят втором. Думали, что она покончила с собой, но это полная глупость. У нее остался замечательный муж, дочка. Впрочем, в такой смерти есть одно хорошее, если у смерти есть хорошее: она не мучилась.

Худов поддакивал и молчал.

– Вы убрали могилку? – снова спросил любопытный дядечка.

– Нет. Я вот только цветочков...

– Да. В ту субботу еще никто не убирал. Может быть, в воскресенье?

– Может быть. Это наверно, Тамара с Женей.

– Это жена?

– Жена. Бывшая. И сын.

– Вы их знаете? – допытывался старичок.

– Конечно.

– Михаил Леонтьевич, – вдруг позвала старичка жена, – ты бы предложил товарищу с нами помянуть.

– Да, да, – встрепенулся мужичок. – Может?.. Не откажетесь?

– Спасибо. Я собирался уходить...

– Не стесняйтесь. Мы знали их давно. Давайте. У нас все разложено.

Худов посмотрел и увидел, что на столике стояла бутылка водки, рядом лежала нарезанная копченая колбаса, белый хлеб тонкими ломтиками, даже баночка с солеными огурцами.

– Давайте за всех наших ушедших, – предложила женщина, разливая водку в желтоватые стаканчики, в каких обычно полощут зубы. – За всех.

«Так уговаривают, словно третьего ищут», – подумалось Худову, и он чуть не сморщился от кощунственности своей мысли. Строго говоря, помянуть он был не против, к тому же водка помогла бы расслабиться, но вот только пить за собственный упокой никак не тянуло. Однако безадресная формулировка «за всех ушедших» вполне устраивала: они могли пить за кого угодно, Худов же помянет своих родителей.

Михаил Леонтьевич взял стакан и хотел было чокнуться, если б не жена, которая буквально схватила его за руку, тот свободной рукой хлопнул себя по лбу, поднял стаканчик, выпил, сморщился и стоял так до тех пор, пока не выпил Худов, потом нырнул вниз, схватил два огурца – один для себя, другой для Худова – и смачно разгрыз его, не занюхивая. Водка оказалась отвратной. Худов с радостью откусил невыносимо соленый огурец, чтобы забить жесткую горечь сорокаградусной, удивляясь даже не тому, как спокойно выпил свой стакан старик, а его старухе, столь же невозмутимо проглотившей полагающуюся ей порцию. Худов собрался было сразу уйти, но мужичок принял такой вид, который выражает известную формулу «надо бы посидеть», так что смыться сразу было бы некрасиво, не по-русски как-то.

– Извините, – промямлила вдруг женщина. – Мы увидели вас на могиле и подумали, что вы очень похожи на сына, на Павла Сергеевича то есть. Я даже ахнула.

Михаил Леонтьевич закивал головой, причмокивая соленым огурцом:

– Да, да, очень похожи.

– Мне как-то говорили, – ответил Худов, укрепляясь в своем намерении уйти. – Нас даже путали. Еще при жизни Павла Сергеевича.

– А вас, простите, как зовут.

– Павлом Николаевичем. У нас даже имена совпадали.

– Да, да, да, – снова закивал головой мужичок. – Еще по одной?

– Нет, спасибо. К сожалению, я должен идти. Я смог выкроить полчаса, чтобы сюда прийти. Извините. Мне было очень приятно познакомиться.

Худов ушел - и воспрянул духом. Его теперь совсем не пугало, что его потеряют, не смогут разыскать, поднимется хай: он сделал то, что хотел, то, что мучило его вот уже не один месяц: он сходил на могилу к родителям. Ладно, пусть там появилась эта дурацкая строчка, но это же вранье, чушь, даже эти двое, которые заподозрили в нем призрака, восставшего из могилы, не хотели верить, что Худов Павел Сергеевич мертв. Забавные старички: чтобы задать этот дурацкий вопрос – кто он, – они даже водки не пожалели. А водка, хоть и плоха была, а тоже сделала свое дело: стало легче и свободнее, появился какой-то внутренний задор, даром что Худов продолжал топтать по кладбищу. Людей, движущихся навстречу, заметно приумножилось, порой приходилось даже уступать им дорогу. На перекрестке двух аллей возник трубач, который задушевно, тихо, *funebre* играл минорные пассажи. Худов кинул в футляр его инструмента десятку, потом еще по монетке дал нищим, вышел за кладбищенскую ограду, чтобы к полудню ключом открыть дверь своей (своей ли?) квартиры в центре Москвы.

– Павлик, ты? – встретил его голос Елены, раздавшийся из ванной.

– Да.

– Где ты был? У тебя не отвечал мобильник.

– Извини, дорогая, наверно, я забыл его включить. Будешь чай?

– Буду кофе.

– Хорошо. А мне никто не звонил?

– Нет, ты не настолько нужен, чтобы тебя искали по воскресеньям.

Худов чмокнул через дверь и, радостно свистя, что все обошлось как нельзя лучше, отправился на кухню.

Это был замечательный день. Новоиспеченные супруги провели его вместе в удивительном единении, какого не испытывали, может быть, с самого начала их недавней долгой совместной жизни. Худов даже подумал, что нисколько не ошибся в выборе партнерши, пусть Елена и с непростым характером, но совершенно не факт, что те, другие, были лучше, однако она определенно умна, прекрасная собеседница, знающая себе цену женщина, так что совсем уж и не плохо иметь ее в качестве жены.

Телефонный звонок раздался часов в пять вечера. Это был первый телефонный звонок за день.

– Павел Николаевич? Извините за беспокойство в выходной день и дома. Только один вопрос, – это был журналист какого-то дешевого издания, в которое по дурости сунулся Авдеенко, за что получил нагоняй от Сотскова. – То, о чем я спрошу, произошло абсолютно случайно. Поверьте, абсолютно. Вы были сегодня на кладбище, ведь верно? Я вас узнал и увидел, что вы посетили могилу Худова. Это ведь тот ученый, который осенью погиб при невыясненных обстоятельствах. Наша газета делала репортаж тогда, поэтому мне это известно. Скажите, вы знали Павла Сергеевича Худова?

Худов понял, что попался. Это был если не провал, то очень серьезный промах, за который по головке не погладят.

– Знал. Мы встречались на научных конференциях. Полемизировали. Давно хотел сходить к нему на могилу, потому что не мог присутствовать на похоронах. Вы удовлетворены?

– Да. Это вопрос не для публикации, поверьте. А вам известно что-либо о причинах похищения и гибели вашего коллеги?

– Не больше, чем об этом писалось в прессе, – ушел от ответа Худов. – Я ни с кем не обсуждал этого, потому что знал только Павла Сергеевича, а вот даже с его близкими друзьями знаком не был, поэтому вряд ли чем-то смогу помочь.

– Спасибо. Извините еще раз.

Худов повесил трубку со смешанным чувством. Скорее всего, думал он, пронесло, так как этого писаку, видимо, больше интересовал все-таки он не в новом, а в старом облики. «Черт возьми, – хотел сказать ему Худов. – Я мог бы наговорить тебе такое, что вытащило бы твою газету на первое место по читаемости. Эксклюзивный материал – Худов и кандидат в президенты Тушин – одно лицо. Вот это сенсация». Несмотря на вероятное отсутствие интереса у журналиста к приходу Худова на кладбище, стоило предупредить возможное нежелательное развитие событий: а вдруг он подготовит какой-то материал о Худове, скажем, к полугодовому юбилею похищения, мол, как плохо работают органы, и напишет о знакомстве Тушина с Худовым. Вот это вероятно. Придется готовить тылы Как? Поехать и рассказать обо всем Кочетову? Но он впадет в истерику, будет орать, материться, бегать по комнате. Нет. Сотскову? Но он ничего не знает о худовском прошлом. Остается Авдеенко, хоть он и не самый умный член команды. Худов снял трубку, чтобы позвонить, но осекся. А вдруг телефон прослушивается. Нет, это слишком серьезно, нужно ехать. Вызвать шофера? Завтра же будет вопрос, зачем ездил к Авдеенко.

– Лена, я должен срочно съездить в одно место. Буду к ужину.

Кажется, Елене объяснили, что вопросов задавать не следует, если Худов сам не дает на них ответа, хотя вполне вероятно, что она шпионила в адрес заказчика, но она только пожала плечами, мол, раз надо, а Худов через десять минут уже ловил машину.

Жил Авдеенко далеко, Худов названия улицы-то такой никогда в жизни не слышал, поэтому пришлось отказаться от услуг двух водителей, которые были готовы вести куда угодно при условии, что пассажир дорогу покажет, и только третий, на синей семерке, молча кивнул головой, мол, полезай, коли готов ехать за любые (не свои же!) деньги. Москва еще не стемнела, но над головой нависли тяжелые тучи, готовые разразиться дождем. Машин было мало, ехали быстро, здоровенный детина шофер рассказывал о своей теще, которая ему родней матери, потому что солит такие грибы – закачаешься, а на осень запасаешь столько банок, что можно в магазин не ходить.

– Знаешь, она меня больше, чем Ольгу любит, я тебе говорю. Позвонит – меня зовет, хочу, говорит, с Виталиком пообщаться. Ольга ей: мам, мам, а та – давай Виталика. А чего, я ее в лес свезу, в больницу вон устроил, когда давление, она толстая просто, вот и давление, сердце там. Все к этой дуре своей ходила, а я ей говорю, надо в больницу. Устроил ее, там обследовали со всех сторон, лекарств подобрали – все дела, а Ольга-то не очень суетилась. Я ей говорю: мать же, ты бы хоть навестила, гостинчиков привезла. Но зато сына просто облизирует, я тебе говорю. Он для нее – бог. Вот не преувеличиваю. Я ей, правда, сам сказал, ты не работай. Как родишь – не работай. Сам посуди, мне надо, чтобы он в сад ходил? Я что, зарабатываю мало? Нет. Я ей все сделаю. Мне ж самому хорошо, чтоб прийти – супчик на столе, в доме прибрано, ребенок при матери – верно ведь, а?

Худов вначале злился, что парень пустился во все тяжкие рассказывать про свое житье-бытье, а потом даже обрадовался, потому что голова постепенно стала освобождаться, тревога прошла, настало успокоение при виде этого простого, уверенного в себе, надежного детины. «А зачем вот ему президент? – задумался Худов. – Есть ли ему разница от того, кто стоит у кормила власти? Он будет при любом президенте, при любом строе крутить баранку, которая прокормит его и позволит растить сына его неработающей жене, тем более что тещин огород позволяет жить безбедно целую зиму. А дальше огород, своя зелень, свои огурчики, свои помидорчики, своя картошечка молодая поспеет. Как я смогу убедить его, что голосовать надо за меня, интеллигента, что, мол, вот я приду – и все изменится. Что ему надо менять? В чем ему плохо?»

В разговорах да в мыслях прошла вся дорога, закончившаяся тем, что машина не просто нашла нужную улицу, а подкатила будущего главу прямо к подъезду, хотя Худов и не просил этого.

– А чего ты искать-то будешь? Деньги ж уплочены, значит, я должен отработать по полной. Я ж не хапуга, верно, а?

Выходя, Худов даже пожал ему руку, пожелал счастья и в ответ услышал массу добрых слов.

Авдеенко Худова, естественно, не ждал, тем более было странно, насколько быстро стол оказался накрытым, причем, пока не сели, хозяин не желал ничего слушать.

– Кажется, я попал в неприятную переделку, – начал Худов, когда первая рюмка оказалась опорожненной. – Я приехал к тебе, Слава, как к самому

спокойному и адекватному человеку, чтобы ты мне помог. В общем, я сегодня нарушил правила: я был на могиле у своих родителей и, так сказать, у себя самого, и дважды был узан.

Худов в подробностях рассказал о том, как его приняли за Худова два старичка, и о журналисте, заметившего его возле указанной могилы. Авдеенко слушал молча, даже не пил во время рассказа, однако своей речи предпослал тост, чтобы все складывалось как нельзя лучше.

– Вот что я тебе скажу, Павел Николаевич, – начал он, закусив кусочком красной рыбки. – Не перегибай палку. Все идет по плану. Жалко, что ты информируешь меня *post factum*, я хоть человек и не самый главный и не самый разумный, но что-то от меня зависит, а главное – я могу пойти тебе навстречу. Но это лирика, сам понимаешь. Теперь давай к делу. Во-первых, станем реалистами. Я старый человек, я много лет хожу на могилу к своей сестре и вижу, естественно, соседей. Скажи, Павел Николаевич, когда ты идешь по кладбищу, ты на памятники смотришь? Ты покачиваешь головой: ах, как мало он прожил? А если видишь, скажем, одну дату смерти у жены и мужа, то думаешь, уж не в автокатастрофе ли они погибли? Ты же в этот момент сплетничаешь, про себя или делясь своими соображениями, но сплетничаешь, ибо человек по натуре своей сплетник. Это не зазорно, это естество. Так вот я, старичок, тоже сплетник, я смотрю на могилу этих своих соседей, я вижу мужика, который точь-в-точь покойник, и как же в моем мозгу не возникнет тот самый мистицизм, требующий выяснить, уж не из гроба ли он восстал. Вот я и подойду к нему, а жена еще и шкалик нальет, чтобы все до конца выяснить. Выяснили? Ничего интересного? А раз ничего интересного, то они и говорить ничего не стану. А если скажут, то кому? Соседке Марье Ивановне? Да пусть говорят. Давай еще дернем.

После следующей рюмки Авдеенко продолжал:

– Теперь во-вторых. Павел Николаевич, будем прагматиками. Теперь я журналист, иду по кладбищу и становлюсь свидетелем такого вот совпадения: раскручиваемый политик стоит на могиле странным образом погибшего философа. Естественно, материал может быть сенсационным. Я играю ва-банк, то есть звоню этому самому политику и говорю, что все видел. Что мне нужно? Мне нужна ниточка, связь, верно? А вдруг он участвовал в похищении и причастен к смерти. Что же я узнаю? Это знакомство по симпозиумам. Почему же ты пришел на могилу только сейчас? Да в его же интервью говорилось, что ты жил в закрытом городе, что был практически засекречен, не мог сюда выбраться, потом была зима, а весной – самое время на кладбище сходить, ты же порядочный человек. Опять неинтересно, материал сорвался, успокойся, понял? Лучше давай с тобой порадуемся: журналист тебя признал, журналист сам тебе звонит, он тебя знает, он в тебе ищет сенсацию, а это то, что нам нужно! Ты становишься звездой, Павел Николаевич! Привыкай, парень.

И Худов порадовался. Авдеенко еще посмеялся над его конспирацией, так смеялся, что чуть животики не надорвал. И Худов смеялся. На обратный

путь вызвали Никиту, удивившегося, как это его хозяин оказался в такой глуши, но молча тронулся в путь и с ветерком доставил Худова на место.

– Не сидится вам в выходной, – встретила его консьержка, глядя поверх очков. – Работа?

– Да, некуда деваться, – ответил Худов и исчез, слишком громко для вечернего часа хлопнув дверью лифта.

А жизнь «Партии 10 сентября» шла своим чередом. Вернее, она кипела, бурлила, фонтанировала, и вклада Худова в этот процесс не было никакого. Так получилось, что Худов стал представителем партии в масс-медиа: он разговаривал с журналистами, давал интервью на радио, мелькал на телеэкране, а собственно в народные массы отправился его заместитель, правая, как было сказано, рука – Виталий Васильевич Шамшин. Такой расклад был четко спланирован Кочетовым и его начальником Петром Григорьевичем Львовым. Они поставили перед Шамшиным задачу фактически разработать все концептуальные моменты до нового года, чтобы их якобы отредактировал находящийся в тени шеф, то есть Павел Николаевич Тушин. Естественно, в то время никакого Павла Николаевича Тушина не существовало, а работу за него выполняли означенные Кочетов и Львов. Когда Худова привезли в Польшу и, скажем так, рассекретили, делать ему было уже совершенно нечего, он пришел на все готовенькое, и на это тоже был расчет. Во-первых, это позволило держать Худова в узде, чтобы ему не пришло в голову заниматься ревизией программы партии, а во-вторых, это же давало возможность сделать из него публичную куклу-марионетку, которая светится на экране, а сама при этом ровным счетом ничего не делает. Заваленный такого рода деятельностью, Худов действительно больше ничего не успевал; он был бы рад сесть за бумаги, перетрясти их, выслушать своих заместителей, но едва это представлялось возможным, как прибегал Сотсков и срывал будущего президента на очередное шоу. В итоге получилось так, что Худов с Шамшиным практически не встречались, каждый выполнял работу на строго отведенном ему участке.

Постепенно сложилось так, что Шамшин вообще все реже и реже стал бывать в Москве: проходил день или два, чтобы вице-лидер мог хоть немного почувствовать себя отцом и мужем, как раздавался телефонный звонок, и Кочетов начальственным полковничьим тоном говорил, что надо ехать в Великий Новгород, Самару, Ульяновск, Псков, Владивосток, Сыктывкар... Однажды Шамшин попытался было возмутиться, мол, есть и более низкие чины в партии, чем вызвал взрыв гнева Кочетова, напомнившего, сколько ему, Шамшину, платят денег, на которые можно взять еще кого-нибудь – не проблема. Тот осекся, но в душе затаил обиду. Ему было совершенно непонятно, почему с приходом нового человека, пусть и лидера, его так задвинули, будто не он создал всю теоретическую основу деятельности.

– Кто он такой, Семен? Откуда он взялся? Разве не мы не спали ночами? – жаловался однажды Шамшин Семену Пазухе, когда они вдвоем сидели в грязном гостиничном номере северного городка, куда их занесла судьба голосом

Кочетова. – Где он был, когда мы надрывали себе связки, чтобы все было в лучшем виде? Ты прости меня, я откровенничаю, но у меня наболело, так наболело...

Пазуха кивал головой, но разговора поддерживать не намеревался, по крайней мере в выбранной Шамшиным тональности.

– Я думаю, ты преувеличиваешь, Виталий, тебя ценят несколько не меньше. Кто еще так смог бы представлять партию? Этот Тушин – ученый, философ, он же производства не видел, он здесь чужой, а ты – сила.

И Пазуха был, безусловно, прав: Шамшин приходил на завод так, как раньше, при советской власти, приходил представитель министерства – деловито, энергично, напористо, и это было так, потому что Шамшин и был при советской власти работником одного из министерств, пусть мелкой сошкой, но он видел, как ведут себя те, занять место которых мечтали все, в том числе и Шамшин. Теперь он распахивал дверь автомобиля – и его встречали первые лица на производстве, причем Шамшин руки не протягивал, ему нравилось, когда здороваются с ним, что уже придавало значимости. Он шел к заводууправлению и нюхом чуял, какой нужно задать вопрос, чтобы попасть в болевую точку, чтобы затронуть проблему, серьезно волнующую руководство, но не решаемую без привлечения центра. Уже в течение пяти – десяти минут Шамшин завоевывал такой авторитет, который позволял ему склонять на свою сторону руководителей, которые сами были не лыком шиты и у которых создавалось впечатление, что сотрудничать с теми, кто стоит за этим ушлым мужичком, выгодно. А Шамшин решительно шел по цехам, обращался к рабочим, задавая им вопросы, демонстрирующие, насколько он глубоко знаком с тонкостями производства, и это подкупало не только рабочих, но и сопровождавших инженеров. Через час – другой все уже любили Шамшина... Он не требовал пышного обеда, но по-другому быть и не могло: его приглашали в отдельный кабинет, где едят первые люди, щедро поили, и Шамшин пил, не стесняясь, потому что у нас привыкли смотреть, как человек пьет, скоро ли пьянеет, но Шамшин умел не пьянеть, чем завоевывал еще больше сердец. Но главное, что после обеда он снова был готов ходить по заводу, предлагать пути решения проблем, советовать или советоваться, чем привлекал руководителей... Все заканчивалось встречей с коллективом, и шли на нее не по принуждению, а по доброй воле, потому что было бы обидно упустить встречу с таким интересным человеком...

Бывало, после такого мероприятия директор завода оставался с Шамшиным наедине.

– Ладно, давайте теперь начистоту. Что из ваших слов не голые обещания?

И здесь Шамшин оказывался на высоте: он неизменно изображал некоторую задумчивость, даже растерянность, чем вызывал непременную улыбку на лице у своего высокого собеседника, однако потом усаживался поудобнее и начинал вываливать то самое «начистоту».

– Вы должны понимать, что перед вами не колдун, а наша партия совершенно не прожектёрская. Мы стараемся стоять на реальной почве, чтобы думать не о том, как развить ваше производство, а как сделать так, чтобы ваш завод и множество других могли выпускать продукцию, а следовательно, зарабатывать деньги. И я сюда приехал не для того, чтобы дать, у меня ничего нет, по крайней мере в тех объемах, которые вам необходимы, иначе я бы просто купил ваш завод, ведь верно? Я приехал сюда, во-первых, чтобы изучить ситуацию, а во-вторых, попросить кредит вашего доверия, которые наша партия оплатит тем, о чем я сказал: предоставлением возможностей успешно развивать ваше производство.

Впрочем, такой пассаж был бы доступен любому, но Шамшин снова показывал, насколько глубоко проник в суть проблем, стоящих перед данным предприятием, поскольку говорил: «Вот, например», – и на ходу фантазировал, как из них можно было бы выйти при поддержке «Партии 10 сентября». Вообще говоря, вот это было уже чистым прожектёрством, но Шамшин обладал великолепным даром убеждения, и замороженный руководитель буквально таял от того, как все просто и легко получается у этого заезжего человечка. И ведь потом, когда Шамшин уезжал, то эти самые руководители писали письма в Москву, где сообщали о своей поддержке и доверии.

Впрочем, и Кочетов, и, тем более, Львов понимали, что эта тактика хороша в работе с относительно небольшими предприятиями, так называемые промышленные гиганты на такую удочку не клюнут, а поэтому, при всем успехе миссии Шамшина, эффект от нее был не очень высок, если говорить о количестве возможных голосов, которые получит кандидат от партии.

– Нам нужны люди, нам нужен электорат, – говорил Кочетов Левитину, время от времени вызывая его к себе. – Чем вы можете похвастаться, Петр Маркович? Вы больше сидите в кабинете, чем выходите к людям. А это не годится.

– Извините, Виктор Иванович, у нас есть человек, который отвечает за связь с общественностью, вот с него первым делом и спрашивайте.

– Само собой, но Андрей Максимович разрабатывает общую стратегию. а работать должен каждый, в том числе и вы. Посмотрите на Виталия Васильевича, какой воз он на себе тянет. Вот это работник. А вы недокручиваете, Петр Маркович, недорабатываете. И надо это принять к сведению.

Левитину становилось обидно еще и потому, что выговаривает этот человек, а не новый шеф, которого они сами больше видят на телеэкране, чем живьем. Все думали, что, мол, вот приедет барин и власть Кочетова (а его в партии не очень любили) ограничится. Куда там! Что было, то и осталось.

– Неужели он и Тушина к рукам прибрал? – спрашивал Левитин своего близкого друга Игнатова.

– Да одна шайка-лейка, Петя, и там рука руку моет. А в общем это не нашего ума дело. Если они сделают так, что этот мужик сядет в президентское кресло, то мы с тобой получим министерские портфели.

– Шамшин задницу дерет, хочет в премьеры, – продолжал ворчать Левитин. – А вот шиш ему – я уверен, что Кочетов будет.

– Зачем ему, Петька? Он с тем же успехом будет контролировать только уже не партию, а всю страну. А Шамшин премьером станет, он замечательный завхоз, так что ссориться с ним не резон, а то получится, что мы только спины подставим для их восхождения.

– Так и будет.

– Не скажи. Своих людей он обязательно возьмет, это все лучше, чем новую команду набирать. Не кипятись, мы еще свое получим.

Игнатов и Левитин были практически ровесники, обоим лет по тридцать, разве что один уже защитился, а другой все никак. Игнатову Худов предлагал свои услуги, спрашивал, мол, сколько написано, кто руководитель, обрадовался, услышав фамилию профессора, сказал, что хорошо знает его, правда, тот плечами пожал, дескать, ни о каком Тушине не слышал, но научный мир чудной, считал Игнатов, там своя кухня, может, забыл или еще что. Сам новый лидер Игнатову понравился, что-то в нем было здоровое, отсутствовал тот карьеризм, который просто-таки пер из Шамшина или Сотскова. И говорил он спокойно, а уж на банкетах просто был свой в доску, шутил, плясал, пел... Нет, замечательный мужик. Левитин был несколько иного мнения. Он, скорее, не понимал этого самого Тушина. Он не понимал, какова все-таки была его роль в самом начале, когда партия только создавалась. Да, говорили, что есть некий человек, что он смотрит на все это свысока, откуда-то из закрытого ящика, что именно он, а не кто иной управляет процессом создания партии, но вот говорить одно, а чувствовать – другое. Ну не чувствовалось его присутствия, никак не чувствовалось. Сейчас – да, хоть и странно, что он больше по журналистам бегаёт, да, видно, такова его представительская роль, а раньше – не было его, не было, и все тут. Впрочем, осторожный Левитин, не доверявший никому, кроме Игнатова, предпочитал держать язык за зубами, а поскольку по натуре своей был молчун, то никто ничего заподозрить и не мог.

Сложность положения Левитина заключалась еще и в том, что, встретившись один раз на банкете по случаю дня рождения Шамшина, его жена Ирина подружилась с Еленой. Произошло это как-то неожиданно: женщины сидели рядом за столом, разговорились, потом беседа перенеслась в другую комнату, обменялись телефонами, Елена позвонила первой, пригласила Ирину просто так заехать в гости, та согласилась, и вот возникла эта очень милая дружба, которую не смущали никакие различия между женщинами: Елена была кандидат наук, а Ирина – парикмахерша; Елене сорок лет, Ирине – едва исполнилось двадцать пять; Елена молчалива по складу характера, а Ирина – болтушка и хохотушка. Словом, отношения сложились, и теперь не проходило дня, чтобы они хотя бы не поговорили по телефону, а чаще всего они просили, чтобы Никита либо Елену привез к Ирине, либо Ирину к Елене. Отношения между дамами сложились светские: сплетни, совместное приготовление чего-нибудь эдакого, фитнес-клуб, кафе, шопинг... Мужья, то есть Худов и Левитин, привыкли к тому, что заставляли в доме задержавшуюся гостью, поскольку и

один, и другой возвращались домой обычно не рано, и были в душе рады, что женушки веселятся, однако Левитин, в отличие от своего босса, испытывал некоторую неловкость именно потому, что это не просто подруга жены, к тому же Елена не производила на него приятного впечатления; ему казалось, что она заносчива, что кичится своим статусом, так что Левитину было бы проще без нее. Однажды вечером, ложась спать, он было высказал свое недовольство жене, на что последовала жесткая реплика, мол, я тут одна, мне скучно, с кем хочу, с тем и встречаюсь, «или ты хочешь, милый, чтобы ты застал меня с мужчиной?» На том разговор и кончился, а Левитину не оставалось ничего другого, как смириться с создавшимся положением. При этом все отмечали, что благодаря жене и сам Левитин приближается к шефу...

Что касается Худова, то он попытался возобновить свою научную работу в том же самом жанре, но ничего не выходило: приходить домой черт те когда, после бесконечных рассказов о том, какая хорошая «Партия 10 сентября», как будет хорошо, если она, а вернее, кандидат от нее в лице Худова Павла Николаевича станет президентом нашей необъятной родины, и садиться за написание высоко научного сочинения попросту невозможно; даже мелкие научные статьи – и те давались с трудом. У Худова портилось настроение, он становился раздражительным.

– Что с тобой, Павлик? – спрашивала Елена.

– Я так больше не могу. Я ученый, я научный работник, а мне приходится заниматься какой-то фигней. Проклятая жизнь.

Елена закатывала глаза, уходила на кухню, курила, пила кофе.

– Послушай, Тушин, чего тебе нужно? Тебе не кажется, что ты просто бесишься с жиру. Тебя выводят в высший свет, другие за это все руки в кровь раздирают, а тебе приносят на блюдечке с голубой каемочкой, тебя толкают, тебе дают деньги просто так. Я не пойму, ты такой неблагодарный или дурак?

– Я дурак.

Елена обхватывала голову руками и сидела так.

– Я не понимаю: ты профессор, ты настоящий профессор, это понятно, но в душе ты какой-то серенький. Тебе надо жить в коммуналке, с соседями, тараканами, жирными сковородками и счетчиками в коридоре. Скажи, почему ты не умеешь ценить того, что падает на тебя, как манна небесная? Ты понимаешь, что вся твоя работа не стоит того, сколько тебе платят? Работай и не хнычь. Ты как баба, Тушин, как самая настоящая баба.

В эти минуты Худов ненавидел женщину, которую почему-то называли его женой. Нет, нельзя выбирать жену по картинке. По картинке ничего хорошего найти не получится. Ничего хорошего. Он запирался в своем кабинете и пытался заняться чем-то полезным, производительным, потому что ничто так не стимулирует творческий труд, как внешние трудности, но усталость, сумасшедший, совсем ненормальный ритм жизни, пустые, с точки зрения высокой науки, проблемы приводили к пустоте в голове, и он не мог выдавить из себя ни строчки, возвращался на кухню, курил, пил кофе вместе с Еленой, отношения приходили в норму, они расходились по спальням почти друзьями...

– Я бы хотела помочь тебе, – говорила Елена, – но я не знаю как. Скажи мне, Павлик, чем тебе помочь?

– Ну чем ты можешь помочь мне, глупенькая? Я все сделаю сам, я приду в норму, просто нужно привыкнуть к такой жизни...

– Спокойной ночи, милый.

– Спокойной ночи, дорогая.

И Худов лежал в постели, мучаясь от нахлынувшей бессонницы, и думал, насколько права Елена: ему действительно гораздо больше по душе маленькая комнатка в коммунальной квартире, где не продохнуть от книг, добрая соседка Кузьминична с ее глупыми разговорами по утрам или по вечерам, надежный, хороший, умный друг Сережка Афанасьев, просто друг, а не друг будущего президента... И еще... Еще он вспоминал ту девушку Веру... Впрочем, для них для всех Павел Сергеевич Худов – мертв. И так становилось паршиво. Так паршиво.

Однажды утром Елена не выдержала.

– Славик? – звонила она Авдеенко. – Тушин меня достал. Он тоскует по своей науке, сделайте что-нибудь.

– И из-за этого надо будить меня ни свет ни заря? Я приехал в три часа ночи домой, мы резались в бильярд.

– Мне плевать, во что вы резались. Он меня достал. Помогите ему.

– Какая трогательная забота о муже.

– Человек хочет заняться наукой.

– Скоро Игнатов будет защищаться, Тушина сделаем оппонентом, но он еще не дописал диссертацию.

– Это, небось, через сто лет, а нужно сейчас. Я хочу жить спокойно и счастливо.

– Ладно. Я придумаю что-нибудь.

Сама Елена совершенно не тосковала по производительной деятельности, напротив, ей нравилось светское безделье, снежной шапкой свалившееся на ее голову. Она говорила: «Хочу», – и Худов безропотно подчинялся, теребя Кочетова, мол, совсем моя баба белены объелась. Он даже радовался, когда Елена просила чего-нибудь, потому что подарки делали ее душевнее, добрее, и даже он не сказал ничего на ее плачущее однажды утром:

– Знаешь, Тушин, мне очень нужна машина. Я умею водить, но у меня никогда не было своей машины. Я хочу «Пежо».

«Пежо» так «Пежо» – и уже через два дня под окнами стоял новенький желтый автомобиль, так радостно встреченный Еленой. Теперь по вечерам она ждала мужа, чтобы рассказывать о том, как, во-первых, она путешествовала по Москве (отчаянно, на такие поездки не каждый водитель решится), а во-вторых, какую еще бирюльку она купила в свой автомобиль. При этом Елена оказалась отнюдь не такой женщиной, которая готова раскрыть пасть своему железному коню и получать удовольствия от манипуляций ключом, отверткой, от запаха масла и бензина, от искорки, вспыхивающей при прикосновении свечи к запяленной железяке... Машина существовала для нее только в движении и в

любования интерьером, который, надо сказать, был просто идеален. Она обругала Худова на чем свет стоит, когда тот сел, не протерев башмаки тряпчочкой, специально для этого положенной под сиденье. Сам кандидат на высокий пост сажился в машину с Еленой с большой опаской: не доверял он женщине за рулем, не доверял.

– Мы едем на банкет, – позвонил однажды Худов Елене. – В семь за тобой заедет Никита.

– Неужели нельзя предупредить заранее? Я уже договорилась, что поеду в сервис, у меня что-то стучит справа.

– Придется отложить, это очень серьезно. У нас важные гости, а потом банкет, все должны быть с женами.

– Я же не к тому. Почему ты не предупреждаешь меня заранее?

Худов не намерен был спорить и бросил трубку, сказавшись занятым. По совести говоря, его утомляли эти приемы, гораздо больше утомляли, чем Елену, которая была отнюдь не прочь хоть каждый вечер проводить в ресторанных залах...

Худов ждал Елену с бокалом шампанского в руках. Стоявший рядом Шамшин говорил и говорил про то, как хорошо встречали его в Йошкар-Оле. Негромко играла музыка, такая спокойная, размеренная, певучая, и Худов с большим удовольствием слушал ее, чем скучного Шамшина. Наконец в дверях появилась Елена: на ней было красивое темно-синее, почти черное длинное вечернее с высоким разрезом с одной стороны, открывавшим красивую ногу в чулке. Она входила, и все обращали на нее внимание: и потому, что она была хороша, и потому, что она жена первого человека. Елена шла к Худову, чтобы тот любя поцеловал ее в щечку, а потом глазами искала Ирину Левитину, с которой, случалось, расставалась всего несколько часов назад, и к Худову могла не вернуться вплоть до того времени, когда всех приглашали к столу.

– Елена Михайловна, как всегда, неотразима, – сказал Шамшин и цокнул языком. – Бывают же женщины – мечта.

– Завидуете?

– Да что вы, Павел Николаевич? Просто смотрю, как на произведение искусства. Вы умеете видеть в женщине произведение искусства?

Худов пожал плечами и подумал, какой же дурак этот Шамшин, если задает такие идиотские вопросы, а тот решил развивать тему:

– Я вот считаю, это большое умение – видеть в женщине картину. Может быть, она и создана была только для того, чтобы мы с вами смотрели на нее и получали удовольствие от зрелища, только от зрелища и только удовольствие. Нет, не сексуальное, когда, извините за физиологическую подробность, член не поднимается. Это то же самое, что возникает в человеке, когда он идет по Третьяковской галерее и любуется шедеврами. Никакой физиологии, Павел Николаевич, одни эстетические переживания. Она открывает шею, она обнажает грудь, она надевает обтягивающие джинсы, обозначающие форму ее ягодич, а мы смотрим на нее – и никакой физиологии, она для нас просто картина, или скульптура, или актриса, разыгрывающая свой моноспектакль. Она может идти

по улице и показывать себя тем, кто ей совершенно неизвестен, и мы тоже можем любоваться абсолютно незнакомой женщиной. Павел Николаевич, вы смотрите, какой возникает театр, в нем нет сцены, в нем все переплетено, перепутано – актеры, зрители, авторы, режиссеры. и не надо никуда ходить, надо просто уметь раскрыть глаза и видеть женщин... Вы смеетесь, Павел Николаевич?

Худов действительно хихикал.

– Извините, Виталий Васильевич, у меня дурацкая мысль. Извините, честное слово. Я подумал, что вот кто-нибудь думает, как стоят два мужика, это мы с вами, и говорят про баб. Но самое главное, что он прав – мы и вправду говорим про баб, хоть и в эстетическом аспекте, но про баб же.

Шамшин стоял недоумении: он-то разразился таким романтическим спичем, может быть, впервые в жизни его разобрало на такое, а Худов взял и все испоганил.

– Я же не про баб. Я про женщин, Павел Николаевич.

– А есть разница? Смотрим на баб как на произведения искусства.

– Господи! Вы же интеллигентный человек, Павел Николаевич, интеллигентскую партию возглавляете, а ведете себя как-то странно, говорите некрасиво.

– А-а, так вы не знаете, Виталий Васильевич, кто такой интеллигент? Я однажды вывел формулу. Это было довольно давно, мы отмечали чью-то защиту, и то ли мне, то ли моему другу (Худов чуть не выдал Афанасьева, но вовремя спохватился), вы не знаете, пришло в голову устроить конкурс на лучшее определение интеллигента. Посыпались всякие совершенно нелепые предложения, а победил я, ваш покорный слуга. Я определил так: интеллигент – это человек, который за столом в самом изысканном обществе скажет слово «говно» или «пукнуть» - и никому не станет противно.

Шамшин стоял как оплеванный: его то ли оскорбили, то ли опустили, а он не понял, что на самом деле Худов не сделал ни того, ни другого, он был совершенно искренен в добрых чувствах к Шамшину. Вице-лидер отхлебнул шампанского из бокала, чуть не поперхнулся от ударившего в нос газа.

– А я думал, интеллигент – это нечто иное.

– Что же?

– Например, человек, думающий о других несколько больше, нежели о самом себе.

– Ерунда, – отрезал Худов. – Вернее, это правильно, но банально, как мир.

– Мир – банальность?

– Да, но это тема для особого разговора. А вот думать о других может кто угодно, включая интеллигента. Вы таким образом, Виталий Васильевич, даете слишком широкое определение, а дать определение – это не самое простое дело в науке, вам не кажется? Тут ошибиться можно в два счета, и есть два способа. Во-первых, назовем его серьезным. Ученый долго думает и дает такое определение, которое понятно только кучке посвященных, потому что содержит

страшные термине, требующие особого толкования. Во-вторых, назовем его веселым. Оно будет понятно тоже кучке посвященных, но только по своей сути, что ли, метафорично, а потому с виду ясно всем. Именно такое определение я вам и представил. Давайте думать, что значит эта возможность произнести неаппетитное слово за столом. Почему я выбрал стол? Это место, где нужно быть особенно щепетильным, чтобы не нарушить приятного времяпрепровождения, связанного с процессом еды. Мы не должны чавкать, сморкаться, чмокать, хлюпать, что там еще? Но ограничения накладываются еще и на нашу речь. И я не знаю, что хуже – источать неприятный запах пота или сказать об этом. И вдруг кто-то нарушает заповедь, он произносит то, что произнести нельзя, он балансирует на канате, с которого свалиться ничего не стоит. И чтобы удержаться, надо предельно тонко чувствовать ситуацию: в любом разговоре может возникнуть момент, когда ты нарушишь запрет, но при этом останешься в зоне дозволенного. Назовем это вкусом. Вот интеллигент потому и интеллигент, что он ощущает эту самую грань. Скажите, разве в этом случае он не думает о других? Он вызовет улыбку у людей, но не спровоцирует ответной враждебной реакции. Но я сказал вам, что мое определение – всего лишь метафора, его надо распространить на более широкий спектр ситуаций: интеллигент – это человек, который тонко чувствует ситуацию и поступает сообразно с ней, думая больше о других, чем о себе. Виталий Васильевич, разве я сказал не то же самое, что и вы?

Шамшин допил шампанское, недопустимо высоко задрал кверху свой бокал:

– А почему бы вам не дать именно это определение, а не ваше, несколько странноватое?

Худов рассмеялся:

– А вот именно потому, именно потому, что я так выхожу на грань недозволенного, я играю, а так веселее.

– Зачем?

– Затем что... Послушайте, Виталий Васильевич, в чем больше пользы: в полезном или в бесполезном? Нет, не подумайте, что я занимаюсь демагогией. Это вовсе не риторический вопрос. Более того, он концептуальный. Итак, я его задаю.

– Вы издеваетесь надо мной, Павел Николаевич?

– Отнюдь. Я совершенно искренен. Просто, как философ, я иногда задаю не совсем привычные вопросы.

– И кому они нужны?

Худов рассмеялся:

– А вот и ответ, Виталий Васильевич, вот и ответ, а точнее, два разных ответа: ваш и мой. Вы ищете пользу, а я, наоборот, бегу от нее. Вам хочется знать зачем, а мне нравится, когда никакой цели нет, и в этом я ловлю кайф. И не надо рассказывать мне, что для удовлетворения моих элитарных амбиций нужно, чтобы хлебороб вырастил хлеб, слесарь починил кран, а шофер – довез.

Этими аргументами мы сыты, нас долго кормили, это молодежь не знает, а мы-то с вами вкусили.

– Значит ли это, что нам не сработаться?

– Помилуйте, Виталий Васильевич, это значит ровно противоположное: мы прекрасно дополняем друг друга, не так ли? Извините, – прервал Худов беседу, услышав, как в его кармане запищал и забился в судорогах маленький телефончик.

Шамшин отошел в сторонку, чтобы якобы не мешать, на деле же он так обрадовался, что разговор можно прервать, а через пять минут уже нашептывал Пазухе:

– Он сумасшедший, не наш человек. Ты не представляешь себе, какую чушь он мне сейчас порол. Я вообще не понимаю, как такой может быть президентом. Тебе не кажется, что это преступление перед государством, в котором мы все участвуем?

Осторожный Пазуха молчал, и в его молчании могло оказаться все что угодно: и согласие, и безвыходность, и согласие с Шамшиным, и противостояние. Он, вообще, охотнее сел бы к столу, где бы стояли бутылки с коньяком, который он любил куда больше, чем это кислое шампанское, а опасные разговоры при таком сборище – не его страсть. Вот Пазуха и постарался сразу сменить тему на гастрономические разговоры. Оба они, однако, машинально посмотрели в сторону Худова, который стоял возле подоконника и говорил, явно будучи удовлетворен разговором.

– Здравствуйте, Павел Николаевич, – возник голос, поначалу показавшийся ему детским. – Меня зовут Саша Подъяпольская. Я аспирантка (она назвала один из вузов), мы с моим руководителем, Евгенией Марковной Исаченко, хотели бы попросить вас быть у меня первым оппонентом.

Это прозвучало ошеломляюще. Худов тотчас же забыл и кто он, и где находится, и о чем только что говорил, и если бы его спросили, как его зовут, то он бы начисто забыл о легенде. Случилось то, о чем он не мог и мечтать: он снова входил в научную жизнь, забытую им, оставленную где-то в сторонке, любимую и знаемую им жизнь. Он согласился. Он ни минуты не сомневался, он не намерен был ни с кем советоваться, ни с каким Сотсковым, потому что наука – это его, личное, родное, привычное, и делить науку он ни с кем не намерен. Профессора Исаченко он знал довольно поверхностно, читал несколько работ. Слухи о ней ходили разные, кто-то упрекал ее в излишней конъюнктурности, но теперь это было совершенно не важно, даже наоборот – эта предприимчивость, вероятно, и привела к Худову. Скажем, дорогой читатель, что во многом Худов был прав, потому что когда Авдеенко стал искать приложение для научных сил Худова, то ему практически сразу дали телефон Евгении Марковны со словами, что она будет довольна, если у ее аспирантки окажется такой серьезный оппонент. Словом, интересы совпали, и Худов, не очень обращая внимания на тему, уже договаривался, когда и куда Саша Подъяпольская подвезет свой научный труд.

Настроение, подпорченное беседой с Шамшиным, резко улучшилось, и когда прозвучал призыв идти к столу, Худов подошел к правой руке, улыбнулся, похлопал по плечу:

– Все хорошо, я бы не хотел, чтобы вы всерьез восприняли в том числе данное мной определение, а уж тем более, чтобы наш разговор омрачил вечер. Все так здорово складывается, Виталий Васильевич. Так здорово.

Шамшин удивленно посмотрел на Пазуху, мол, я же говорил тебе, что он сумасшедший, а Пазуха молчал, придавая своему молчанию не меньше многозначительности, чем раньше.

Банкет был организован партией совместно с одним банком, который предложил большое денежное вливание для партийных нужд. Естественно, все это было не безвозмездно, и Худов в течение почти целого дня обсуждал с президентом банка проблемы лоббирования интересов подвластной ему структуры. Долгие переговоры не означали непреодолимых проблем. Напротив, беседа оказалась крайне конструктивной, намечалось длительное сотрудничество, выгодное обеим сторонам: банк мог серьезно повлиять на ход предвыборной кампании, потому что деньги, как известно лишними никогда не бывают, в свою очередь избрание Худова на должность президента никак не помешало бы банку, чтобы обрести еще больше уверенности на этом празднике жизни. Единственное, что смущало Худова, так это та серьезность, с которой президент банка говорил о вероятности избрания именно Худова, тогда как для самого претендента все это больше представлялось своего рода шуткой, розыгрышем, мелкой проделкой. Впрочем, его принудили играть в эту смешную игру – вот он и играет.

За столом Худов сидел рядом с Еленой, вынужденной на время расстаться с любимой подругой, тоже перекочевавшей под крылышко своего благоверного.

– У тебя веселый вид. Что-то хорошее?

– Не то слово, дорогая. Мне предложили оппонировать. Я могу заняться своими прямыми обязанностями! Это невероятно.

Елена положила себе в тарелку кусочек копченого мяса и пожала плечами, мол, почему же невероятно, когда это произошло, и мысленно поблагодарила Славика Авдеенко за оперативную работу.

– Налей мне, пожалуйста, воды.

Столы ломились от обилия яств и напитков. Надо сказать, что обе стороны постарались не ударить в грязь лицом: банкет представлял собой что-то вроде складчины, вылившейся в торжество чревоугодия в духе молодого Гаргантюа. Салаты, как принято в европейской традиции, лежали в маленьких посудинах, из которых следовало класть в тарелки скромные горбки маленькими ложками, а не столовой ложкой перетаскивать с полмиски. Бутерброды ошетинились воткнутыми в их спины разноцветными вилочками. Красная икра пенисто выступала из ванночек – яичных белков, лишенных своих солнечных серединок. И повсюду горы фруктов. Народу было много, так что общие тосты прозвучали только в самом начале – их произнес президент банка и

– алаверды – Худов. Потом, как учат психологи, сформировались малые группки, где стали говорить свое, смеяться своим шуткам и, наконец, вовсе позабыли о причине собрания. Забывчивость не обошла стороной и главный столик, где сидели первые люди. Здесь не уступали остальным в частоте выпивания, настроение повышалось, из делового превращалось в веселое, потом в балагурное, и вот Худов встал с рюмкой, в которой прыгала, выплескиваясь за борт, водка.

– Господа, я должен сказать, что имею честь присутствовать на замечательном застолье. Сам я принадлежу к той касте, которую держат за братию занудную, серьезную, степенную, но это не так, господа. Философ только в своем трактате надевает маску бесстрастия, а за столом он не только не уступает, но еще и превосходит иных в веселости. Я вспоминаю, что рассказывают о... (Худов запнулся на секунду, видно подбирая в голове подходящую фамилию) о... Бенедикте Спинозе. Бенедикт Спиноза отличался невероятной веселостью. Его любимым развлечением было выпивать по целой бутылке залпом, не отрывая губ от горлышка. Коллеги и ученики ставили Бенедикту Спинозе в вину то, насколько порочна его страсть, он опустит, бывало, глаза долу, покраснеет, искренно так покраснеет, а вечером опять в кабак, шапку оземь кинет – и снова пить, залпом, целую бутылку. Но об этом история обычно умалчивает, Бенедикт Спиноза известен нам как серьезный мыслитель, а человек – утрачен. Так вот я хочу предложить тост, господа, за то, чтобы мы, во-первых, остались для потомков в их памяти, а во-вторых, чтобы память сохранила не только наши скромные, обезличенные труды, но и наши веселящиеся физиономии. *Vibamus!*

Тост прошел на ура, президент банка, выпив, пристал даже целоваться к Худову, тот не отказался, но потом порвал фотографию, на которой сосутся два откровенно пьяных мужика. Елена толкнула Худова в бок:

– Это правда?

– Что?

– То, что ты говорил про Спинозу.

– Про Спинозу? Леночка, полная чушь. Вернее, это вполне вероятно, потому что он ведь был человек, а не книжка с трактатом, но ничего подобного я нигде не читал. Скорее всего, это совершенно не соответствует действительности. Но знаешь, дорогая, мне так хочется, чтобы все это было. Я ведь правда переживаю за них за всех. Ну что такое Гегель? Что такое Шопенгауэр? Ты слышишь эти имена – и хочется снять шляпу. А я вот не хочу снимать перед ними шляпу, если сижу за столом и думаю о них, а не думать не могу, потому что принадлежу к той же касте. Я ученый, Лена, ученый, это тебе по секрету, а никакой не президент. Нет, я не отказываюсь, но там, в глубине, в подсознании, живет философ, плохонький, жалкенький, но философ, мыслитель, твою мать, который чувствует связь с ними.

Елена закурила, злясь на Худова, как злится на перепившего мужа любая жена.

– У меня тост, – теперь потрясал рюмкой над салатами президент банка. – Я с интересом выслушал сказанное уважаемым Павлом Николаевичем, с большим интересом. И я готов подписаться под каждым словом, но говорить буду о своем. Моя деятельность диаметрально противоположна тому, о чем говорил господин Тушин, он – человек отвлеченного знания, я – приземленный банкир. Мне, напротив, нельзя думать о высоком, иначе я потеряю так необходимую связь с реальностью. Но я не хочу жить исключительно ради денег, чтобы деньги делали деньги, те еще больше денег, те еще больше. Это порочная деятельность. Я хочу отдавать свою прибыль таким, как философы. Не знаю, как это называется, быть меценатом или как-то еще, не важно, но я хочу быть им полезен. Пусть Павел Николаевич придет ко мне и попросит денег. Я дам. Я не спрошу, зачем они ему нужны, пусть он их даже пропьет, прогуляет в казино – мне все равно. И если кто-то думает, что я это обещаю потому, что Павел Николаевич метит в президенты, пусть плюнет мне в лицо. Да, я был бы рад видеть его в президентском кресле, но это отнюдь не отменяет моих обещаний. Павел Николаевич, вы можете на меня рассчитывать, всегда. За философов, за бесполезных для прагматики людей!

Пили еще много. Гульба только начиналась. Тут грянул оркестр, подвыпившие мужики кинулись к хорошеньким барышням – непременно атрибуту таких сборищ, жены плясали тут же, били хрусталь, кричали, пели, сословная разница стиралась, и если смотреть сверху – то можно было видеть картину великого единения, идеальную модель нашего непростого общества.

Худов плохо помнил, как его буквально впихивали в автомобиль и как он бормотал про президента банка:

– Замечательный мужик... Наш мужик... Русский интеллигент...

Назавтра болела голова. Елена ходила с сердитой миной. Худов пил сок и ничего не ел, было не до того. Он позвонил в офис и сказался больным. Его помощник Алексей улыбнулся, но голосом не подал виду. Никите Худов объявил выходной.

– Разве ты не встречаешься с этой девочкой? – спросила Елена, узнав, что Худов намерен устроить себе день восстановления утраченных сил.

– С какой девочкой? – не понял Худов.

– С аспиранткой.

Тут постепенно начали приходить воспоминания о дне вчерашнем. Действительно, он же обещал взять диссертацию у ... как же ее зовут?.. Саши... Подъяпольской... аспирантки Исаченко... И ждать он ее будет у себя в офисе.

– Кажется, я просил ее предварительно позвонить, – неуверенно сказал Худов Елене. – В конце концов, невелика птица, оставит диссертацию, я прочитаю, составлю отзыв.

Елена сидела в кресле и листала красивый журнал, где женщины показывали женщинам свои одежды, а мужчинам – себя. На ней был длинный тяжелый халат, тапочки с меховой оторочкой. Она выглядела безупречно.

– Это нехорошо, – сказала она, не отрывая взгляда от журнала. – Если ты назначил ей встречу, то надо выполнять обещание. Точность – вежливость

королей, Тушин. Я хочу такой костюм. Я позвоню модельеру? Посмотри, какой симпатичный.

Худов бросил взгляд: костюм как костюм, ничего особенного, девочка, снятая в нем, тоже ничего особенного не представляет.

– Звони.

– Я думаю, партийная казна не обеднеет?

– Нет.

– Или вот этот? – Елена продолжала листать журнал с крайне безразличным видом, и Худов удивлялся, неужели она и правда прикидывает, как будет выглядеть в той или иной шмотке.

– Ты не помнишь, я просил ее позвонить?

– Ты же сам с ней разговаривал, без меня. Не хочешь ехать в офис?

– Куда ехать? Посмотри, на кого я похож. Я сегодня невыездной, перед Полиной Егоровной-то неудобно... Может быть, все-таки отменить?

Худов сделал еще один глоток из холодного, с громыхающими кусочками льда стакана, наполненного терпким апельсиновым соком. От этого где-то внутри становилось свежей, но голова оставалась тяжелой, туманной.

– Ну скажи что-нибудь. Брось ты этот журнал.

Елена не только не бросила журнал, но и ответила не сразу.

– Кто тебя заставлял столько пить? Вот теперь и раскаивайся. Ладно, – Елена неожиданно отбросила журнал в сторону, и он попал точно на журнальный столик, – позвоню. Может, он мне посоветует, какую модель выбрать. Съезжу, а то скучно. Я же не напилась вчера до чертиков, руль крутить смогу. А ты, если хочешь, приглашай ее сюда. Тебе только взять у нее работу?

– Ну да, перекинуться парой слов...

– Так приглашай.

Худов ушел к себе, прилег на кровать и даже не слышал, как Елена звонила модельеру, как смеялась и кокетничала, как попрощалась с Полиной Егоровной и ушла, хлопнув по обыкновению дверь. Худов не спал, он находился в каком-то полудремотном состоянии, лишаящим его возможности вести полноценный образ жизни, и от этого безумно злился, потому что, думал он, вот выпала блестящая возможность заняться любимым, но утраченным делом: написать статью, подготовить доклад, прочитать последние публикации в журналах. «Может, ты и вправду умер, Худов? – спрашивал он себя. – Ты умер, а вместо тебя родился этот противный Тушин, политикан, прожигатель жизни, телезвезда. Ты же ни разу на телевидении не был, а этого гада встречают, ведут в студию, узнают, простые люди, эти сумасшедшие, которые зачем-то кочуют по всяким шоу в роли зрителей – узнают. Люди помнят, что он говорил на прошлой неделе, сопоставляют, он им нравится или не нравится, а ты, Худов, нравился или нет только твоим студентам. Где они? Где эти милые ребята, с которыми тебя разлучили жестоко, не спросив?» Вроде, он задремал, а потом зашла Полина Егоровна и начала что-то плести про свою внучку, дочка, мол, забрать не может из садика, то ли работает, то ли мужика завела, потому что развелась – Худов не понял, но сделал вывод, что ей очень надо куда-то.

– Так вы идите, Полина Егоровна. Лена ушла, а я справлюсь.

– Я вам сочку еще выжала, попейте, Павел Николаевич.

– Спасибо, непременно.

– Вам принести.

– Идите, Полина Егоровна, я все сам. Идите.

Она еще несколько раз зашла сказать Худову спасибо, чем разбудила его окончательно. Оставшись один, Худов пустился в воспоминания: ему так и не давало покоя, что случилось с девочками, Верой и Аней. Он боялся, что после его как бы кончины им не дали спокойно жить; он боялся, что их рассматривают как свидетелей, которых нельзя оставлять в живых. Здесь играют по-крупному, а потому могли не посчитаться с двумя девчонками. И Анатолий Александрович – где он? Мужик-то оказался неплохой, совсем неплохой. «Сколько новых людей мне встретилось, – думал он, – там, в доме, потом в Польше, теперь здесь. И сколько будет их еще! Вот сегодня объявится девочка. Она будет думать, что я Тушин, а я – нет. Я – совсем другой человек. Или уже нет... Господи, кто я?» Время шло тяжело, сквозь головную боль, глотки апельсинового сока, бесконечные сигареты, и Худов думал, думал, думал... Он ждал девушку, которая позвонила уже из офиса, Худов извинялся, продиктовал домашний адрес, убедил ее, что это удобно, что это он виноват, а в другой раз – неизвестно еще, когда он выдастся, так что девушка согласилась приехать.

Пока Худов шел по коридору, он пытался представить себе, кто стоит там, по ту сторону двери; он всегда так делал: когда кто-то звонил ему по телефону, он рисовал в своем воображении образ человека, с которым придется встретиться. Случалось, что он попадал почти в десятку, но всегда почти, потому что попасть в яблочко в такой игре невозможно. Но случалось и так, что пуля летела в молоко: перед ним стоял человек, совершенно иначе изображенный фантазией Худова. Сегодня он проиграл: она не была ни высокой, ни брюнеткой, ни в брючном костюме, даже в возрасте, как ему показалось, он ошибся.

– Здравствуйте. Павел Николаевич? А я Саша.

В дверях стояла девочка, совсем еще ребенок, худенькая, с узкими плечиками, с очень тонкими чертами лица, русоволосая, каких тысячами бродит по нашим улицам, в белом плаще и в длинной юбке, под которой, судя по щиколоткам, прятались тоненькие ножки в черных чулках. Едва Худов поздоровался с ней, она засуетилась и, не входя в квартиру, принялась судорожно рыться в висевшей на плече большой матерчатой сумке.

– Пройдите, – пригласил ее Худов.

Но девушка быстро-быстро замотала головой, продолжая копаться в сумке.

– Сейчас я вытащу и побегу. Зачем я буду вас задерживать?

– Да пройдите вы. Я не кусаюсь. Проходите.

Девушка пожала плечиками и робко вошла в квартиру. Дверь захлопнулась.

– Раздевайтесь. Туфли можете не снимать. Я вас напою чаем, а вы мне вкратце расскажете о вашей диссертации.

С виду она была так юна, что Худов даже запнулся на слове «диссертация», которое в сопоставлении с ней выглядело необычайно взрослым. В ее движениях присутствовала угловатость, проходящая с возрастом, заменяющаяся плавностью взрослой женщины, покоряющей своей изящностью мужиков. Нет, Саша сохранила какую-то нелепость, и плащ, даром что Худов помогал, никак не хотел слезать с нее, рукав вывернулся наизнанку, зацепился за часы, браслет которых расстегнулся, и они чуть не упали.

– Извините, – тихонько произнесла девушка, заставив Худова умильно улыбнуться.

– Не снимайте, не снимайте туфли! – закричал он, видя как она стала скидывать обувь, не нагибаясь, а скидывая один туфель носком другой ноги.

Но девушка не послушалась и уже топала по полу босиком.

– В общем у нас тепло, – буркнул Худов и пригласил свою гостью на кухню.

Квартира Худова была, конечно, хороша, хотя в наши дни мало кого удивишь шикарным жильем, однако девушка, вероятно, привыкла к более скромным жилищам и выглядела несколько ошарашенной.

– Как у вас красиво.

– Ерунда, – кокетничал Худов. – Ничего особенного. Что вы желаете, барышня: чай или кофе. Есть сок, но это так, для разгону. Сок не дает повода посидеть, не так ли?

Саша улыбнулась, и видно было, как она смущена.

– Так что вам предложить? – повторил Худов свой вопрос, а заметив еще большее смущение на лице Саши, пригрозил: – Так, моя милая, а ну-ка прекратите строить из себя скромницу. Вы ведь собираетесь через месяц стать кандидатом философских наук, а ведете себя так, будто все еще дипломница. Смелее, моя дорогая, смелее.

Саша снова улыбнулась, кажется, слова Худова на нее подействовали, она как-то распрямилась, вытянулась и даже выдавила из себя:

– Давайте чай. Или лучше кофе...

Худов рассмеялся:

– Я еще раз повторяю, что не кусаюсь. Итак, пьем кофе.

Он умелыми движениями запустил кофеварку, по ходу дела расспрашивая Сашу о существовании ее работы, а та тем временем крутила головой, рассматривая кухню и будто бы запоминая, чтобы рассказать потом своим подружкам или маме, куда занесла ее бурная научная деятельность. Работа же оказалась не совсем интересная для Худова, она больше подошла бы для рецензии кому-нибудь другому с его кафедры, но было не до жиру – иных работ Худову не предлагали, поэтому приходилось довольствоваться этим. Когда кофе был разлит по чашкам, Худов сел напротив девушки и положил перед собой еще не переплетенные листов 200 с так знакомым каждому научному работнику титулом. Даже холодок пробежал у него по спине, однако профессор не подал

виду и стал листать. Надо сказать, что научный труд данного жанра читается, вопреки принципам русского письма, на семито-хамитский манер, то бишь с конца, дабы первым делом пробежать глазами библиографию, якобы отражающую кругозор диссертанта, прочитавшего столько-то научных работ, хотя всем доподлинно известно, что большинство из указанных источников автор и в глаза не видел, а кочуют они из диссертации в диссертацию, создавая видимость неохватности проделанной работы. Худов не был исключением и машинально искал те пункты, которые, по его разумению, необходимо должны присутствовать, и, естественно, поглядывал, а не подзатесалась ли и его статейка... К удивлению, так как тема не совсем была ему близка, он нашел там и свое упоминание, удовлетворенно качнул головой, подумав при этом, что барышня никак не представляет себе, что упомянутый Худов собственной персоной сидит сейчас перед ней, прочел еще пару пунктов и отправился на поиски следующего по значимости фрагмента – выводов. Подняв глаза от листка, он заметил, что Саша была ни жива ни мертва, не притронулась к кофе, а напряженно следила за действиями Худова.

– Пейте кофе, – сказал он. – Работа интересная, очень интересная. Вы мне расскажете о ней, я только посмотрю оглавление.

В оглавлении Худов нашел, что выстроена она, вероятно, не очень удачно, но переделывать уже было поздно. К чести Худова, надо сказать, что подготавливать диссертации к защите он умел. У него был редкий дар так представлять научную проблему, что даже серенькие работы оказывались весьма презентабельными и выходили на совет после первой предзащиты, разве что с небольшими замечаниями, о которых диссертанту предлагалась просто доложить кафедре. Это же качество делало из Худова въедливого оппонента, и руководители старались ознакомить Худова с работой своего ученика пораньше, чтобы успеть внести необходимые изменения и получить поменьше замечаний. Если бы Исаченко знала, кому досталась ее милая девушка, то она бы поступила именно таким образом, но фигура Тушина была для нее абсолютно новой, даром что и отрекомендованной самым лучшим образом. Худов прикидывал, какие сделать замечания и вспомнил, что однажды смотрел очень похожую диссертацию...

– Скажите, Саша, – проговорил он, вспоминая, – а не было ли у Евгении Марковны диссертации на тему (и Худов сфантазировал, как она могла бы называться)?

Девушка кивнула головой:

– Да, я ее читала и упоминаю в библиографии.

– Кажется, мы давали на нее внешний отзыв.

Саша недоуменно посмотрела на Худова:

– Так вы разве на кафедре в (и она назвала его родной вуз).

Худов понял, что попал впросак, и стал выкручиваться, мол, проходил стажировку. приезжал на конференции, знакомился с диссертацией, но он не мог даже предположить, какой сюрприз ждал его впереди.

– У меня там подружка учится, однокурсница, правда она еще не защищается, у нее погиб научный руководитель. Наташа Родионова.

«Вот круг-то и замкнулся, – подумал Худов. – нет, уж больно тесен наш мир. Все началось с этой проклятой Родионовой, а теперь ее подруга пьет со мной кофе и ждет, что я напишу ей в отзыве. Того гляди Родионова на защиту припрется. Ну и тесен наш мир. Ну и тесен».

Он ей понравился. Он ей очень понравился. Настолько, что вечером, вернувшись домой, она только и думала о нем. И даже позвонила подруге:

– Наташка, это такой мужик. Ему лет пятьдесят, такой классный, такой обходительный. Мне кажется, я запала на него...

Положение Родионовой было куда хуже, чем положение Саши Подъяпольской: она так надеялась на Худова, он пригласил ее в ресторан, трогал за ножки, как будто бы незаметно, как будто бы она не понимала, что происходит. Она была практически уверена, что он все выправит, что попросту допишет за нее все, что, с его точки зрения, не годится, ведь он так хорошо понимает, какой должна быть кандидатская диссертация... Откуда же взялись эти две девки, которые взяли его в оборот, охмурили, начали поить до одури, а потом он посылал ее, Наташу Родионову, такими словами, что ей осталось только расплакаться и убежать прочь, плакать целую ночь, быть готовой буквально выброситься из окна. Кто мог предполагать, что она окажется последней, кто видел живым Павла Сергеевича Худова, о чем не раз будут говорить следователи, отлично понимающие, что эта девушка, Наталья Родионова, ни при чем, но она же единственная, к кому можно прицепиться, а поэтому они будут цепляться, цепляться, цепляться... Что касается научной работы, то кафедры никогда не бросают аспирантов, чьи руководители умирают, это становится делом чести, но дело Худова оставалось долгое время в неизвестности: все понимали, что он умер, но все же надеялись, что он найдется, что объявится как ни в чем не бывало, а поэтому передавать кому-либо учеников, в том числе и Наташу Родионову – неэтично. Осторожничал Твердохлеб, еще не знающий, что самому ему не дотянуть до нового года, когда на его место встанет Афанасьев, к тому же ближайший друг Худова и именно Афанасьев вызовет к себе Родионову:

– Наталья, нам надо что-то решать. Я не знаю, что случилось с Павлом Сергеевичем, но даже если он жив, он поймет нас. Я не вижу иного пути, кроме как взять вас под свою опеку, тем более, что ваш руководитель делился со мной состоянием вашей работы. Давайте мне материалы – и мы доделаем диссертацию.

Родионовой овладели двойственные чувства. С одной стороны, она была рада, что дело сдвигается с мертвой точки и она перестает быть неприкаянной. С другой – она не понимает, как будет выбираться из буквально тупиковой ситуации, из которой смог бы вывести ее Худов, взяв перо и написав чуть ли не целую главу, но Афанасьев другой, он замечательный мужик, но другой, он не

станет работать за своего аспиранта, а у самой Родионовой просто не хватит ума...

– Я так завидую тебе, Сашка. У тебя и дисер дописан, и оппонент классный. Знаешь, какой мой Худов был обалденный мужик. И что мне теперь делать?

Саша жалела Наташу, искренне жалела, но не могла не радоваться за себя, что все складывается в ее жизни как нельзя лучше: он и ученый, и профессор, и на редкость умный мужик, и лидер партии, по телевизору то и дело мелькает.

– Посмотри, Наташка, он в новостях часто вылезает. Ой, он мне так нравится. Дал мне свой телефон, сказал, что я могу позвонить в любой момент, а так позвонит послезавтра, когда просмотрит работу. Слушай, мне так повезло.

– Подожди, еще неизвестно, что он по работе скажет, – говорила Родионова. – Наделает замечаний, что не расхлебашь...

– Нет, по-моему, он не такой. Он хороший, добрый.

И Саша благодарила Евгению Марковну за то, какого она нашла ей замечательного оппонента, пела ему дифирамбы, рассказывала, как он по одному оглавлению сделал пару конструктивных замечаний, а профессор Исаченко не могла понять, откуда этот мужик вылез, почему его не знает никто в научном мире, где чихнуть нельзя, чтобы не остаться незамеченным, а тут появился целый профессор. Чудеса, да и только. Евгения Марковна была настолько заинтригована, что не могла справиться с соблазном лично познакомиться с необыкновенным профессором, благо телефон Худова дали ей, а она уже передала его Саше Подъяпольской. Нужен был только повод, чтобы позвонить, не просто так же, мол, здравствуйте, как дела... И повод нашелся. В скором времени, буквально через три недели собиралась конференция, большая, представительная, куда съезжались если не светила, то уж заметные фигуры философской мысли. Пригласить на такое сборище профессора было вполне естественно, и Евгения Марковна, как сопредседатель оргкомитета, взяла на себя миссию связаться с Павлом Николаевичем Тушиным.

Она застала Худова в кабинете, когда он разговаривал там с Шамшиным о его очередной поездке, где, вопреки обыкновению, вице-лидера встретили неважно, заподозрили в неискренности, а директор отказал в аудиенции, сказав, что слышал этих агитаторов на своем веку немало и на нового тратить времени не собирается, «а если будет набиваться, гоните в шею». Шамшин волновался и от волнения все время снимал очки и протирал платочком, который все время доставал из кармана и убирал обратно. Худову стало жалко этого человека, но, с другой стороны, как начальник он не мог не высказать своего недовольства неудачей подчиненного, отчего тот и нервничал.

– Не переживайте, – говорил Худов, – ничего страшного не случилось. В конце концов, с кем не бывает, всякого где-то поджидают срывы. Единственное, мы должны внимательно проанализировать, что же случилось, посоветоваться с товарищами, чтобы исключить повторение подобного в будущем. Я надеюсь, что сейчас этого не произойдет, но вы же понимаете, Виталий Васильевич,

слухами земля полнится, и если в нескольких местах нас отвергнут, то пойдет дурная слава, а вот это уже недопустимо.

– Нет, Павел Николаевич, это исключено, – протирая очки, оправдывался Шамшин, – наше положение более чем стабильное. И люди как раз иначе нас воспринимают. Если вы полагаете, будто я лукавлю, когда рассказываю о нашем успехе, то спросите у Семена Никитича, он подтвердит. Я полагаю, что этот единичный случай не сможет поколебать прочности наших позиций, хотя я нисколько не собираюсь снимать с себя вины.

Шамшин редко говорил вычурно, как раз это и не было его стилем, поэтому Худов про себя рассмеялся. Ему даже захотелось сказать, что, мол, вот если так пообщаться с рабочими, то обеспечен полный провал, но сдержал себя: зачем человека-то обижать?

– Я полагаю, что будет полезно, если вы, Виталий Васильевич, оформите ваши впечатления от этой поездки в письменной форме, тогда будет проще разобраться, что же именно произошло.

– Вы имеете в виду объяснительную записку.

Худов состроил гримасу, которая должна была одновременно выражать недоумение и обиженность, потому что он совершенно искренне не считал предложенный жанр объяснительной запиской.

– Объяснительную записку, – поучал он, – пишут в том случае, если чувствуют за собой вину, а вам обвинять себя не в чем, как и мне вас. И вообще, Виталий Васильевич...

Худов хотел было удариться в обобщение, и ударился бы, если бы в кабинет не заглянул его помощник Алексей:

– Павел Сергеевич, вас настоятельно просит к телефону какая-то женщина, говорит, что очень срочно, – он близоруко глянул в малюсенький листочек и прочел: – Евгения Марковна Исаченко.

Худов расцвел. Ему сразу стало не до Шамшина, которого он вежливо выпроводил из кабинета, уточнив вдогонку, что желаемый жанр носит название доклада, а оставшись наедине, поднял трубку, чтобы никто не помешал ему говорить с настоящей коллегой.

Следуя академическому такту, Худов тотчас же, едва отрекомендовавшись Евгении Марковне, принялся за перечисление ее работ, с которыми он, естественно, хорошо знаком и считает крайне важными в науке. Собеседница, как выяснилось, тоже была не лыком шита и выпалила про те самые курсовые, которые составляли на тот день полную библиографию профессора Тушина, чем – невидимо для себя – вогнала Худова в краску, поскольку открыть карты и назвать своего подлинного имени, не столь уж скромного, он не мог. Далее Евгения Марковна поблагодарила Павла Николаевича за то, что тот нашел возможность оппонировать на защите ее аспирантки; Худов ответил тем, что честь ему оказана совершенно незаслуженно, поскольку в Москве его работы совсем неизвестны, в свою очередь он воздал должное руководителю диссертации, которую еще не прочел, но даже по нескольким просмотренным страницам видно, как значимо

исследование; теперь Евгения Марковна изобразила смущение – и оба сошлись на том, что необходимо познакомиться лично.

– Во многом это и есть цель моего звонка, Павел Николаевич, – сказала она сладким, уже совсем растаявшим голосом. – Мы были бы счастливы видеть вас на нашей конференции. Мы выслали в адрес вашего представительства приглашение, но если возникнут вопросы, я буду рада ответить на них сама. Я и мои коллеги хотели бы видеть вас, и не только видеть, а выслушать ваш доклад.

Худов просиял. Нельзя сказать, чтобы он до безумия любил эти научные сборища, но за почти девять месяцев изоляции соскучился – по научной речи, по спорам, по научным интригам, по друзьям, наконец. Эх, жаль, он не сможет, этак размахнувшись, ударить ладонью в ладонь Афанасьеву, обняться по-дружески, прослезиться, потому что Худова уже нет, но зато есть новый Тушин, который обязательно подойдет, пожмет руку, познакомится – и, может, снова, во второй раз станет его другом...

Вечером к Худову приехал Кочетов, чтобы обсудить план работы на неделю. Кочетов говорил медленно, обстоятельно, проговаривал цели каждого мероприятия, взвешивая, что выгодно, а что так, трата времени, от чего можно было бы отказаться, а чего не хватает, куда не пригласили, а следовало, но не стоит расстраиваться, не все потеряно, будем стараться, будем работать... Худов же слушал его не так, как всегда, он выискивал для себя окошки, когда он никому не будет нужен, выискивал, но не находил. Тогда он заиграл в открытую:

– Виктор Иванович, мне нужно свободное время. И не один раз, а регулярно.

Кочетов даже онемел, выкатил глаза на своего коллегу – не коллегу.

– Зачем?

– Меня пригласили на конференцию, с докладом, мне нужно в библиотеку.

Кочетов аж выдохнул, усмехнулся, закурил, выдыхая в худовский кабинет едкий дым своего крепкого табачища.

– Скажи, что нужно, тебе домой привезут. Там и напишешь. Не мальчик.

Худов опешил. Работать дома? Без библиотеки? Получить книги и читать в одиночку, не видя никого вокруг? Не обсуждая прочитанное с коллегой в курилке или в буфете? Не чертыхаясь, что самое нужное-то и не нашли? Не радуясь, так искренно, по-мальчишески, когда желанный том остается только открыть и впиться в него глазами?

– Нет, – забормотал Худов. – Нет... Как же без каталога? Я не знаю последних публикаций. Мне... Мне нужен каталог...

– Я тебе все издательские прайсы достану, чиркнешь, что тебе нужно. Зачем время терять? Знаешь, оно у нас с тобой на вес золота, скоро страда президентская начнется. Нет, я не против, чтобы ты выступал, но давай малой кровью, Павел Николаевич, без библиотек.

Кочетов говорил и понимал, что задевает Худова за живое, но и он должен понять, что его не конференций ради на все готовенькое взяли, не для оппонирования, а совсем для иных целей, а это уж так, из хорошего отношения.

– Не дури, Павел Николаевич, пойми, что твои заокеанские коллеги давно забыли, что такое ходить в читальный зал, ведь верно? Это, прости меня, позавчерашний день. А тебе предлагается пожить вот такой цивилизованной жизнью. Встанешь рано утречком, зайдешь в свой кабинет, книжечку с полочки достанешь, сядешь за компьютер – и кропай доклад, пока тебя мы не достали. Тебе Полина Егоровна кофейку сварганит, чтобы мысль лучше шла. И чем тебе хуже читального зала?

– Ты не понимаешь, Виктор Иванович. Дело же не только в скорости, а в таинстве, в особом, магическом смысле библиотечной работы. Дома совсем не то. Это то же самое, что молиться в спальне и во храме. Зачем верующий идет на службу? Там дух другой, там другая аура, вот и нас в библиотеку тянет, чтобы культ отправлять. Ей богу. Дома так не напишешь, связь с духовным не та.

Кочетов смеялся. А еще завидовал Худову, завидовал, потому что так не мог, не получалось, да и не надо было. И все равно поделаться ничего не мог.

– Пойми, Павел Николаевич, мы же не против, чтобы ты выступил оппонентом, мы не против, чтобы ты написал свою эту статью – ты ученый, а поэтому ты должен это делать, но ты пойми, что жить жизнью кабинетного ученого, который ходит по библиотекам, ездит на все конференции, куда захочет, часами ведет научные споры, ты не сможешь, потому что ты не столько ученый, сколько политик. Через некоторое количество лет, когда ты оставишь президентский пост, ты снова вернешься к привычной жизни, если сможешь, конечно, а пока – извини.

Худов развел руками и уже к завтрашнему вечеру подал список книг, необходимых ему для работы...

Тот день был солнечным. Потом, лежа по ночам на небольшом диванчике в своей (или не своей?) квартире, Худов часто вспоминал его, анализировал, пытался понять, когда же он ошибся в людях...

Его черный богатый автомобиль подкатил к подъезду, куда входили разные ученые, приехавшие кто на метро, кто на стареньких авто, но, кажется, никого, кроме Павла Николаевича Тушина, не привез личный шофер. И никого, кроме этого будущего возможного президента, не встречал ректор, ни на кого не направляли камеры, никому не светили в глаза яркими лампами, чтобы высвеченное лицо отвечало на глупые журналистские вопросы...

– Что привлекло вас в этой конференции?

– Я считаю, что философы, представители фундаментального гуманитарного знания, должны не просто заглядывать в будущее, они должны прогнозировать его, применяя законы развития общества. Сегодня, я надеюсь, мы присутствуем на таком форуме.

– Вы собираетесь продолжать активную научную деятельность?

– Я ее и не прекращал. И сейчас хочу воспользоваться возможностью выразить свою горячую признательность оргкомитету, пригласившему меня выступить с докладом.

– Вы соотносите приезд сюда и ваше выдвижение в качестве кандидата на пост президента?

– Нисколько. Сюда я приехал исключительно как ученый.

Фойе перед залом, где планировалось проведение пленарного заседания, заполнялось ученой братией. Появление Худова не прошло незамеченным: на него смотрели, одни заискивающим взглядом, кивая соседям, мол, вот он, этот самый Тушин, другие скептически улыбались, возмущаясь, что к ним, к ученым, пожаловал этот партийный функционер. Худов во многом чувствовал себя не Худовым, а Чичиковым, явившимся на бал к губернатору. Были здесь знакомые, с которыми Худов был знаком как Худов и которые и представления не имели, что знакомиться с Тушиным вовсе не требуется. Расплываясь в улыбке, поднесла свое тучное тело Евгения Марковна. Худов галантно приложил свои губы к ее руке, отвесил комплимент, поблагодарил за честь присутствия на конференции, получил ответные добрые слова и пошел дальше. Худов рыскал глазами по присутствующим, отдавая себе отчет в том, что бессознательно выискивал тех, с кем проработал не один год на кафедре. Ему показалось, что за углом стоит Штейн (Штейн был большой любитель покрасоваться на конференциях), он медленно двинулся туда и, приблизившись, понял, что обознался. Потом ему померещилось, что у стены одиноко стоит доцент Михалюк, но и это оказалось обманом зрения. Худов зыркал по сторонам, чувствуя, что сам является объектом внимания, но ему было совершенно невдомек, что на балкончике, возвышающемся над фойе, облокотившись о балюстраду его внимательно разглядывал не кто иной, как Сергей Леонидович Афанасьев, стоявший рядом с профессором Черепановым.

– Это и есть Тушин? – спрашивал Черепанов, тыча в пространство незажженной трубкой.

– Кажется, да, – отвечал Афанасьев.

– Откуда он все-таки взялся? Возник, как пришелец, тебе не кажется?

– Кажется, – глубоко вздохнул Афанасьев. – Вытащили из какой-нибудь глубинки. Все это, Игорь Петрович, называется коррупцией, которая и до нас докатилась. Подумать только, зачем им ученые-то понадобились? Деляг мало?

– Небось, подставная фигура. Заплатили мужику – вот он и пляшет под чужую дудку. Ты его работы видел?

– Не спрашивай. Специально журнал взял. Детский лепет. Аспиранты так не пишут. Но так-то он в курсе. Помнишь, как Паша Худов с Штейном схлестнулся, так он вспоминает этот спор. Мы забыли, а он помнит, хоть и излагает весьма примитивно.

Черепанов поцокал языком, зажег трубку и глубоко затянулся.

Зал был большой и почти весь заполнился философами. Худова сразу пригласили в президиум, хотя он этого никак не хотел, и единственное, что удалось ему для себя выторговать, так это место не в центре, а немного сбоку.

Нет, он не впервые попадал в центр внимания, но сейчас понимал, что научный мир должен относиться к нему скептически, поэтому высываться совсем не хотелось. Видимо, по иронии судьбы примерно в том же месте, но с другой стороны сидел Афанасьев. Стол в президиуме был несколько закруглен, так что Худов краем глаза мог видеть своего друга... своего бывшего друга... или друга того, кем он когда-то был. Он, как показалось Худову, изменился. В нем появилось что-то начальственное, важное, статное. И сидел он так, как сидят большие, облеченные властью люди, которым место не в зале, среди всех, а в президиуме. И всей своей крупной фигурой будто бы показывал, насколько мало места в этом узеньком кресле. И докладчика, говорившего о традициях проводимых конференций, он не слушал совсем не так, как не слушали окружающие: он не суетился, не вертелся, перешучиваясь со знакомыми, не подремывал под монотонную речь – он сидел прямо и думал о чем-то своем, улетая мыслями далеко отсюда, и Худову в его виде показалось что-то показное, напускное, совсем несвойственное для того, старого Афанасьева. Худов замечал, что время от времени Афанасьев поворачивал голову и смотрел на него, не смотрел – косился, и в его взгляде появлялась если не злость, то пренебрежение к этому новоиспеченному...

– Мы рады, что в нашей конференции участвует Павел Николаевич Тушин, профессор, доктор философских наук, человек, которого мы по ряду причин узнали недавно, но который отважился на отчаянный шаг – он намерен баллотироваться в кандидаты на пост президента России. Однако Павел Николаевич – ученый, который не предаст науку даже в такое трудное для него времени, и согласился выступить у нас с докладом. Прошу.

Худов одернул пиджак, вышел к кафедре без листка бумаги, потому что не признавал «чтения» доклада, и начал говорить. Не прошло и минуты, как он завладел аудиторией, которая, безусловно, ожидала пафосного, но пустого выступления, когда докладчик своей главной задачей ставит покрасоваться перед высоким собранием, чтобы созданное впечатление сыграло впоследствии. Более того, никто не сомневался, что такие люди не пишут докладов самостоятельно, а в лучшем случае выразительно читают. Именно на это и рассчитывал Худов, когда продумывал, как ему выступить. Выучить наизусть, чтобы попугаем отбарабанить такой текст, невозможно. Следовательно, отсутствие бумажки обнажит самостоятельность Худова. Впрочем, он не скрывал, что прибегал к помощи своих коллег: в начале доклада он выразил признательность и Сотскову, и Игнатову, и даже Дементьеву, хотя здесь все было совсем не гладко.

Во время своего доклада Худов старательно обходил экономические проблемы, благо тема это позволяла, однако в глубине чувствовал тревогу, что будет, если кому-нибудь придет в голову задать подобный вопрос, потому что Дементьев так и не смог создать чего бы то ни было приличного. Впрочем, Худов не мог предположить, что ни у кого в зале и не возникло даже мысли начать обсуждение предвыборной программы. Никому не известный профессор выступал блистательно, пусть время от времени и проскакивали банальные

вещи, но зато изложение было таким, какое не могло никого оставить равнодушным. Не в пример обычным пленарным заседаниям, зал молчал, причем молчал не из уважения или страха – молчал, потому что докладчик блестяще владел аудиторией, а это Худов умел. И не у одного человека возникло удивление, что этот человек не преподаватель университета. А еще некоторые пожимали плечами: «Как могло получиться, что один и тот же человек пишет столь несостоятельные статьи и делает такие интересные и даже во многом глубокие доклады?» – думали одни. «Надо бы поговорить с ним во время перерыва» – прикидывали другие. «Непохоже, чтобы он все это вызубрил», – убеждали себя третьи. Так что Худов и не предполагал, что Авдеенко, опубликовав малосодержательные курсовые работы еще и сыграл ему на руку.

После доклада зал даже зааплодировал – сдержанно, философы же, но эмоции не смогли не выплеснуться. Худов был доволен. Он постоял еще немного за кафедрой, как артист, а потом, скромно попросив зал смолкнуть, пошел на место, развернувшись так, чтобы увидеть лицо Афанасьева. Тот тоже аплодировал и был, как казалось, удовлетворен.

– Мне трудно выступить после столь яркого выступления, – начал он свой доклад, – однако ничего не поделаешь.

Худов про себя усмехнулся, потому что знал, насколько хорош бывает Афанасьев, пусть не худовским артистизмом, зато логикой и отточенностью доклада. Однако на этот раз все выглядело по-другому. Он держал перед глазами лист бумаги и читал – сбивчиво, хрипло, воровато. Могло сложиться впечатление, что Афанасьев не совсем здоров, что ему мешает простуда, что у него сильно разболелось горло и что он только и мечтает о том, чтобы скорее добраться до своего места и тихонько посидеть... Худову же примерно в середине стало страшно, что Афанасьев его узнал. Нельзя было сказать, что весь доклад полностью списан с его черновиков, которые он оставил в столе и которые несколько раз обсуждал с Афанасьевым, нет. В целом выступление было бы вполне самостоятельно, если бы автор хотя бы раз сослался на Худова, в самой незамысловатой форме, мол, как говорил покойный в личной беседе... Абсолютно все Афанасьев представил своими собственными разработками. Худову казалось, что какие-то места он сдул слово в слово. Это выглядело предательством, и вот этого-то и испугался Худов. «А что, если, – думал он, умудряясь не упускать ничего из доклада Афанасьева, – он догадался, ведь голос-то не изменишь, а если изменить голос, то меня, с моей манерой, изменить нельзя никакими операциями, а значит, можно и узнать. Вдруг он все понял, а теперь так жметесь, потому что ему стыдно, что вот, мол, Паша, все стащил у тебя из дому, а мог бы издать под твоей фамилией, но ведь ты ж не академик, у которого издают посмертные труды, вот и пришлось, чтобы не пропало втуне...» Худов сидел и чувствовал, как наливается краской лицо. Конечно, стоило бы встать и прилюдно набить бывшему (теперь уж точно бывшему) другу морду, но что же получается? Афанасьев никогда не любил, чтобы на конференцию шли не обкатанные доклады. Значит, кафедра это слышала? Значит, все послушно проголосовали, чтобы он выступал, а Худов никогда не

прятался, его идеи были известны многим. Значит, не один Афанасьев предал, а все?

Он сослался на важные дела и ушел так, чтобы ни минуты не провести в фойе, пока вся философская масса будет ждать начала работы секций. Никиту он отпустил, а поэтому взял машину и рванул домой, никем не видимый, никому не нужный.

Елены не было. Полина Егоровна тоже куда-то делась. Худов разделся и плюхнулся в теплую ванну, прихватив с собой пачку сигарет и бутылку теплого пива, которую почему-то не поставили в холодильник. Руки его дрожали. Сердце колотилось с невиданной быстротой. Голова казалось чугуновой, как с похмелья. Ему надо было расслабиться, порассуждать, побыть одному, чтобы понять, что же случилось не далее как полтора часа назад.

«Неужели же все так кардинально изменилось? – думал он, выпуская вверх кольца дыма. – Как это? С глаз долой – из сердца вон. Не прошло и года, как я от них ушел, а уже вычеркнут. Интересно, они еще помнят, что был такой Павел Сергеевич Худов? Наверно, вспоминают иногда по случаю... Но это эмоции, а если серьезно, то в одну речку дважды не входят, в этом все дело. И в этом моя ошибка. В глубине души я надеялся, что ничего не изменилось. Я думал, что проживу немножко Тушиным. а потом все вернется на круги своя, возрожусь из пепла. Дудки. Из пепла не возрождаются. Жена откажется от вас, полковник Шабер! Павел Сергеевич Худов мертв, и я видел его могилу. Тебя, дорогой мой, учили, что мир материален, что всякие там мистические штучки – это туфта, а ты и поверил. На деле же все иначе. Приперли могильной плитой – значит, труп. И не рыпайся. Ты исключен. Ты занял другое место. Теперь у тебя другая биография. Теперь ты Тушин. Запоминай, Ту-шин. И новую биографию ты рассказываешь бойче, чем ту, старую. У тебя новые друзья, новая женщина, которая оказалось твоей старой женой. Это реинкарнация, дружок, пересадка души из одной клетки в другую. Она сменила хозяина, а это бесследно для нее не проходит. Ты новый человек. Тебя заперли в доме, как запирают эмбрион в животе у матери, чтобы он приготовился к жизни, чтобы не сдох сразу, тебя убили, тебя вывезли безвольного, тебе не оставили выхода, как не оставляют плоду возможности остаться в утробе, как бы хорошо ему там ни было. Ты переродился, дружок. Так с днем рождения!»

Тушин вылез из ванной, слегка протер себя полотенцем, накинул махровый халат, вытащил из бара бутылку коньяку, выпил полстакана за свое рождение, позвонил Никите, оделся в свежий костюм и, бодрый духом, отправился в офис.

«А может, и вправду все меняется только к лучшему?» – думал Тушин ночами, страдая от бессонницы (усталость делала свое дело, и сон то буквально сваливал его с ног, то не приходил вовсе, заставляя в постели дожидаться раннего весеннего рассвета). Станный, предательский, подлый поступок Афанасьева, как посчитал Тушин, стал знаком к тому, чтобы жизнь коренным образом преобразовалась. «Чего-то в науке я все-таки достиг, пусть немного,

пусть незначительного, но доктором философии я стал. Наверно, пришла пора изменить себя, изменить свои занятия и интересы – буду политиком». И Тушин заработал с новой силой. Он вызвал к себе все членов Центрального совета и с введливостью жука-короеда выпросил о делах, которыми занят каждый из руководителей партии. Снова получил взбучку Дементьев. Нельзя сказать, чтобы экономическая программа не появилась вовсе, она появилась, но была при этом столь несовершенна и банальна, что не выдерживала даже критики Тушина, который экономистом не был. Игнатов отчитывался перед Тушиным о попытке создания организации юных интеллектуалов, которые могли бы стать аналогом бывших пионеров, но только стоящих не под знаменем рабочего класса. Пазуха и Шамшин продолжали свои набеги на разные регионы и даже нарисовали карту, где, по их мнению, победа наиболее вероятна. Картина была не очень утешительной, но зато, успокаивал себя Тушин, была надежда, что картина все-таки объективная, а это уже немало. Сам Тушин сказал Сотскову, что хотел бы отчасти уменьшить свою публичную деятельность, потому что возникла потребность навести порядок в партии, а поэтому за последнее время на людях всерьез появился только один раз – на лекции, которую обещал прочитать в институте у Евгении Марковны. Впрочем, тема лекции подверглась ревизии, Тушин и тут сознательно уходил от философии к политике.

Тушин чувствовал, что устал от постоянного внимания. Ему нужно было обдумать все одному, чтобы никто не мешал, не навязывал своего мнения. Как было бы хорошо, если бы пару дней провести за городом, в одиночестве. Тушин гулял бы по весенним аллеям, дышал свежим душистым воздухом, никуда не спешил, а думал, чтобы вернуться с теми самыми ответами, которые мучают не столько других, сколько его, Павла Николаевича Тушина.

Утром, оставшись вдвоем с Кочетовым, он просил:

– Виктор Иванович, я хочу в Корнюково. Хотя бы на пару дней. Мне нужно очень много всего обдумать. Спрячь меня.

Тушин думал, что Кочетов откажет сразу же, но тот замолчал, видимо что-то прикидывая в уме.

– Это невозможно? – прервал молчание Тушин.

Кочетов еще чуть подумал:

– Да нет, в мире вообще нет ничего невозможного. Но задачку ты задаешь серьезную. Почему в Корнюково? Давай найдем еще какую-нибудь дачку.

Однако последняя фраза была произнесена как-то неуверенно.

– Там надежно, как в Бастилии. Или это место уже ликвидировано?

– Все в силе. Пойми, я сам таких решений принимать не могу, потому что Корнюково принадлежит не мне, а нашему заказчику. Если он не будет против (а я в этом не уверен), то сделаем, а если будет, то не взыщи. В общем-то я тебя понимаю и постараюсь войти в положение. Но сразу скажу, что никого из твоих старых знакомцев там уже нет, они уволены.

– Они живы?

– Да не бандиты нам с тобой платят, не бандиты. Это люди, которые слишком сильны, чтобы размениваться на такие мелочи.

– Жизнь человека – мелочи?

– Не жизнь человека, а сами люди, от которых ничего не зависит. Я уже говорил тебе, Павел Николаевич, им заплатили кучу денег и попросили забыть все, что с ними случилось.

– Пригрозили?

– Конечно. И это в их интересах. И они молчат, я уверен. Словом, если хочешь найти их, то вряд ли это возможно. И если ты собрался на свидание с ними, то Корнюково не подойдет. Их там нет.

– Я сказал правду, Виктор Иванович. Мне нужно подумать. Я, как Иван, удалюсь в Александрову Слободу.

– Хорошо, попытаюсь помочь, хотя это не так просто.

Спустя несколько дней, гуляя по парку в Корнюкове, Тушин думал, что Виктор Иванович Кочетов нормальный мужик, которому требовалось немало потрудиться, чтобы состоялась эта поездка, такая важная, такая нужная возможному президенту. Нет, он не рассказывал, как звонил Петру Григорьевичу, как убеждал, что ничего не случится, что никто не узнает, даже обещал, что повезет Тушина сам, а не шофер Никита...

В Корнюково Тушин поехал прямо с защиты Саши Подъяпольской. Она была хороша, безумно волновалась и выглядела все таким же ребенком, хотя и доклад прочитала вполне разумный, выверенный, ровный. Евгения Марковна была явно довольна своей аспиранткой, смешно качала головой, когда та представляла отдельные положения диссертации, но, в отличие от Саши, совершенно не беспокоилась. И что беспокоиться? Тема не отличалась большой оригинальностью, переворота в науке не намечалось, отзывы что Тушин, что второй оппонент дали положительные, причем сходными оказались замечания к работам, таким же по пафосу был и внешний отзыв, так что не более чем через час Совет приступил к голосованию – и Саша Подъяпольская стала кандидатом философских наук, не получив ни одного черного шара.

На банкет Тушин оставаться не собирался.

– Вы уходите? – спросила растерянная и одновременно чертовски счастливая Саша. – Вы собрались уходить?

– Покурю и поеду. Я еду на важную встречу. На очень важную. А вы не забываете меня. Как только захотите, так сразу и звоните. Давайте я вас поцелую, если вы не возражаете, и покину.

Саша убежала, а Тушин вышел на улицу, где его ждал Кочетов в роли шофера, и укатил с ним в Корнюково.

Огромный дом, в котором Тушин провел без малого полгода, встречал его мрачно: ни одного окна не горело, и даже за дверью, открывшейся, едва Тушин с Кочетовым поднялись по ступенькам, светило нечто вроде свечи или керосиновой лампы.

– Ждем, ждем, пожалуйста, – проговорил бородатый крепенький мужичок, служивший, как оказалось, охранником. – Мы думали, вы пораньше пожалуете.

Кочетов что-то буркнул в ответ, на лестнице зажегся свет, и гости, не задерживаясь, проследовали наверх.

– Немного конспирации, Павел Николаевич, но это обязательное условие, не обсуждается. Жить будете не в ваших хоромах, а в небольшой комнатке, рядом кабинет, там все условия. Гуляете, кушаете – все по своему графику. Я буду неподалеку, так что в любой момент можем уехать. Желательно, все проблемы решать через меня. Вы знаете, есть внутренний телефон. Если не пожелаете, все время пребывания никого не увидите, включая меня. А так – к вашим услугам. В нашем распоряжении трое суток. Вопросы есть?

Тушин отрицательно покачал головой.

– Тогда вот ваши покои. Разрешите откланяться.

Отдыхать Тушин не намеревался. Он сравнивал себя с полководцем, который выкроил несколько дней, чтобы собраться с силами перед военной кампанией. После случая на конференции, где он почувствовал себя похороненным, потому что только с мертвым можно делать что угодно, он внутренне преобразился. «Они все делали за меня, – думал Тушин, – а это неверно, так у меня не остается никакой перспективы, потому что я живу, пока им нужен, пока я выполняю некую функцию. В противном случае избавиться от меня не составит никакого труда, я же полный вымысел, хоть и без пяти минут кандидат в президенты. Они дают мне власть – значит, я должен ее взять». И Тушин стал думать, как этого добиться.

К ужасу Тушина, многие из руководителей партии, не только Дементьев, но и другие, сами плохо владели информацией, перспективы представляли себе туманными, а тактики не видели вовсе. Вероятно, причиной тому был случайный набор кадров, проведенный неизвестно кем, неизвестно как. Однако что-либо менять было и поздно, и невозможно, и, увы, не в правах Тушина. Поэтому оставалось надеяться на самого себя, на свой хиленький опыт, на свое профессорское прошлое, на пока еще кое к чему способные мозги.

Одна из основных проблем, которая стояла перед Тушиным, – это дальнейшие перспективы. Было совершенно очевидно, что в программе партии куда лучше прописаны механизмы прихода к власти, чем то, что потом с полученной властью делать. И не менее очевидно, что большинство политических сил именно на этот камень спотыкалось, причем так, что одними ушибами не обходилось – летели головы.

«Интеллигенцию в лучшем случае можно рассматривать только как инструмент, – думал Тушин. – Если пролетарии говорили, что берут власть для себя, это выглядело вполне рекламно, но вот сказать интеллигенту, что он возьмет власть и себе же ее оставит – глупо. На это не клюнет никто. Интеллигент, в конце концов, крайне зависимая личность. Он сам ничего не производит, собственности у него никакой нет, денег тоже. В его распоряжении есть мозги, с помощью их он может помочь в производстве чего-либо, в распределении собственности, в движении денег. Много это или мало? Ценен такой человек или нет? Во всяком случае, ценен или нет, но большего-то нету, и придется исходить от того, что есть, а не из того, чего нет, да и быть не может».

«Чего обещать? – размышлял он, сидя на скамейке, мимо которой не раз проезжал на лыжах с Верой, когда еще не надо было думать о таких глобальных вещах. – Нужно ли обещать то, что реально исполнишь? Боюсь, что честности и открытости от меня никто не ждет, да и какая может быть честность и открытость, когда я насквозь изоврался. Тогда говори все без разбору, мели, Емеля, а там видно будет. Но если видеть перспективу, то тем самым ты дискредитируешь ту силу, которую вольно или невольно представляешь. Вот она, паршивая интеллигентская совесть. Вот то качество, которое вас губит и погубит всех до единого. Совесть только отчасти хороша, но она же тормозит ваше движение, она не дает возможности прорваться авантюризму, так нужному в политике. А наплевать на нее – как?»

«Чего сейчас не хватает? – спрашивал Тушин, развалившись в мягком удобном кресле, с сигаретой в руке. – Как это ни странно звучит, не хватает власти. Кажется, они неверно поняли демократию. Они рассмотрели ее как некоторое ослабление, а она возможна только при очень сильной власти. Но разве я сам могу быть воплощением сильной власти? Это же смешно, Павел Николаевич, это смешно. Ты же за свою жизнь ни одного решения сам не принял, разве что кинул пару черных шаров, когда диссертации были никуда не годными, а руководителям неплохо было бы подложить свинью. Значит, кто-то сильный должен быть рядом. Но ведь это тот самый президент-марионетка, о котором ты говорил не раз, мол, не буду. А если нет выхода?»

И Тушин гулял, гулял, гулял, думал, думал, думал.

«Да, я буду говорить о науке. Да, я выступлю против деинтеллектуализации. Я сам не знаю, что будет. И неужели это зависит от меня? Хорошо, предположим. В чем я вижу основную несправедливость нынешнего времени? Правильно подумал, несправедливость, а не противоречие. От несправедливости нужно избавляться, а противоречия – необходимы. Итак... А ведь дело не в интеллекте, а в этой дурацкой экономике, к чему и нас приучали, и мы приучали наших студентов. Материализм, Павел Николаевич, против которого не попрешь. Чего они хотят? Они хотят жить в человеческих условиях и иметь возможность зимой поехать на Багамы. Иными словами, они требуют хлеба и зрелищ. То есть развивается история, а человек остается таким же. В массе. Кто-то, естественно, выламывается, но так тоже было всегда. Что мы можем сделать? Осадить богатеньких, чтобы не брали так много, а делились? Это верно, а для этого нужно, чтобы исполнялись законы. Но эти самые богатенькие вовсе не хотят, чтобы их затравили законами. Значит, нужно насилие? Но это мы уже проходили. Давай подумаем еще. Чтобы хорошо получать, нужно хорошо и много работать. Но в наших условиях можно хорошо и много работать, а получать шиш. Значит, нужно менять условия труда, вернее, менять эти самые пресловутые производственные отношения. Павел Николаевич, тебя сносит в марксизм. А что делать? Получается, что путь-то только один: нужна власть, чтобы откорректировать производственные отношения, а потом построить справедливое общество. А что если правда козырнуть Марксом? Коммунисты не убьют? Но ведь можно сказать, что мы

понимаем его по-новому, как это делали в Европе, и тогда получается такой симпатичный коктейль. Мы вас не ведем назад к социализму, но предлагаем с томиком Маркса под мышкой прогуляться в светлое будущее. Очень заманчиво для старшего поколения, которое пожило в застое и которое привыкло честить СССР на чем свет стоит. Молодежь тоже в своей части не чужда всему этому. Попробовать? Чем черт не шутит. Самое главное, что не нужно самому придумывать новой доктрины. Не успею!»

И Тушин ходил и ходил по аллеям, вынашивая в голове планы своих споров с другими кандидатами.

«Самое главное, – радовался он, – это абсолютно неожиданно. Они и предположить не могут, что мы выступим с таких позиций. А мы еще историческую основу им выдадим, ибо пролетарская революция продумывалась в головах интеллигентов. Вот и мы скажем, что готовы выступить в защиту трудящихся, которым и готовы дать... Нет, не власть. Мы дадим им право адекватно оценивать свой труд. Естественно, это полная чушь, но зато как красиво и заманчиво звучит. Нет, от нас никто не ждет этого. Но мы не будем примазываться к ним, нет. Мы сразу скажем, что мы интеллигенты, что мы лишь инструмент, помощь, поддержка, мы сила, мы интеллектуальная сила, без которой невозможна никакая деятельность, мы придем, создадим условия, а дальше сами, ребята, сами. Ибо вы – сила!»

И чем больше Тушин всего придумывал, тем дальше от него уходили воспоминания, связанные с этим довольно милым местом, тем меньше он чувствовал себя Худовым, тем больше его тянуло назад, в Москву, где его идеям было суждено (или не суждено) воплотиться в жизнь.

– Тушин? Это несерьезно. Так в политику не входят. Это просто смешно, – смеялся один из кандидатов по телевизору.

Однако многим было не до смеху, потому что по рейтингам, проводимым различными социологическими службами, Тушин занимал прочное третье место, настолько прочное, что до четвертого было как до Владивостока, а до второго – как до Коломны. Аналитик-журналист рассуждал в своей телепередаче:

– Естественно, мы не можем даже предположить, что так внезапно возникший кандидат Павел Николаевич Тушин выйдет во второй тур, но на сегодняшний день он наступает на пятки второму месту. Скорее всего, работает фактор неожиданности, и специалисты предвещают изменение ситуации уже через неделю, максимум через две.

– Если бы Тушин предложил какой-то новый путь развития России, то можно было бы говорить о его программе, но программа Тушин банальна до невозможного. Ставка на интеллигенцию провальна. Я вообще удивляюсь на его команду, на его пиарменов, которые выдвинули такие странные приоритеты. Они пытаются апеллировать к истории, и это не менее чудно: современный человек меньше всего смотрит назад, когда речь идет о будущем. Подумаешь, кто как себя вел в прошлом, в позапрошлом веке. Ему абсолютно все равно, как

проявила себя интеллигенция в 1905 или в 1917 году. Ему интересно, что будет в двадцать первом веке, а исторического сознания у нашего человека нет. Он смотрит только вперед.

«Неожиданный рывок Павла Тушина закономерен, – писала одна из газет. – Ученый-патриот в роли кандидата в президенты – явление необычное. Он сразу выделился из общей массы. Обаяния ему не занимать, он великолепно умеет общаться с аудиторией, он выдумал понятие *деинтеллектуализации*, понятное и страшное, действующее на думающего избирателя. Впрочем, самое большее, на что он может рассчитывать, это серебро. Хотя и такой результат будет для Тушина колоссальным успехом, серьезным залогом того, что через четыре года он станет уже реальным соперником матерым кандидатам».

– Такой поворот меня не устраивает, – заочно отвечал газете Тушин. – Я надеюсь победить здесь и теперь. Мне кажется, что я и возглавляемая мной «Партия 10 сентября» нужны России сегодня, а что будет через четыре года – неизвестно. Может быть, будет уже поздно, может быть, мы потеряем то, что наша программа помогла бы спасти. Видите ли, я буду искренен, если скажу, что хочу использовать президентский пост не для своей, а для общей выгоды, потому что строю свою политику на внимании к вечным российским приоритетам.

– Меня смущает, – рассуждал по радио один из аналитиков, – что говорит Тушин по поводу духовного возрождения. Это вещь важная, но нам гораздо важнее выстроить нормальные экономические отношения. Если Тушин полагает, что они сегодня нормальные, то я бы лично не хотел видеть такого президента. Если же нет, то где позитивная экономическая программа.

– Я попробую с вами не согласиться, – вступал в разговор другой. – И мое несогласие заключено, так сказать, вот в чем. Я тут целиком и полностью поддерживаю господина Тушина. Мы слишком мало уделяем внимания духовному, забывая, что Россия – страна духа, что именно идея была для нее путеводной звездой долгие годы. С самого падения самодержавия никто из руководителей этой проблеме должного внимания не уделил, а потому и наметился такой страшный крен в развитии.

– Хорошо, но где экономика? Где хозяйство?

– Во-первых, надо задать вопрос кандидату...

– Так задаем. Мы задаем – он не отвечает.

– Во-вторых, мы можем предположить, что он выстраивает линию развития своей деятельности: вначале решение духовных вопросов на имеющейся экономической платформе, а потом изменение в экономических отношениях.

– Какие у них реальные возможности привести программу в исполнение? – спрашивал лидер одной из партий. – Откуда возьмутся деньги? Извините, но Тушин – самый настоящий прожектор. Он умеет гладко говорить, но до президента ему далеко. Подумайте, какое будущее получит Россия в случае его победы? Голодная страна, из которой убежит последний ученый!

– Мы не считаем Павла Тушина серьезным соперником, – говорил еще один кандидат в президенты. – У меня складывается впечатление, что он совершенно забыл о сельском хозяйстве, а ведь Россия не перестала быть аграрной страной. Я пытаюсь понять, что он даст крестьянину – стань он президентом. Он кинется на город, на свою науку, а деревня останется за бортом. Господа, вы останетесь голодными или окажетесь еще в большей зависимости от заграницы, чем есть сейчас. Подумайте об этом, когда будете голосовать.

Постепенно складывалось так, что Тушину политические вопросы начинали нравиться куда больше, чем бытовые, на которые отвечать становилось все менее и менее интересно. Что же касается политики, то Тушин чувствовал, как с началом предвыборной изменилось его отношение к вопросам, еще недавно далеким и даже чуждым. Вместе с тем становились очевиднее пробелы, недоработки, ошибки в программе. Жаль, что совершенно не хватало времени на обсуждение: занят был не только Тушин, в усиленном режиме работали все до единого члены Центрального совета. Даже женщины, казалось, несли вахту. Елена по-прежнему много общалась с Ириной Левитиной, они встречались дома то у одной, то у другой, читали газеты, включали радио или телевизор, а потом пересказывали мужьям увиденное, что очень помогало в условиях немыслимой информационной атаки.

– Павел Николаевич будет президентом? – спрашивала Ирина Петра Марковича, поглощавшего на ночь, вопреки советам врачей, тарелку дымящегося борща с ломтем белого хлеба.

– Не знаю, – пожимал плечами муж. – Дело сложное, но мы стараемся.

– Сегодня о нем хорошо говорили. Называли совестливым и ответственным.

– Это правда, – соглашался Левитин. – Он отличный мужик, но как будет на выборах – еще неизвестно.

– Лена переживает.

– Естественно.

– Она тоже хорошая.

– Тебе видней.

Тушину доставалось больше всех. По ночам, когда он возвращался домой, он просто-таки валился с ног, не хотел ни разговаривать, ни есть, ни смотреть столь полюбившийся за последние месяцы телевизор, когда тот показывал не его, а какой-нибудь глупый сериал. Тушин ложился в постель и думал о том, что будет дальше. Уверенности в победе, пожалуй, не прибавилось, но к предвыборной деятельности он относился уже без скепсиса, а поражение казалось ему серьезной личной неудачей. Тушин старался изо всех сил, работал так, как не работал никогда раньше, сжигал всего себя, лишь бы добиться того самого, желанного. Основная задача, как определили они с Кочетовым, это пробиться во второй тур, а там уж видно будет. По подсчетам социологов Тушин уверенно шел третьим, но перед ним не менее уверенно шел второй, и

своих позиций сдавать не собирался. Тушин медленно приближался к нему, но тот набирал обороты, и разница снова увеличивалась. А то Тушин начинал отставать, но и его соперник спускался чуть ниже. Словом, борьба шла упорная, жесткая, злая.

Политика штаба Тушина была такой, чтобы не выступать с открытыми обвинениями противников. Этот ход, как выражался Сотсков, многогорбый: во-первых, Тушин поступал интеллигентно, то есть выдерживал такт; во-вторых, усыплялась бдительность конкурентов, брызжущих слюной в том числе в адрес Тушина и его партии; а в-третьих, у избирателя создавалась иллюзия, что раз Тушин так спокоен и незлобив, то он представляет собой реальную силу, которой нет надобности вступать в открытый бой. Насколько же такая тактика была верной и оправданной, сказать пока было невозможно. В самом штабе Тушина – Центральном совете – единства мнений по этому вопросу не было. Ярм противником такого поведения был генерал Бородач.

– Я не говорю, Павел Николаевич, что, мол, давай с кулаками. Это глупости, до абсурда доводить не надо. А вот силу свою показать следовало бы. Посмотри на собак: сильная собака себе цену знает, направо и налево в драку не лезет, но зубы показывает, да так показывает, что всем остальным не повадно нападать. Вот и ты зубки показать должен, а то слишком ласков для президента-то.

Как ни странно, точку зрения Бородача разделял и такой спокойный человек, как Семен Никитич Пазуха. Он даже сам попытался выступить с резким заявлением по поводу одного из кандидатов, который находился ниже в рейтинге и реальной угрозы для Тушина не представлял. Пазуху вызвал к себе сам лидер:

– Вы напрасно так, Семен Никитич. Я совершенно не против, чтобы у членов нашей команды было свое мнение, это право каждого человека, а за соблюдение прав, в конце концов, мы и боремся. Только давайте различать две вещи: иметь свое собственное мнение и не противоречить друг другу в наших публичных выступлениях. Люди, готовые за нас голосовать, должны увидеть, что приходит команда единомышленников, объединенных общими взглядами на жизнь, а проявляется это в том числе в таких вещах, как отношение к противнику.

– А что будет дальше? Мы продолжим театр или покажем народу, насколько лицемерны?

– Это не лицемерие, Семен Никитич. Представим себе, что наша партия станет партией власти. Что тогда? Вот тогда есть только один выход – команда. Тогда нам покажутся все наши сегодняшние разногласия детским лепетом. Мы сможем удержаться наверху и удержать Россию только при одном условии: мы должны быть командой.

– Вы сказали *представим себе*? У вас есть сомнение касательно нашей победы?

– Тупая уверенность хуже разумного сомнения.

– Вы не перед камерой, Павел Николаевич, так что можете начистоту.

– А я начистоту, Семен Никитич. Шансы наши велики, и упустить их глупо. Но шанс всегда всего лишь шанс. Я сомневаюсь, потому что, утратив способность к сомнению, я утрачу чувство реальности, а этого очень бы не хотелось.

Впрочем, такие внутренние дебаты случались все реже и реже: концептуальные вопросы остались то ли позади, то ли впереди, и все члены Центрального совета работали на износ, чтобы помочь своему кандидату.

– А ведь они поверили в тебя, – сказал как-то Кочетов, когда вместе с Тушиным переезжал с одного объекта на другой. – Они, Павел Николаевич, делят портфели министров, а это значит, что не исключают твоей победы.

– Вот как! И какие же у них виды?

– Шамшин, понятно, метит в премьеры. Правда, Сотсков тоже бы не прочь. Левитин хочет в МИД. Другие тоже не хилые посты подбирают.

– А ты, Виктор Иванович, кем собираешься быть?

– Я? – хитро улыбнулся Кочетов. – Я бы остался серым кардиналом: так власти больше, а мелькания на глазах меньше.

– Умно.

– А как же!

– А ты веришь в нашу победу? Давай только по-честному, без обиняков.

– А я и по-честному и по-другому верю. Нам с тобой, Павел Николаевич, эта победа нужна, потому как нам с тобой ее заказали. Нам за нее деньги платят.

– А не победим?

– Плох тот командир, который во время сражения думает о поражении. А не победим – дадут нам еще четыре года для разгону. Только вот уж там спросят сполна, мало не покажется. Так что я тебе советую побеждать сейчас, чтоб уж потом если и проиграть, так остаться и при деньгах, и при славе на всю оставшуюся жизнь.

Тушин остался доволен разговором. Значит, не было такой ультимативности, что вот сейчас и точка. Значит, не кокнут, если будет третьим или вторым. Однако расслабляться он не собирался. Кочетов был прав: раз уж поступил заказ, лучше выполнить его сразу или, по крайней мере, показать, как был ретив при его исполнении.

Было еще одно основание, которое подстегивало Тушина к тому, чтобы вопрос о президентстве решить положительно: он и сам не заметил, как полюбил быть знаменитым. Вначале он стеснялся и раздражался, когда Елена откровенно расцветала, если какой-нибудь фоторепортер снимал ее для журнала сплетен, пусть и вместе с Худовым, но все-таки снимал и все-таки в журнал. Теперь же он сам с удовольствием позировал, хотя и больше любил, когда спрашивали о политике, чем о личной жизни.

Большой материал о Тушине (Touchine) разместил на своих полосах один французский журнал, пусть не лучший, пусть на так читаемый, как «Фигаро», но зато французский. Более чем двухчасовая беседа с французским мужиком по имени Поль привела Елену в неопиcуемый восторг. Она кормила иностранца изощренными яствами, приготовленными Полиной Егоровной, не отмечая

похвал в свой адрес как великолепной кулинарки. Она с наслаждением пила кислое вино, которое Тушин не мог взять в рот, предложив сговорчивому мсье Полю банальной русской водки. Она говорила не умолкая, так что про Тушина журнал написал только четверть, отдав оставшиеся три похвалам в адрес неотразимой мадам.

Вопреки предсказаниям аналитиков Тушин своих позиций сдавать не намеревался, тройка лидеров выглядела неизменно, и выборы едва ли готовили какие-то неожиданности. Один из источников однажды поставил Тушина на второе место, но уже следующий прогноз вернул привычное распределение мест. В штабе Тушина постепенно смирялись с бронзой, где-то в глубине души надеялись хотя бы на серебро, но сравнивали это с ожиданием чуда. Даже у Кочетова нет-нет да и проскакивало сожаление по поводу второго тура, которого, скорее всего, не видать как своих ушей. Всему уже казалось, что предвыборная вошла в спокойное русло, как вдруг ситуация резко изменилась, обострилась и стала непредсказуемой.

Это произошло утром, когда Тушин вдвоем с Никитой ехал в офис «Партии 10 сентября». Машина шла по центру Москвы, не спеша пробираясь по узким переулкам, где пробок еще не было, но многочисленные выезды из дворов и неровные перекрестки не давали возможности разогнаться. Вдруг что-то звякнуло, машину дернуло, в стекле образовалась пробоина, на Тушина брызнула кровь, Никита застонал, повернул руль вбок, автомобиль выскочил на тротуар, врезался в фасад дома и заглох. Тушин не сразу осознал, что в него стреляли. Потом все было как во сне. Он увидел Никиту, лежащего в луже крови, с открытыми глазами и раной прямо в голове, от которой здоровый детина скончался практически на месте. Он услышал крики, как ему показалось, детей, женщин, бабок. Он почувствовал на себе сильные руки, вытаскивающие его из машины. Еще были слова: «Он в шоке! Скорую! Милицию!»

В себя Тушин пришел быстро, про прошествии нескольких минут, еще до того, как к нему подбежали медсестра в белом и красивый парень-врач, видимо не понявший, с кем имеет дело:

– А ты легко отделался, батя. В рубашке родился!

Разбитый автомобиль выглядел страшно. Если бы это был «Запорожец», не собрать было бы костей, а тут все сошло.

– Фамилия как ваша? – спросила медсестра.

– Тушин, Павел Николаевич.

– Кандидат в президенты!

И началось!

– Милиция? Ну где же вы. Стреляли в кандидата! Быстрее!

Слух о том, что на асфальте под мелким дождем с жалким видом сидит тот самый Тушин, понеслась быстрее ветра, загудели сирены, замерцали мигалки, а в карманах у далеких пока от места происшествия журналистов затрепетали сотовые телефоны. Прошло еще минут двадцать – и тихий переулок

напоминал своим видом съемочную площадку боевика, на которой снимается одна из ключевых сцен.

– Виктор Иванович! Скорее! В нас стреляли. Никита, кажется, убит. Я цел. Давай!

Теперь Тушин сидел уже не на асфальте, а в машине скорой помощи, где осматривали со всех сторон, стукали молоточком, просили смотреть то вправо, то влево и с радостью констатировали, что кандидат абсолютно здоров, только шишка на лбу от удара, но это не опасно. Место происшествия оцепили. Кочетов с трудом прорвался сквозь кордон, и Тушин обрадовался, увидев возле себя знакомого человека.

– Как же это так? – Кочетов был откровенно растерян и не пожал Тушину руку, а почему-то потрепал его по волосам. – Жив? Цел? Слава богу! Что с Никитой?

Водитель лежал на носилках, накрытый белой простыней. Пока милиция не разрешала увозить тело, недавно бывшее милым водителем Тушина.

– А стреляли-то в меня, – тихим голосом проговорил кандидат. – Промахнулись. Может, напрасно? И что судьба меня так бережет? У него вон дети, жена, а у меня ничего нет, Виктор Иванович, ничего. Все не мое, все понарошку.

– Замолчи, Павел Николаевич. Философствовать будем потом. Он знал, что дело опасное. Надо бы тебе охрану.

– Не надо.

– Это приказ, Павел Николаевич, не обсуждается.

Вокруг было шумно, очень шумно: бегали, сустились милиционеры, люди в штатском; шумела толпа, а поэтому Тушину не было слышно, как молодой человек лет тридцати громко кричал в телефон:

– Да, спасибо, Николай. Я нахожусь прямо в центре Москвы, где сегодня утром произошло покушение на кандидата в президенты, лидера «Партии 10 сентября» Павла Тушина. Его автомобиль был расстрелян несколькими выстрелами, в результате чего погиб шофер. Тушин не пострадал. Врачи говорят, что он на некоторое время впал в состояние шока, однако сейчас чувствует себя нормально. Он находится за оцеплением, поэтому мне не удастся с ним поговорить. В настоящий момент следственная группа, которая уже приступила к работе, пытается установить, откуда стреляли. Вероятнее всего, киллер находился в двухэтажном особняке, в котором сейчас ведутся реставрационные работы. Хотя удивительно, что, находясь так близко от проезжавшего автомобиля, он промахнулся. Никто не сомневается в том, что покушение связано с политической деятельностью Павла Тушина.

Естественно, что Тушин не слушал и радио, а поэтому не знал ответа ведущего:

– Да, мы связались с предвыборным штабом, где тоже не сомневаются в политических мотивах происшедшего. Вот что сказал один из руководителей «Партии 10 сентября» Андрей Сотсков: «Это событие вопиющее. Страшно, что произошло нападение на того кандидата, который выбрал тактику мирную,

отрицающую даже словесные выпады в адрес других кандидатов. Павел Николаевич – глубоко интеллигентный человек. Он признает только честную борьбу, хотя, как показывает сегодняшнее, в политике честной борьбы не бывает. Трагично, что погиб человек, ни в чем не повинный человек, и его гибель мы очень тяжело переживаем. Но мы надеемся, что покушение на нашего лидера не повлияет на его решение участвовать в предвыборной кампании и на сам ход выборного процесса в России».

– Можно вас? – к Тушину подошел следователь с раскрытым удостоверением. – Давайте поговорим. Вы в состоянии?

– Конечно, я абсолютно здоров. Мне повезло. Сразу скажу, что я никого не подозреваю. Честно говоря, мне дико. Я в политике человек новый, еще, знаете ли, не привык.

– Вы полагаете, что на вас покушались как на политического деятеля?

– Простите, но грабитель скорее выбрал бы подворотню, чем бульвар, да еще утром.

– Личные враги?

– Исключено. Понимаете, так получилось, что ни друзей особенных, ни врагов у меня сейчас нет. Так вот сложилось.

– А что касается вашей профессиональной деятельности до начала политической?

– Наука? Это смешно. Там споры горячие, бывало, письма в ЦК писали, людей исключали из партии, сажали, ссылали – у нас наука сложная. Но чтобы вот так убивать – не слыхал.

– Ну, времена меняются...

– И с ними мы. Несмотря ни на что, это невозможно. Поверьте, эту версию отметем сразу. Да и философ с автоматом наперевес – это смешно, немыслимо.

– Вам могли завидовать.

– Могли. И завидуют. Вот это-то и есть те самые политические мотивы, о которых мы с вами говорим. Завидовать по науке мне некому. Я не академик, не нобелевский лауреат. Профессор – это не предмет зависти. Что касается родни, то и с родней у меня не более благостно обстоит, чем с друзьями.

– Это я понял. А если подумать о членах вашей партии?

Худов усмехнулся:

– Знаете, у нас с вами совершенно разные точки зрения на жизнь. Я хочу видеть вокруг себя добро и порядочность, а вы подозреваете. Не обижайтесь, я не хочу сказать о вас плохого: это ваша работа, иначе вы будете неважным следователем. Но я не могу сказать о тех, кто работает вместе со мной, с кем мы делаем одно общее дело, что я предполагаю, будто кто-то из них, как это теперь говорится, меня заказал. Зачем им это надо? Если меня не будет, никто не сможет стать на мое место кандидата. Они не хотят видеть во мне президента? Но это выгодно всей партии. Кто-то хочет занять мое место лидера? Не знаю...

– А что если есть предатель? Тот, кому заплачено за вашу неудачу.

– Вот мы и опять не сходимся в точке зрения. Но даже если и встать на вашу позицию, то есть ли смысл идти на такие сложности, чтобы банально пальнуть? Вам не кажется?

– А мне ничего не кажется. Я расследую убийство и покушение на вас, а поэтому буду сух и бездушен. Меня интересуют факты, а подозревать я буду тех, кого считаю возможным подозревать. Не первый день в органах.

Разговор не получился. По крайней мере, так казалось Тушину, который всерьез утомился за полчаса. К тому же шок проходил и наступала пора безумной усталости, разочарования, мерзости и пакости.

– Я хочу домой, Виктор Иванович. Поедем?

Было непросто отбиться от журналистов, готовых пожертвовать своей жизнью, кидавшихся прямо на капот, совавших объективы фото- и телекамер прямо в окна автомобиля Кочетова, где стекла не были затемнены.

– Пошли! – заорал Кочетов, даже еще грубее, громко сигналив. – Пошли вон!

– Все, – коротко сказал Тушин, едва они выехали на дорогу. – Все, я отыгрался.

– Что это значит?

– Это значит, что меня слишком часто убивают, Виктор Иванович. Может быть, я должен отпраздновать свой день рожденья, но таких становится все больше и больше. Скоро будет как, кажется, в Мексике, там что ни день, то праздник. Впрочем, это я иронизирую. Естественно, не время, убили Никиту. Это ужасно. Я не могу прийти в себя. Я не могу прийти в себя.

– Напейся, Павел Николаевич. Это помогает в таких ситуациях.

– Я умываю руки.

– Не понял?

– Я перестану играть в ваши игры, мне надоело. Я никогда не хотел делать то, к чему вы меня принуждали, но делал, делал, вероятно, по малодушию. Однако сегодня все переменялось. Игра стала чересчур жестокой. Пусть правила установят биться до первой крови. Она пролилась. Я выхожу.

– Напейся, Павел Николаевич, а потом поговорим.

– Никаких потом. Я так не могу.

– А не можешь, тогда послушай. Ты не привык к тому, как ты сегодня живешь? Ты случайно не забыл о том, как жить, считая копейки? Ты вообще помнишь, что деньги существуют? Не отвечай, пожалуйста. Это риторические вопросы, риторические. Дорогой мой, ты знаешь, что есть такое слово, как издержки? В конце концов, у тебя был выбор- назваться груздем или не назваться. Ты мог не назваться. Да, тебя бы пришили, вот так банально, примерно так, как могли бы сегодня, только без помпы, без телекамер и прыгающих вокруг тебя врачей. Скорее всего, даже без могилы. Сбросили бы тебя куда-нибудь в реку и пригрузили камнями, чтобы не всплыл до времени. Но ты решил пожить, причем тебе устроили такую жизнь, какая тебе и не снилась в твоей дурацкой коммуналке. Что же ты раньше не отказался, пока на тебя не наставляли дуло? А теперь – струхнул? Извини, Павел Николаевич, но так

интеллигентные люди не поступают. А если бы тебя, вот такого обыкновенного, каким ты был когда-то давно, в подъезде подстерег здоровенный ублюдок и вломил камнем по башке, чтобы забрать твою жалкую зарплату? Ты бы сказал, что больше в этом доме жить не будешь? Это смешно! Послушай, я думал, что ты смелее. Мужик вообще должен быть смелым. И злым. Тебя ударили – так стань президентом назло всем тем, кому ты помешал. А если тебя решили убить, значит, ты сильный, значит, ты опасный. Ты побеждаешь, Тушин...

– Но Никита, Виктор Иванович, причем тут Никита?

– А когда идет война, то убивают тех солдат, которые вообще не желают быть солдатами. Их призвали во исполнение закона, с которым они могут быть согласны или не согласны. Но закон суров – и их призывают, чтобы они положили свои жизни. Как относиться ко всему этому командиру? Пить водку после каждого мало-мальски серьезного боя, когда погибают его солдаты? Но он сопьется и не победит, а тогда потеряет еще больше. Ты знаешь, что, идя в бой, мы прикидываем, сколько потеряем? А ты, Павел Николаевич, на войне, ты в бою, так что будь любезен быть мужиком, быть полководцем. А сопля – это не признак интеллигента. Это признак бабы.

Дома Тушин спрятался в своей комнате, попросив Елену отключить телефон.

– И не плачь, пожалуйста, все же в порядке. Ничего не произошло.

Елена все равно держала глаза на мокром месте, а Тушин не мог понять, то ли это спектакль, то ли она действительно к нему привязалась.

Вид из окна комнаты Тушина был превосходный: старая Москва во всей своей красе, тихий переулок, раскидистые деревья с молодой летней листвой. По узким переулкам то проходила бабушка с сеткой, помнившая здешние места еще с довоенных лет, то не спеша прогуливался молодой банковский служащий, в дорогом костюме, в блестящих черных ботинках, таких чистых, точно чистили их какие невидимые щетки с каждым шагом. Тушин опирался о подоконник и думал, что вообще-то страшно вот так стоять, служа живой мишенью тем, кто покушался на его жизнь утром, но стоял, потому что хотел доказать и себе, и этому дураку Кочетову, что не боится он ничего, ничего на свете, а просто устал и совсем не готов к таким играм. Стать президентом? Он не против, отнюдь не против. Но вот война – никак не в его правилах. Он пытался разобраться в своих чувствах, как каждый интеллигент, а тем более философ склонен к тому, чтобы рыться в себе. Он думал о Никите и обвинял себя, что мало переживает. Из этих двух чувств: ужаса от убийства и счастья оттого, что сам остался в живых, – второе откровенно побеждало. Тушин даже представлял себе, как его тело укрывают белой простыней, а потом убирают в полиэтиленовый пакет, чтобы через два дня похоронить со слезами и всем таким. И ему делалось жутко от таких мыслей, он гнал их прочь, а тогда на лице возникала улыбка и глаза светились счастьем и с жадностью пожирали вот эту чудную картинку за окном, где жизнь шла и шла, невзирая ни на каких президентов. Еще было жаль, что под конец он разругался с Кочетовым.

– Мне не нужна никакая охрана, Виктор Иванович, я приказываю оставить эту идиотскую затею. Поймите, два раза в одну воронку снаряд не попадает. Я в безопасности.

– Ты мне напоминаешь слепого щенка, Павел Николаевич. Снаряды не попадают, а вот из ружья попасть на мишени в ту же дырочку ой как можно. Ты под прицелом.

Нет, Тушин не верил, что он под прицелом. Рассуждая логически, можно было прийти к выводу, что политическая карьера Тушина не так долговечна, как бы даже хотелось ему самому. Выход во второй тур очень маловероятен, а тогда оставалось только руководить этой странной партией, у которой было весьма туманное будущее, полностью зависящее от того, кто за все это платит. Нет, если деньги, так понравившиеся Тушину, не уменьшатся, он готов, он продолжит, но вот если они упадут, то лучше откланяться, сослаться, скажем на проблемы со здоровьем, мол, этот выстрел, хоть и попавший в соседнюю мишень, но не прошел даром для нервной системы, так что сердце, сосуды, давление... Словом, стрелять во второй раз будут едва ли, и Тушин может запросто бродить по любым улицам, ходить в кино и не бояться участи Улафа Пальме.

В словах Кочетова была одна очень верная вещь, не признать которую Тушин не мог: ему действительно понравилась его нынешняя жизнь, жизнь без долгов, жизнь в ресторанах и клубах, жизнь перед телевизионной камерой, когда мысли, ничем, казалось бы, не примечательные, всерьез выслушиваются и обсуждаются людьми. Да, в этой жизни были свои издержки, причем самая большая имела место сегодня, но ведь щепки суть неотъемлемая часть рубки леса, это известно давно и всем, так что хочешь есть калачи – рот не разевай. Это было так просто: встать перед камерой и во всеуслышание объявить, что ты отказываешься от своих притязаний на президентский пост, объявить красиво, как он умеет, витиевато, резко, критично, чтобы все пожалели, мол, вот за этого мужика голосовать-то надо, а тут... Но это бы означало, что пройдет день – другой, и Тушина забудут, забудут начисто, точно и не существовало такого никогда. Это верно, как дважды два – четыре. Значит, такой путь не годился. Значит, требовалось прийти в себя – и продолжить. Может быть, тогда скажут, что молодец он, Павел Николаевич Тушин, что нашел в себе силы, что не испугался, потому что интеллигента запугать невозможно, ибо великая сила за ним – сила духа!

Предвыборный штаб, временно оставшийся без своего лидера, оторвавшего себя от мира, кипел. Никто не знал, что будет дальше, и все побаивались, что Тушин сдрейфит. При этом требовалось делать хорошую мину, потому что штаб переполняли журналисты, слетевшиеся сюда со всех концов, и Сотскову, на которого взвалили эту непосильную ношу, приходилось все время говорить, говорить, говорить... Ждали приезда Кочетова, а когда тот приехал, все осталось так же непонятно.

– Как он? – спросил Шамшин.

– Как? А как ты будешь, если в тебя среди бела дня пальнут? Так и он.

Из этого совершенно ничего не следовало, потому что Шамшин совершенно не представлял себе, как бы он пережил такое неприятное событие.

В небольшом холле повесили красивую фотографию Никиты.

– Я не могу никого подозревать, – в очередной раз отвечал Сотсков. – Я не следователь. Что мотивы политические, я не сомневаюсь, но подозревать не могу.

Тушин тоже не мог вообразить, что в случившемся повинен кто-то из своих. Да, ему не нравился Дементьев, но не убивать же его. Зачем? Это был кто-то со стороны, тот, кому он мог помешать даже третьим местом. Но кандидаты перестали для Тушина быть людьми с экрана, с картинки: они здоровались, подавали друг другу руки, спорили, но как могли эти споры выливаться в убийство? «Или я чересчур наивен? Или поданная рука ничего не значит, как значила в давние времена? Или можно смотреть в глаза и думать о том, как бы избавиться?» Но теперь все должно было измениться. Тушин был уверен, что второго выстрела не последует. Это было бы слишком. Просто потом надо будет поаккуратней, может, следует воспользоваться предложением Кочетова об охране, хотя и с охраной отстреливают. Но это потом, а пока все нормально, отделались легким испугом... Правда, Никита... Да прав Кочетов: он знал, на что идет... Как и Тушин знал. Вернее, Худов, тогда еще Худов. Так, значит, все продолжается? Значит, это лишь маленькая неприятность в неожиданно сложной и интересной жизни? В конце концов, мало кому выпадает на долю такая удача – стать кандидатом в президенты России, стать известным, знаменитым и даже рассчитывать на успех.

Кочетов в офисе пробыл недолго: слишком шумно и суетно. Никому не говоря ни слова, он собрался и поехал к Авдеенко, которому велели сидеть дома, чтобы не светиться в штабе, где перебор посторонних.

– Что будем делать? – спросил писатель Кочетова, когда тот приехал и плюхнулся на табуретку в кухне, захлебываясь поданным ему стаканом ледяного компота.

– Что делать? Ничего не делать. Продолжать в том же духе. Он меня вымотал, Славик, мужик ничего, но болтает его, так болтает, что просто сил нет. Казалось бы, все ему сделали, живи и радуйся, так нет, он опять кочевряжится.

– Что делать? Покушение – это вещь страшная.

– Так если бы сегодня. Он все время какой-то нерешительный. Может быть, это и есть интеллигентская черта? А если так, то на черта они нам сдались? И ведь посмотри, как они себя показали в истории? И смелые, и твердые, и выносливые. И пытали их, и в спецпсихбольницах они были, и репрессировали, а вот нерешительность... Он сам, Павел Николаевич, в Корнюкове вел себя более чем достойно, не плакал там, не канючил, условия нам ставил, Толя все переживал.

– Как он?

– Кто? Толя?

– Да.

– Его рассчитали. Небось, где-нибудь тоже за бугром, как Анька. Они все испугались, деру дали, так что не знаю.

– Кто стрелял?

Кочетов усмехнулся:

– Кто ж его знает? Это, пожалуй, первый такой большой сюрприз в нашем деле. Это не по сценарию. Я и сам, если четко, струхнул. Никитку жалко, хороший был парень. Жена, двое ребят. Но все лучше, чем бы нашего хлопнули. Знаешь, я думаю, припугнуть хотели, а в него по ошибке попали. Вряд ли стрелять поручили дилетанту, слишком крупная фигура. И киллер решил подстраховаться, выстрелил по первому сиденью, хотя мог бы попасть посредине. Вот Никитка под пулю и попал.

– Так если хотели пугнуть, значит, могут и добить. Чего им надо?

– Ясно чего. Но я сходить с пути не собираюсь. Нет, они теперь притихнут. Резонанс большой, опасно. Да и кому он мешает? Недокрутили мы, Славик, недоделали президента. Вот если бы он в лидеры выбивался, тогда было бы страшно, а так все прошло. Самое страшное позади. Так что собирайся, едем к Тушину, будем уламывать. Как же он меня достал, цаца интеллигентская.

Тушин был уверен, что Кочетов приедет, поэтому не удивился, увидев его в сопровождении Славика Авдеенко.

– А ты выглядишь-то ничего, Павел Николаевич, ничего. Напился, как я велел?

– Пока не успел.

– А вот мы тебе коньячку привезли, сейчас сядем, поговорим. Лена дома?

– Да.

– Елена Михайловна! – позвал он с порога. – Давай-ка, милая, собери мужикам быстренько закусить, а то у нас разговор мужской, без бутылки никак.

Разговор и действительно был серьезный. Кочетов, правда, с порога понял, что настроение у Тушина изменилось, однако подъезжать к нерадивому кандидату все равно пришлось на кривой козе.

– Я боюсь, что все уже бесполезно, Виктор Иванович, бесполезно, хотя и не отказываюсь от продолжения гонки. И у меня, и всех вас, наверно, не будет того благостного настроения, какой был. Это бесследно не проходит. На нас стоит печать смерти.

– Хватит лирику гнать! Представим себе, что мы где-нибудь в горах и кто-то сорвался. Что делать? Все бросать? Когда до вершины вот-вот?

– А вот до вершины нам далеко. И тут давай признаемся честно.

– Давай. Я согласен. Но давай признаемся и в том, что ты смотришь на жизнь очень узко. Или близоруко. Ты не понимаешь, что наш сегодняшний бой – это только начало. Мы будем серьезной политической силой на следующих выборах, той силой, которая пойдет уже в первых рядах. Но если ты сейчас сойдешь, то на «Партии 10 сентября» можно будет поставить крест, причем жирный.

– Павел Николаевич, – добавлял Славик Авдеенко, – мы еще попируем. Вот пройдет предвыборная, а там и расслабиться можно будет. Я думаю, мы

заслужили премию. Предлагаю всех нас заслать куда-нибудь в теплые края. Ты же, небось, за границей не был?

– Как же не был? А в Польше?

– Да это не та заграница. Махнем на курорт.

– Поедем на Кипр. Там у наших заказчиков домик, очень смахивающий на замок, – сказал Кочетов. – Я же был. Очень милый уголок. В любом случае нам на пару недель дадут им воспользоваться. Там, конечно, не дача Бородача, шашлыка нет, за грибочками в лес не сходишь, но зато экзотики хоть отбавляй. Средиземное море – это сказка, я вам, мужики, скажу. Это надо видеть и чувствовать. Но это надо заработать, Павел Николаевич, надо заработать. Так что ты приходи в себя, очухивайся, а там и вперед.

– Стоп! – вдруг встал Славик. – Стоп, мужики. Есть идея. Надо Павлу Николаевичу сегодня по телевизору выступить.

– Сегодня не надо. Он устал, – возразил Кочетов.

– Нет, сегодня. Вот это будет резонанс! В него стреляли, а он тут, собственной персоной, ничего не боится, а?

– Вообще, мысль, – задумался Кочетов. – Этак мы и на серебро выскочим. У нас народ жалостливый. Черт, нет худа без добра. Вот страна, вот люди. Давай, Павел Николаевич, ударим речью? Но тут как ты скажешь. Да – значит, да; нет – значит, нет.

Тушин ответил не сразу, сначала было заартачился, а потом согласился, и уже через несколько минут Авдеенко звонил по разным каналам, предлагая прямой эфир Тушина в новостях, и все соглашались, а Сотсков, которому тотчас позвонили, выбирал, что лучше.

Появление Тушина на экране прошло на ура. Никто этого не ожидал, а он как ни в чем не бывало сидел рядом с ведущим и был готов сказать пару слов и ответить на вопросы.

– Павел Николаевич, мы рады приветствовать вас, и первый вопрос: как вы себя чувствуете?

– Спасибо. Я-то нисколько не пострадал. Мне очень печально, погиб водитель машины, в которой я ехал, ужасно, что кровь льется в мирное время, в мирном городе.

– Мы тоже приносим соболезнования родственникам погибшего. Скажите, Павел Николаевич, вы намерены продолжать вашу борьбу за президентский пост.

– Не буду скрывать, что сегодняшней день дался мне непросто. Это было время чудовищных колебаний, но в итоге я понял, что выход из борьбы, во-первых, был бы на руку тем подлецам, которые совершили злодейское нападение, а во-вторых, это было бы предательством тех, кто готов голосовать за мою кандидатуру. Так что я во всеуслышанье заявляю: я не снимаю своей кандидатуры.

– Изменяются ли ваши принципы, которые вы отстаиваете в предвыборной кампании?

– Нет. Это невозможно. Мы стоим на позициях мирного ведения предвыборной борьбы, и на том стоять будем. Мы – партия интеллигентов, мы – противники насилия, и ничто не сможет заставить нас изменить точку зрения. Мы не боимся трусливых убийц, подло прячущихся в кустах, откуда нападают на нас, потому что мы представляем для них опасность. И мы уверены, что смелость – это то качество, которое позволит нам противостоять бандитам.

– Еще один вопрос, который, наверно, вам задавали сегодня уже не единожды: кто, с вашей точки зрения, мог это сделать? Кому это выгодно?

– Да, этот вопрос мне задавали, я на него отвечал не один раз, и отвечу еще раз так, как и отвечал. Я никого не подозреваю. Это дело следователей, профессионально занимающихся этим. А я дилетант.

– Да, но каждый человек, например, читая детективы, пытается понять, кто преступник.

– Верно. Я тоже люблю детективы и пытаюсь предположить, что скрыто от моих глаз, но жизнь, вероятно, отличается от книг и фильмов. Она сложнее, ошибка существеннее. И как же я сейчас укажу на кого-то и скажу: ты стрелял? Нет, это исключено. Я не собираюсь никого скоро обвинять. Единственное, в чем я уверен и что готов повторить: я не сомневаюсь в политическом характере. Все.

– Спасибо, Павел Николаевич. Мы желаем вам здоровья и всего самого наилучшего. В прямом эфире у нас был кандидат в президенты, лидер «Партии 10 сентября» Павел Николаевич Тушин.

Спустя несколько дней сначала осторожно, а потом все уверенней и уверенней аналитики стали высказывать мнение, что покушение оказалось удивительно на руку претенденту, так как его рейтинг резко пошел вверх и он обогнал своего ближайшего предшественника, заняв второе место. В штабе Тушина стало крайне беспокойно, высказывались самые различные мнения относительно того, как удержать сложившееся положение. Радикальную позицию занял Бородач, вначале в личной беседе, а потом и открыто призвавший Тушина к более жестким методам.

– Смотри, Павел Николаевич, как изменилась ситуация, чуть ты перестал быть мягкотелым. Я уверен, они рассчитывали, что ты сломаешься, а ты выдержал. И люди поверили. Теперь больше жесткости!

Тушин не соглашался. Он просто не мог понять, что такое «больше жесткости». Поливать грязью направо и налево тех, против того, с кем тягаешься? Но это не жестокость, это подлость. Зачем же подличать? Заявить о жесткости власти, коли такая достанется? Но власть и так жесткая штука, а если не жесткая, то она и не власть вовсе. Где же она, жесткость?

– Где жесткость? – переспрашивал Бородач. – Прежде всего жесткость в позиции. В голосе, в позе, в интонациях. Ты вдруг показал себя мужиком, командир, и в тебя поверили, как верят в командира. А теперь покажи, что это был не аффект, а твоя истинная сущность, что ты такой всегда. Кстати, я убежден, что ты очень прибавил у военных.

– Я ничего менять не намерен!

- И очень глупо.
- Вечером, лежа в постели, Елена спрашивала Тушина:
- Ты будешь вторым?
- Я хочу быть первым.
- Первым ты не будешь. Но ты будешь вторым?
- Думаю, да, но социологические опросы и выборы – это большая разница.
- Так ты будешь вторым?
- Да.

Едва Тушин попал на вторую строчку рейтинга, отношение к нему коренным образом изменилось.

– Мы видим реальную политическую силу, которую представляет собой «Партия 10 сентября» и ее лидер Павел Тушин, – говорил аналитик. – Перед нами рекорд, когда совершенно неизвестный кандидат становится реальным претендентом на пост главы государства.

– Вообще, еще есть время, чтобы ситуация вернулась к прежнему положению, – считал другой. – Возможно, покушение на претендента совершенно случайно вывело его на вторую позицию. Посмотрим, как сложатся дела в последние недели, да и на самих выборах все может еще измениться.

– Мы должны с осторожностью относиться к данным опросов, – пояснял третий. – Никогда нельзя с точностью предопределить, как проголосуют избиратели, тем более когда борьба становится такой упорной. Дождемся дня выборов. Неожиданности в эту кампанию подстерегают нас на каждом шагу.

Тушин чувствовал, как он меняется. «Я должен, – все чаще звучало в его мозгу, – я должен». Он все глубже и глубже вникал в работу партии. Он, окруженный телохранителями, поехал по большим предприятиям, его встречали в областных городах и райцентрах, он стал одним из самых популярных политиков на телевидении. Он научился отвечать, отвечать правильно, так, как этого требовал имидж. Он даже решился на теледебаты с Номером первым...

В партии поднялся ажиотаж. Даже Кочетов полагал, что это нелепо. Проигрыш в споре с Таким политиком будет равен поражению уже в первом туре, а что проигрыш неизбежен – факт. Но Тушина как будто завело. Он не собирался отказываться от этой идеи – и переубедить его было не в силах абсолютно никому.

И поединок состоялся.

Эфир назначили на последнюю пятницу перед выборами, на вечер. Сначала планировалось большое ток-шоу, где кандидаты должны блеснуть красноречием перед залом, где будут вопросы, суждения, мнения, критика... К этому и готовились, учили своих людей, которые сядут в публику, но в среду вечером позвонили из Останкина и сказали, что все меняется. Кандидаты вдвоем сядут перед камерой и ответят на вопросы журналиста, который останется за кадром, мол, дуэль так дуэль.

Кочетов скис.

– Тебя уничтожат. Впрочем, ты сам нарвался. А с другой стороны, мы и без того многого добились.

– Спасибо, дружок, подбодрил.

Кочетов усмехнулся и ничего не сказал.

Тушин накануне эфира спал плохо. Елена ерзала в постели, крутилась.

– Я как Кутузов перед Бородином, – сказал Тушин.

Она промолчала.

С глазу на глаз они встретились впервые. Один – матерый, выдавший виды политик, хитрая лиса, известный всему миру... Другой – новичок, случайная фигура, политический недоносок, плод чужого пиара. Первый взглянул на Тушина тяжелым, испепеляющим взглядом, давая понять, кто есть кто. Тушин кивнул, мол, здрасьте, тот не ответил.

Тушин был человек крупный, но Первый был больше, мощнее, сильнее. За ним чувствовалась сила, мощь, поддержка миллионов. Это был тяжеловес, которому предстояло сразиться с подростком. Он не волновался, он привык быть под дулами телекамер, а Тушин трясся, нервничал и чувствовал, что все это видно, заметно.

Сначала дали слово Номеру первому. Боже, как он заговорил! У него были цифры, факты, примеры. Казалось, вся страна у него на учете, каждый человек, каждая проблема каждого отдельного человечка, каждая былинка, каждая пылинка. Ему было легко, привычно говорить в эту чертову телекамеру, а у Тушина потели ладони и перехватывало дыхание. Что же он-то сможет сказать?

Номер первый говорил недолго, всего минут пять, а потом ствол перевели на Тушина. Ваш выстрел, коллега!

Он начал:

– У меня нет такой информации, как у моего противника, хотя странно пользоваться этим словом в отношении человека, которого я высоко ценю и уважаю. Но суть не в информации. Информация – дело наживное. Главное – глобальная перспектива, которая видится будущему президенту. Почему я решился на такой сложный шаг? Что мне позволило баллотироваться в президенты? Что я могу дать родине, народу? Я представляю науку, большую науку. Я представляю то, что составляло на протяжении долгих лет гордость нашего государства. И имею в виду не только советские годы, а, главное, целые столетия, прошедшие со времени великой научной деятельности великого Ломоносова, знаменовавшего расцвет русской науки. А наука для России значит гораздо больше, чем для любого другого государства. Формировавшееся годами преклонение перед умом сделало из ученого символ нашей страны, ее гордость, ее эмблему. Мы много говорили о человеке труда. Советское государство видело в нем свою основу, но реально мы жили в замечательном единении рабочего и ученого, и единственное, чего нам не доставало, это демократии. Господа, настала исторический момент. Преобразования в России достигли той точки, в которой мы получили право на покаяние. Мы многого добились, но мы

и разрушили слишком много, мы подточили фундамент нашего русского общества, которое не может быть таким прагматическим, как общество западное. Мы устранили рабочего и ученого с политической арены. И вот я говорю – назад, в будущее. Я не боюсь такого лозунга, я не боюсь прослыть ретроградом, я говорю то, что думаю. Я выступаю за возрождение России, а возрождение не может не базироваться на истинных ценностях былого времени. И я былого не боюсь.

Кочетов схватился за голову, особенно когда камера выхватила издевательское выражение лица Первого.

– Он идиот, что он мелет.

И вдруг произошло неожиданное: счетчик зрительских голосов, оставивший Тушина далеко в аутсайдерах после выступления Первого, изменил динамику, цифры на Тушинской стороне замелькали, догнали и перегнали его оппонента. Тушин побеждал!

Он говорил дольше, его даже прервали... А потом все увидели Первого, который изменился в лице. Его глаза теперь стали другими, сосредоточенными, даже встревоженными. Прежде чем начать возражать, он явно просчитывал в уме, где допустил ошибку, где просчитался он и его команда, в чем недооценили этого выскочку.

Слова Первого снова повысили его рейтинг. Он приблизился к Тушину, но обогнать не смог. Тушин заговорил о роли интеллигенции в развитии нашего общества – и снова рванул вверх. На экономических вопросах он проигрывал, на социальных они были на равных, даже внешняя политика не позволила Первому уйти вперед.

Итог был странным. Первый все-таки победил. Но победил столь неубедительно, вяло, что многие расценили выступление Тушина как прорыв.

«Итоги выборов под большим вопросом» – готовы были протрубить газеты, но наступала суббота, день предвыборного затишья.

Тушин весь день провел дома. Партия суетилась, бегала, жужжала. Ему даже с Еленой разговаривать не хотелось. Вчера, после эфира какой-то журналист подошел к нему и задал этот странный вопрос: «Так все-таки кто вы, господин Тушин?» Тушин улыбнулся: «Узнаете. Придет время – и вы все обязательно узнаете».

Было странно. Он ест колбасу, а весь мир замер. Весь мир задается этим же вопросом, потому что он, вчерашний Павел Худов, может вопреки всем прогнозам стать во главе этой величайшей в мире страны. Его портреты сегодня на обложках всех мировых газет. И Ёлка узнает его и не может поверить, что вот так запросто отшила его, не пригласила в гости. И противный Венгель понял наконец, что за фрукт гостил у него. Дрожит, небось, трусит. А еще о нем говорят те, кто какой-то год назад знали его совсем другим, с другой мордой, с другим именем. Сын. Бывшая жена. Соседка Кузьминична. Вера. Где вы, господин Худов?

День прошел. Пролетела еще одна бессонная ночь. Утро настало хмурым, туманным, безрадостным. В урны листопадом полетели голоса. Страна выбирала нового президента.